Литературный Иерусалим

2004

Литературный Иерусалим • 2004

Литературный Иерусалим

Иерусалим 2004

Литературный Иерусалим
Альманах. 2004 г.

ליטרטורני ירוסלים
קובץ יצירות של סופרים ישראלים
הכותבים בשפה הרוסית. 2004

Literaturny Ierusalim
An Antology of literary works created by Israel's authors
who write in Russian. 2004

Редколлегия: В.Александров, А.Любинский, Э.Люксембург,
С.Черноброва, С.Шварцбанд

Художник – Ася Векслер
Компьютерный макет – Елена Косоновская

© Все права принадлежат авторам

ISBN 965-7088-18-6

Издательство ЛИРА – P.O.B. 26159, Jerusalem, 96586.
Tel/fax 972-2-6412690.

Отпечатано в типографии «Ной», Иерусалим

Printed in Israel

Продолжая традицию, заложенную в 1996 году выходом в свет альманаха «Литературный Иерусалим», общее собрание столичной писательской организации приняло решение об издании нового сборника.

Было решено сохранить преемственность – новый сборник выходит в том же формате, в той же обложке, примерно в том же оформлении. Но есть и некоторые принципиальные отличия: в предыдущий сборник отбирались только те произведения, которые так или иначе были связаны с темой Иерусалима, – ведь он выходил в то время, когда отмечалось 3000-летие Вечного Города.

Участие в нынешнем сборнике не обусловливалось какой-либо темой. Авторам была предоставлена полная свобода в выборе темы, жанра, стиля. Идея «Литературного Иерусалима-2004» заключалась в том, чтобы представить русскоязычный литературный Иерусалим во всем его многообразии.

Нам кажется, что в какой-то мере это удалось.

Приглашение принять участие в альманахе было направлено всем членам Союза русскоязычных писателей Израиля, которые числились в иерусалимском отделении. Откликнулось большинство – сорок два человека.

Редколлегия старалась максимально бережно отнестись к стилевым особенностям разных авторов, никому ничего не навязывая, не исправляя по своему вкусу, за исключением тех случаев, когда это было явно необходимо. Мы исходили из того, что коль скоро перед нами профессиональный литератор, то он сам несет ответственность перед читателем.

Мы благодарим всех, кто принял участие в подготовке этого издания.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Елена Аксельрод

* * *

Снова с детьми прощаемся,
Бесслезные… Будто в броне.
Как быстро мы превращаемся
В фотографии на стене.

Мы смотрим из тесных рамок,
С вылинявших портретов,
Где мы зачастую моложе
Тех, кто не глянет на нас.
Заиграна эта драма,
На нее сколько хочешь билетов,
Но кто-то из верхней ложи
Со сцены не сводит глаз.

Этому режиссеру
Порядок прощаний известен:
Текст послушать в пол-уха,
Небрежно взмахнуть рукой –
Все декорации впору,
Каждый актер на месте –
Комическая старуха,
Дед с реквизитной клюкой…

Кому рожать,
Кому провожать,
Кому – на проклятый покой.

2002

* * *

Как пережить, что нельзя пережить?
Оказывается, можно.
Горстку камней на плиту положить,
А после в пыли дорожной
Взглядом невидящим отмечать
Прыть суеты мышиной,
Новых гостиниц спесивую стать,
Банки, витрины, машины.
Шатаясь, войти в опустевший дом
С хлопочущими друзьями,
Неделю с гостями сидеть, а потом –
С пустыней, одетой горами.
И снова по улице молча кружить,
Как на прогулке острожной…
Жизнью пустынною дорожить,
Оказывается, можно.

2002

Улица Иешаяху

Я живу на улице
Имени пророка.
День и ночь он, умница,
Дремлет у порога.
Я живу на улице
Не судьбы, а рока.

Я один из овнов,
Всесожженьем нашим
Бог пресыщен, словно
Я овсяной кашей.
Светлое пророчество
Веет над подъездом,
Что же дух мой корчится,
Будто пахнет бездной?

Я не вижу волка
Рядышком с ягненком,
Тычу зря иголкой –
Рвется там, где тонко.

Потихоньку таю,
А пророку снится –
Грех свой залатаю,
В пляс пойду с волчицей.

2003

Через двадцать лет

Улыбнулся. Взъерошил мне волосы,
Как тогда. Двадцать лет – будто не было.
В заповеданной нашей волости,
В черном Питере Достоевского,
Где раздумий твоих всласть отведала.

Ты и сам – и Рогожин, и Мышкин,
Я боялась движения резкого,
Я боялась рогожинских вспышек.
Я боялась неосторожного
И небрежного полувопроса,
И похмельного, бестревожного
Глаз насмешливых мутного плеса.

Улыбнулся, мне душу взъерошил.
И вперед – на великое действо.
Что тебе, мой князь, мой Рогожин,
До Настасьи твоей иудейской?

2002

* * *

Ф. Я.

Ветер не театральный,
Ветер не показной,
Качели на детской площадке
Кружатся, а не взлетают.
Пальма, как панк нахальный,
Рыжей трясет волосней,
Своей макушкой зеленой
Пыльную книгу листает.

А я – не панк и не пальма,
Смотрю из окна на бурю,
Взглядом встречаюсь с ней.
И будто завеса спала –
Попросту мучаюсь дурью –
Сколько недель заспала!
Ветер меня живей.

Вдохни в меня силы, милый,
Сам побуянь немного,
Слегка подтолкни качели,
В пыльное небо подбрось.
Окна я перемыла,
Не надо смотреть так строго,
Мы долго прожить сумели,
Вместе, как пальма и ветер,
Как снег и пустыня, врозь.

* * *

Взлетали в небеса балконы –
Отростки чудищ вертикальных,
Близняшки, каменные клоны,
Подставки для машин стиральных.

Махали крыльями рубахи,
Шагали сплющенные брюки –
Барахтаясь в подзвездном прахе,
Пересыхая от разлуки.

И одинаково машины,
Ворочая белье, рычали.
Олив нестираных вершины
Свое, туманное, ворчали.

Тянулись все один к другому
И не умели дотянуться –
Балконы к небу, кроны к дому,
А я – твоей руки коснуться.

2002

* * *

Случайные встречи,
Случайные люди,
Случайное дело,
Случайная жизнь…

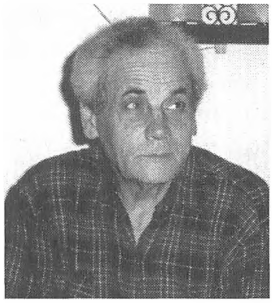
Но все мне перечит:
Лежит, как на блюде,
Поселок мой белый,
И ветер кружит

Над встречей случайною,
Необычайной,
Ненужной работой,
Такой безотвязной,
Над жизнью моей –
Откровенной и тайной –
Такой разноцветной,
Такой несуразной.

* * *

Твой мир с лица земли не смыт,
С лица долины опаленной,
Глотает воздух раскаленный,
Но как стоял, так и стоит.
Температура подскочила,
А ты строчишь, как и строчила,
И даже, как всегда, больна
Растерянностью домоседа,
Самолюбивца, самоеда,
И. как обычно, влюблена –
В кого, еще сама не знаешь –
В того ль, кого стихом пленяешь,
В того ль, чьим даром пленена,
Или в того, кто не читает,
Не знает ваших сочинений,
А знает, что земля Святая
Под вами, и ее ступени
Вам не под силу одолеть
И болью лишь ее болеть,
Пока ваш мир не будет смыт
Ее дождем – и с нею слит.

2002



Вильям Александров

Время потерь – время надежд

Глава из романа

Вот и подошел к концу пятьдесят второй. На Новый год я собрался к своим, в поселок. Решил ехать тридцатого, чтоб остался в запасе один день, но не получилось – забегался по магазинам. Для Саши искал игрушки, для Риты – туфли, для матери – ткань на платье. Кроме того, хотелось хоть что-то вкусное привезти, а всюду очереди, не протолкнешься. Пока купил, день прошел, дело к вечеру, ехать бессмысленно.

Пришлось отложить на тридцать первое. Выехал утренним поездом, а там и на двенадцатичасовой автобус успел.

Нагруженный покупками, радостный, ввалился я в комнату Риты где-то в четвертом часу дня и остановился в дверях растерянный.

Вижу – посреди комнаты сидит на стуле мать, в пальто, в платке, голову опустила на руки, в ногах у нее – чемодан, тот самый, деревянный, черный, с которым она из лагеря приехала, а рядом Рита стоит с Сашкой на руках, убеждает ее в чем-то.

Увидела меня, кинулась навстречу.

– Как хорошо, что приехал! Еле уговорила маму подождать…

– Что случилось?

– Вот! – Рита протянула мне продолговатый клочок бумаги.

На нем синим карандашом, корявыми буквами, было нацарапано: "Горский Валентина Борисович должен выехать за передел поселок до 24 час 31 декабра".

– Участковый милиционер приходил к Елизару. Мама на работе была, он оставил эту записку. Сказал: надо выехать до двадцати четырех часов.

– Когда он приходил?

– Сегодня, часов в десять утра. Елизар испугался, пошел к маме на работу, принес эту записку.

– Так…

Я смотрел на эту замусоленную бумажку с корявыми синими буквами и чувствовал, как к горлу подступает давно забытая горьковато-удушливая волна, как тогда, в детстве. Мало того, чтоб выселить, надо еще сделать это под Новый год. Именно под Новый год!

– И куда же ты собралась? – спрашиваю я мать.

– В Москву она собралась ехать, – сказала Рита, – к Сталину.

– Прямо к Сталину?

– Да. Сколько я ни уговаривала подождать тебя, – нет, ни в какую. К Сталину поеду – и все.

Я сложил в угол все свои кульки, сумки, снял шапку, сел рядом с матерью, взял ее за руку.

– Мама, неужели ты не понимаешь, что не только до Москвы, до Куйбышева ты не доедешь! Тебя же снимут с поезда и отправят бог знает куда…

– Пускай отправят… – произнесла она первые слова. – Мне все равно. В лагере, по крайней мере, меня никто не гнал, у меня свое место на нарах было! А здесь… Пусть он скажет, куда мне деваться! Пусть скажет – за что? За что – десять лет в лагерях?! За что – пять лет скитаний?! За что теперь выселяют?! За что? За что? За что?!

Она исступленно повторяла это "за что", и я вспомнил отца, как лед обваливался в водосточной трубе…

– Вот что, мать, никуда ты сейчас не поедешь! Если надо будет, вместе поедем. А сейчас, посиди-ка здесь с Ритой и Сашей. Я скоро вернусь.

– Нет! – уцепилась она за мой рукав. – Не ходи никуда, не надо! Все равно ничего не добьешься, я знаю. Лучше я уеду куда-нибудь… Неважно куда, но уйду совсем, чтоб жизнь не портить тебе и Рите… Сколько можно из-за меня мучиться! Живете врозь, ребенок без отца! Лучше я уйду! Слава, пойми, так будет лучше для всех!

И тут Сашка вдруг заплакал. То сидел себе спокойно у Риты на руках, хлопал своими серыми глазками, переводил их то на меня, то на мать, и вдруг, словно понял что-то, – как зайдется в плаче! Еле мы его успокоили.

– Вот видите, тетя Валя, даже ребенок протестует! – Сказала Рита. – Он ведь понял, что вы собираетесь уйти.

– Неужели понял?

– Понял. Понял. Уверяю вас. Никуда мы вас не отпустим. Никуда!

– Но что же мне делать? Как жить? Прятаться? Скрываться?

– Сейчас тебе нужно снять пальто, убрать чемодан и вместе с Ритой готовиться к Новому году, я вон сколько привез, разбирайте кульки. А я пока схожу в милицию, к начальнику, поговорю с ним, хоть узнаю, что все это значит.

– Давай вместе, – предложила Рита. – Все же Николай Иванович с ним тогда разговаривал. Теть Валь, посидите с Сашей?

Но мать наотрез отказалась.

– Нет, ребята, не могу… Я сейчас в таком состоянии, что просто боюсь за себя! Боюсь оставаться с ребенком…

– Тогда вот что, пошли все вместе! – Скомандовала Рита. – Да, да, и Сашу возьмем, ему, кстати, прогуляться не мешает. Пошли! Может, так даже лучше будет!

…Был уже пятый час дня, когда мы все вчетвером вошли в кабинет начальника Рудненского районного отделения милиции. Молодой, красивый капитан весело разговаривал по телефону. Судя по всему, настроение у него было прекрасное – то ли в преддверии Нового года, то ли в связи с какими-то

личными делами, но он прямо светился весь, похохатывал в трубку, и когда мы вошли, дружелюбно указал нам на стулья.

– Та-ак! – он положил трубку и оглядел нас веселыми молодыми глазами. – Что случилось?

На какое-то мгновение я замешкался, не зная с чего начать. И тут поднялась с места Рита, державшая Сашку на руках.

– Товарищ капитан, – произнесла она как-то значительно, даже торжественно, – вы помните, как по просьбе начальника шахты прописали в поселке женщину, мою свекровь, Горскую Валентину Борисовну?

– А-а, Горская… – веселость тут же сбежала с его лица. – Помню, помню…

– Так вот, – продолжала Рита, – сегодня принесли такую записку! – Она подала ему этот злосчастный клочок бумаги. – Как это понять, товарищ капитан? Куда деваться человеку сейчас, накануне Нового года, зимой? И кому он мешал?

Капитан взял записку, только глянул и лицо его скривилось болезненно.

– Да, я в курсе. Честно говоря, сам не понимаю, что произошло, кому это мешало. Но вчера я получил вот такое предписание…

Он подошел к сейфу, открыл его, достал оттуда листок, прочитал вслух: "Горскую Валентину Борисовну, прописанную в нарушение статьи 39 Положения ОП, выселить за пределы поселка до 24 часов 31-го декабря 1952 года". Подписал начальник областного паспортного стола. Обязан выполнить предписание, хотя сочувствую и понимаю…

Он опустил глаза.

– Но что же мне делать? – воскликнула мама. – Куда мне деваться, скажите?

– Что делать? А делать надо вот что… – Капитан встал, раздвинул пошире оконные шторы. – Идите сюда, к окну. Вы – сын? Видите там, за речкой домики?

– Вижу.

– Так вот, эти домики, как и все, что за речкой, находятся за чертой поселка, понятно? Надо договориться с кем-то из

местных жителей, получить согласие на прописку. Я выписываю мать из поселка и прописываю в кишлаке Курган-Тепе, который находится за речкой. Но сделать это желательно до наступления Нового года.

– Спасибо вам большое! – прочувствованно, со слезами в голосе, сказала мама. Она буквально ожила на глазах. – Но ведь мы не успеем. Мы же там никого не знаем.

– Ахмад! – зычно крикнул капитан, приоткрыв дверь. И когда вошел совсем молоденький лейтенант, сказал:

– Слушай, сходи с ними в кишлак, поговори с людьми, может сдаст кто комнату. Надо прописать женщину. Хорошая женщина, спокойная, тихая, невестка на шахте работает, сама на швейной. А в поселке – нельзя, статья тридцать девять…

– Вы сколько платить можете? – спросил лейтенант.

– Я сто рублей плачу сейчас. Но если надо…

– Сто рублей – это хорошие деньги! – перебил капитан. – Они там, в кишлаке, спасибо скажут.

– Да, – подтвердил лейтенант. – Сто рублей – это хорошо. Пойдемте.

Мы двинулись к двери, и тут мама, в сознание которой, видимо, запало, что все надо сделать до Нового года, остановилась.

– Товарищ капитан, а если мы не успеем? Ну, вдруг не успеем именно сегодня, что тогда?

– Я здесь буду поздно, часов до десяти, – сказал капитан, – так что думаю, успеете. Ну, а, в крайнем случае… Выписку оформим сегодня. Прописку – после второго числа. Паниковать не надо.

– Спасибо вам! – со слезами в голосе благодарила мать. – Огромное вам спасибо!

– За что? – невесело усмехнулся капитан. – За то, что выселяем?

– Нет, нет, не говорите! Я знаю, за что. За то, что выход подсказали.

– Ладно… Идите… Ахмад, бланки с собой захвати.

И мы пошли.

Кишлак оказался совсем близко. Мы только мостик висячий перешли через мелкую горную речку и уже оказались за

пределами поселка. Глинобитные каркасные домики лепились по откосам, взбирались по крутизне.

Ахмад первым делом зашел в чайхану, поговорил там с людьми, потом зашел в один дом, в другой, и тут же позвал нас внутрь.

Пожилая женщина, казашка или узбечка, провела нас через двор, где за проволочной сеткой квохтали куры, а за деревянной перегородкой толкалась в стойле тощая корова, открыла дверь, ведущую прямо в комнату, скинула у порога свои резиновые калоши, и, оставшись в толстых шерстяных носках, прошла дальше, к проему, занавешенному цветастой тряпкой.

Пока мы возились у входа, сбрасывали обувь, она откинула занавеску и показала рукой внутрь. Там была небольшая комната, чисто побеленная, сплошь застланная одеялами. Одеяла стопками лежали в нишах, занимавших половину каждой стены. Больше ничего в комнате не было – ни стола, ни стула, ни кровати.

Мама, как только увидела эту комнату, тут же сказала:

– Я согласна.

Судя по всему, единственное, что ее сейчас волновало, это прописка.

– Погоди, мама… Но ведь тут нет ни стола, ни стула. Кровати даже нет.

– Ничего мне не надо! – заявила она решительно, видимо, опасаясь, что мы пойдем искать дальше. – Обедаю я на работе. А стакан чая утром и вечером я могу прекрасно выпить вот здесь, – она показала на одну из пустующих ниш, где стояли фарфоровые чайники и пиалушки.

– А спать на полу будешь?

– Ничего страшного. Спят же они на полу. Кроме того, я могу свою раскладушку принести. Могу ведь, правда? – Она обращалась к лейтенанту.

Он тихо сказал что-то женщине по-узбекски, та закивала головой, вышла во двор, и вскоре принесла старую деревянную табуретку и низенький столик, – собственно, квадратную доску на очень коротких, сантиметров по двадцать – ножках.

– Ну, вот, как видишь, все в порядке! – нервно сказала мама. – Давайте договариваться.

Она явно нервничала, торопилась. Ее мучило, что время идет, до Нового года все меньше остается, а прописка еще не оформлена.

– Хотел бы я посмотреть, как ты будешь пользоваться этим столиком, сидя на такой табуретке…

– Прекрасно буду пользоваться! – громко, с наигранной веселостью заявила мама. – Спасибо вам большое!

И тут же, обернувшись ко мне, она добавила уже тише:

– Неужели ты не понимаешь, что все это никакого значения не имеет?!

– Мама права, – тихо сказала Рита. – И есть, и спать она будет у меня. Прописка нужна.

– Хорошо, мы согласны, – сказал я. – Сколько хочет хозяйка в месяц?

– Сто рублей, как договорились, – ответил за нее лейтенант. – Я им так сказал.

– Тогда так… Вещи мы принесем завтра. А пока… – Я достал деньги. – Вот пятьдесят рублей задаток. Пойдет?

– Пойдет! – махнул рукой лейтенант. Он перевел мои слова, женщина согласно закивала головой и бережно, двумя руками приняла у меня деньги.

– Испасиб… – старательно проговорила она.

Лейтенант достал из планшета прописные бланки, авторучку, ловко уселся, скрестив ноги, за карликовый столик, и быстро заполнил квадратные бумажки, уточнив у женщины адрес. Потом он показал ей, где надо расписаться, и она медленно вывела какую-то закорючку.

– Ну, все, пошли теперь к председателю кишлачного совета.

Он повел нас по дорожке, взбиравшейся все выше и выше по склону, и мы едва поспевали за ним. Я забрал у Риты Сашку, прижимал его к себе одной рукой – другой я поддерживал мать.

Наконец, мы, кажется, пришли. Остановились возле такого же глинобитного домика, только под железной крышей. Лейтенант велел нам с Ритой подождать, а сам вместе с матерью вошел в дом. Пробыли они там не так уж долго, видимо, минут пятнадцать, но нам эти минуты показались вечностью.

– Неужели ты не понял, что самое главное для нее сейчас – прописка?! – говорила мне Рита. – Ей нужно сейчас собст-

венными глазами убедиться, что в паспорте стоит новый штамп, что ее уже никто не гонит, что она имеет право здесь жить – поблизости от меня, от Саши. А ты ей – про стол! Про кровать!

– Все понимаю.

– Молись, чтоб все сейчас обошлось, чтоб поставили ей в паспорте эти проклятые чернильные кляксы, без которых ты – не человек. Если все обойдется, напьюсь сегодня, ей богу!

– Все напьемся.

Наконец, они вышли. И по тому, как легко сбегала вниз мама, как раскраснелись ее щеки, я понял: кажется, все в порядке.

Сверху вниз мы шли легко, почти бежали. И когда переходили мостик, казалось, что весь путь занял минут десять.

– Так это ж совсем рядом, рукой подать! – говорила мама. – Это, по-моему, даже ближе, чем от Елизара я ходила…

Капитан был на месте. Он тут же взял у мамы паспорт, посмотрел на часы, удовлетворенно хмыкнул, достал из сейфа два штампа, резиновую подушечку. Один штамп он смачно влепил в паспорт и сказал:

– Ну, вот, Валентина Борисовна, теперь вы уже не житель поселка. Выписаны в двадцать часов десять минут, согласно предписанию.

Второй штамп он поставил ниже. Переписал в него новый адрес из бланка и сказал:

– Теперь вы житель кишлака Курган-Тепе. Что и требовалось доказать!

– Но я имею право приходить в гости к невестке и внуку? – дрогнувшим от волнения голосом спросила мама.

– Для нас важно, что вы в поселке не прописаны, – сказал капитан. – А к кому вы пришли в гости, это нас не касается. Получите!

Королевским жестом он протянул маме паспорт.

– Благодарю вас, – тихо сказала мама. – Вы сами не знаете, что вы для меня сделали… Я вам желаю всего самого хорошего в Новом году.

– Спасибо! – громогласно возгласил капитан и встал во весь свой гренадерский рост, вышел из-за стола. – Ну, что ж,

молодые люди, вам счастья! А вам, Валентина Борисовна, я желаю, знаете чего? Чтоб в Новом году я вам поставил штамп уже в новом паспорте. Вы меня поняли?

– Дай бог! – сказала мама и заплакала. – Разве это возможно?

– Почему же нет?! Вполне возможно. Только плакать не надо под Новый год.

– Ах, капитан, если б вы знали…Если б вы только знали!..

За пять минут до Нового года, я тихо, с предосторожностями, открыл бутылку шампанского, которую специально вез из города, налил вино в граненые стаканы – маме, Рите и себе. Мы сидели втроем в Ритиной комнате, Сашка уже спал, большинство обитателей общежития отправилось в Дом шахтера – там был объявлен новогодний бал, были накрыты столы. Ушли туда многие, а те, что остались, собрались в одной большой комнате в конце коридора. Они звали нас к себе, но мать категорически отказалась, – и мы остались втроем, вернее, вчетвером, если считать спящего Сашку.

Вот за него мы отпили по первому глотку, еще до удара часов, – за его здоровье, за то, чтоб рос счастливым. Мы подошли к его деревянной кроватке, постояли над ним со стаканами в руках. Мама вгляделась в его переменчивое личико, по которому то пробегала какая-то тень, то набегала улыбка, и сказала:

– Боже мой, такая крошка, а уже что-то свое переживает! Будь здоров и счастлив, дорогой мой!

Мы вернулись к столу, и в это время я услышал, как бьют часы в репродукторе, включенном на полную мощь, там, в конце коридора.

– Ну, – сказал я и поднял свой стакан, – Новый год наступает… Тысяча девятьсот пятьдесят третий… Будем надеяться, что он окажется более счастливым для нас всех! За тебя, Рита! За тебя – мать! За тебя – Саша! За всех нас!

В крайней комнате закричали "Ура!", стали хлопать пробки, заиграла музыка.

– Я считаю, что он должен быть счастливым, так как начался с удачи, – сказала Рита. – Тетя Валя, верно я говорю?

– Боже мой, дети, вы даже не представляете, какое это счастье, что мы можем сидеть сейчас вместе, за одним столом! Когда я была там, я мечтала об этом, как о самом большом счастье! И не только я, тысячи женщин мечтали об этом! Сегодня утром, когда Елизар принес на работу эту записку, я думала, что для меня все кончено, что больше я вас никогда не увижу! – пальцы ее судорожно дернулись.

– Почему же, мать? Ну, допустим даже, пришлось бы уехать…

– Славочка, ну неужели ты не понимаешь?! Одно дело, я была там столько лет, но у меня была надежда. Я надеялась, что когда-нибудь он наступит, этот день, и мы будем вместе… А другое дело сейчас! Снова оказаться одной, жить где-то вдали, среди чужих людей… Нет, я бы этого не вынесла! Поэтому, я тоже считаю: то, что удалось сделать сегодня, это огромная удача! Я хочу выпить за того капитана, дай бог ему здоровья! И не только за то, что он сделал, а и за то, что он сказал. Ты помнишь, что он сказал?

– Конечно, он сказал, что это возможно.

– Вот! Значит, возможно! Возможно! Значит, стоит жить, потому что можно надеяться!

– Так за что мы пьем, за капитана?

– Да, за капитана. И за то, чтоб войны не было. Я теперь надеюсь… А самое главное, что я могу видеть вас, приходить сюда, и даже встречаю с вами Новый год!

Она буквально светилась вся, раскраснелась, и волосы ее волнистые падали на лоб – совсем, как в дни моего детства, только седые они были теперь…

И я подумал: "Боже мой, как мало нужно человеку для счастья! И как мало нужно, чтобы убить его!"

Григорий Бардин

Из цикла "Отрывки в конце века"

* * *

…В своей среде,
А, может, и в Субботе,
Да что я, право, –
Ясно, что в среде –
Неровен час, меня вы не поймете,
А ровно век – не то, чтоб невесть где,
А рядом, он у самого порога,
И если потерпеть еще чуть-чуть,
Объятия раскроет недотрога
И сможем вместе за порог шагнуть.
За край, за горизонт, за ту границу,
За тот рубеж, где шире окоем,
Куда пристойно рваться, торопиться,
Да стоит ли, тем более – вдвоем?

* * *

Там, где лошади и люди
Учат правила движенья,
То есть там, где сетка улиц
Оплетает шар земной,

По законам притяженья
Совершается круженье,
Вызывая отношенья
Между прочими и мной.

Несмотря на строгий возраст,
Подступающий все ближе,
Я по-прежнему все тот же
Шаловливый грамотей –
И влюбляюсь неизменно
То в шатенок или в рыжих,
То в блондинок, то в брюнеток
Или в дам других мастей.

А еще – вина стаканчик
Пропустить совсем не против,
Или пива, или чаю –
С этим я всегда дружил.
До чего же он заманчив,
Новый век, столь близкий, вроде,
Что невольно ощущаю,
Будто в нем когда-то жил.

* * *

Какой туман по вечерам
Среди рассохшегося лета
Клубится у разверстых рам
И завалил дороги где-то,
И что-то зреет, зреет в нем,
И он дыхание стесняет,
И прячется в подвалах днем,
А с ночи землю осеняет
Благословенною росой,
Которая, сверкнув, истает,
Как только первый луч косой
Листву неспешно пролистает.

Атласный, ватный, лоскутной,
Укроет землю от ожога,
Но съежится, как только зной
Подышит на него немного –
Сползет с холмов, домов, камней,
Цепляясь, безнадежно споря,
Не став ни на волос умней,
Как век, истаявший от горя.

---

*

Мы устали от лета, и лепет наш стал бестолков,
И рука на отлете, и вечер – желанней рассвета.
И каких только жгучих, бессвязно-горячих стихов
Не дышало нам в лица иссохшими легкими лето.

Нам бы влиться, как в песню, в звенящую знойную высь,
В гулкий шелест цикад, в исходящие маревом полдни,
Над камнями, которые здесь по земле разлеглись
И которые, может, еще до рождения помним.

Но устали – как видно, сказался наш северный нрав,
Наш веками привычный к просторному холоду норов.
Мы забыли колючие заросли высохших трав,
Мы привыкли из снега плести кружева разговоров.

И теперь дожидаемся нежной прохладной зимы,
В нетерпении как-то забыв, что из сумрачной дали
Налетает простуженный ветер, по-волчьи завыв,
Досаждая дождями, что мы от ненастья страдали.

Что полгода туманы и тучи нам застили свет,
Что мы ждали, как манны, погожего полдня – согреться.
Что иного – не будет, того, что привиделось – нет,
Что не станет и нас, и – куда нам от этого деться?

*

"Меж дымом и дымом"
М. Эскина

Спасибо за строчку.

Меж дымом и дымом,
Меж домом и домом,
Которым границы – порог да порог,
Неведомо, было ли необходимым,
Но путь невозвратно далекий пролег.
Прологом каких-то неведомых таинств,
Прелюдией счастья ли, новых путей,
С тех пор, как ступил за порог, я питаюсь,
Но этот пирог – не из детских сластей:

То черств он, то горек, то пресен, то солон,
То приторно-гадок – да выхода нет:
Бездомными ртами голодными полон
Не слишком-то светом сверкающий свет.
И прахом по ветру, и дымом по небу,
Где ночь – изначальна, а темы – темны,
Где теплому дому, покою и хлебу
Присвоено званье счастливой страны –

Так много безвыходных "не" накопилось,
Что с кем-то, пока что не знаемым мной,
Я сдамся на милость всему, что случилось
Меж домом и дымом, меж ночью и тьмой.

*

О. Н.

Искусный мастер гобелена
На прочих смертных не похож:
Хоть мастерство его и тленно,
Поскольку время – острый нож

В руках судьбы немилосердной,
Но мастер знает цену дням,
И нить истории бессмертной
Плетет себе на радость нам.

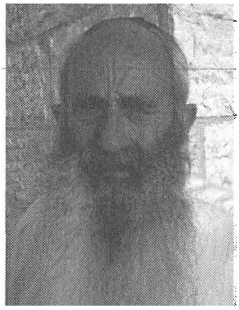
Его фантазия питает
Проворных пальцев легкий бег,
И чувство нас не покидает
Блаженных лет и чистых нег,

Когда в дворцовых гулких залах
От трепетания свечей
Струился воска теплый запах,
И свет на остриях мечей

Играл, бликуя и ликуя,
Летая от стены к стене,
Где стыла сталь, светло тоскуя
По силе, славе и войне,

Где было столько судеб разных,
Интриг, успехов, катастроф,
И разговоров куртуазных,
И поцелуев и костров,

Где жизнь бурлила и блистала,
Неслась неведомо куда,
Где больше ничего не стало,
И нас не будет никогда.



Вильям Баткин

Кадиш по Гейне

Главы из повести

Генрих-Гейне-Аллея

Он не любил свое дюссельдорфское детство: всечасные насмешки и оскорбления злых немецких сверстников, невинное имя Гарри, ставшее несмываемой, как смола, кличкой. Строгие нравы состоятельной и религиозной родни, если не сформировали дерзкого и своенравного Поэта, то оставили след — глубокий, ощутимый, незабываемый.

Но в конце двадцатых годов девятнадцатого столетия, когда слава вольного романтика и едко-агрессивного публициста принесла ему и признание, и обожание почитателей, Гейне изредка наведывается в Дюссельдорф, в то время резиденцию небольшого нижнерейнского герцогства — городок аккуратненький, культурный, толерантный в вопросах религии, провинциальный – едва за полста тысяч обитателей.

Так совпало — не любопытства ради к стране, отстраненно-чужой, лишь из желания за один прилет посетить родных и друзей, разбросанных ныне, словно перекати-поле, по городам германским, повторил я излюбленный гейневский маршрут:

Гамбург-Дюссельдорф. За пять часов, с несколькими пересадками — Бремен, Оснабрюк, Мюнстер, в скоростных пригородных электричках. Представил — а Гейне на перекладных, более суток, по раскисшему грунтовому бездорожью. Устыдился своего века просвещенного, и волей воображения, откуда только прыть взялась, пересаживаюсь на ходу из говорливой толпы немецких транзитных попутчиков в просторную почтовую карету, и рядом с Гейне, забившись в уголок кожаного сиденья, трясусь по ухабам его времени.

Едва ли изменились пейзажи надвигающиеся: и усадьбы ухоженные со стрельчатыми красно-черепичными крышами, и пожелтевшее жнивье с рулонами спрессованной соломы, и островерхие кирхи.

Осмыслить трудно, но порываюсь: рядом с Гейне — молодым, розовощеким, безбородым, взвихренные, словно языки пламени, коричнево-золотистые кудри силком утихомиривает пятерней, элегантная светло-бежевая тройка, под распахнутым кремовым воротом — свободно повязан шелковистый бело-голубой шарф. Отчетливо слышу — сквозь сжатые крупные губы вырываются серебристые мажорные мелодии, внезапно чередуемые разрывами рифм. Пытаюсь догадаться — перебирает в памяти давние или новые наговаривает?

Любовь, мучение любви,
В той песне смех и слезы,
И радость печальна, и скорбь светла,
Проснулись забытые грезы.

В русских усеченных переводах они не столь неутешны, но в устах Поэта отчаянье отвергнутой любви, эта повторяющаяся чистая мелодия, как молитва, наполняет мои глаза влагой. Да и Поэту не до веселья.

– Генрих, подъезжаем! — внезапно оповещает утомленный возница, и Гейне преображается, распахивает окошко кареты, громко смеется, подпрыгивает на сиденье, кому-то машет рукой. Ватага молодежи бережно поднимает его, несет на плечах, прямиком до ближайших ресторанных столиков, ог-

лашает тихие городские улочки восторженными криками, скандирует его стихи, распевает его песни.

Пел я песенку когда-то,
Спета песенка моя,
Ах, когда разбито сердце –
Песни кончены, друзья!

– Генрих, Генрих, не спета песенка твоя! — врываются звонкие девичьи голоса, словно с хоров, с балконных этажных площадок.

Дюссельдорф гордится своим Поэтом, напрочь забыв то имечко — Гарри.

Поспешим и мы вослед за молодым тридцатилетним Гейне — возбужденный, ликующий, извечно подшофе, в сопровождении друзей и подружек он бродит по кварталам родного города, лишь в его просветленном пространстве выбросив из головы навалившиеся смолоду горести. Но из сердца не выбросишь!

Однажды, в субботу, вынырнув из плотной толпы земляков, Гейне зашел в синагогу – бочком, виновато, робко протиснулся среди молящихся к дальним затемненным скамьям. Его узнали, поднялся гомон, но не надолго — утренняя молитва продолжилась, затем по развернутому свитку читали Тору — Поэт выстоял до конца, молча и неподвижно. Вышел, спотыкаясь на ходу. В одном из писем другу, полных самобичевания, он напишет: "В прошлую субботу я был в синагоге и имел удовольствие своими ушами слушать, как д-р Саломон метал громы против крещеных евреев, как они, из-за одной надежды получить должность, впадают в соблазн изменить вере отцов".

Увы, и его угораздило в ряды отступников, но никаких практических выгод не получил. Мы еще вернемся к этой тревожной и мучительной теме.

Заносило его и на улицу Болькерштрассе, в трехэтажный кирпичный дом, с выгоревшим номером 53 на фасаде — здесь он родился, и в нем прошли первые годы жизни.

– О Генрих, входите, пожалуйста! — распахнула двери новая молодая домовладелица и почтительно присела. – Вы всегда желанный гость под нашей крышей!

– Катарина, ты хорошеешь буквально на глазах, – возрадовался Генрих, неравнодушный к женским чарам, – через сто лет здесь будет Музей великого Поэта, и твоя родня непременно разбогатеет!

– Я готова рассчитаться незамедлительно, авансом! – отшутилась юная немка, и густой румянец, вспыхнув, едва не поджег ее пышные льняные локоны.

...Не сбылась мечта Поэта: через сто лет, в апреле 1945-го, шальная фугаска с пикирующего на Дюссельдорф английского бомбардировщика угодила в его родной дом, и мы с другом в августе прошлого года долго искали новую обитель Музея Поэта. Чутье подсказывало — должен быть.

Отдадим должное — современный восьмисоттысячный Дюссельдорф не предал забвению своего великого земляка: один из центральных проспектов, прямой, широкий, с архитектурными высотными комплексами из бетона, стекла, металла, с зеркальными витринами магазинов и ресторанов, — наименован: Генрих-Гейне-Аллея...Ни убавить, ни прибавить — достойно, величественно, монументально, но в устах горожан восхитившее меня словосочетание звучит обыденно, отлучено от имени Поэта, впрочем, могу и ошибиться. (Помните: "Площадь Пушкинская, Маяковская – следующая", поймешь, как город к нему привык).

А с поисками Музея Поэта вышла у нас заминка: опрашиваемые прохожие не желали понимать мой немецкий, густо приправленный идишем, да и в Германии звучит ГАйне, а мы спрашивали ГЕйне. Откликнулся светло-русый юноша — с неистребимым московским выговором, терпеливо и в подробностях он пояснил, где эта улица Билкерштрассе, и дом 12-14. Оказалось — рядом, мы блуждали вокруг да около.

У Музея Поэта ныне иной высокий статус: ГЕНРИХ-ГЕЙНЕ-ИНСТИТУТ, где в строгом почтительном затишье освещенных залов, замечу, не в упрек, безлюдных, заботливо и с любовью собраны практически все сбереженные материалы о Поэте: большинство – в экспонатах достоверных, при-

жизненных, в застекленных витринах и стендах, руки исподволь тянутся прикоснуться, но многое — в запасниках или хранилищах, в святая святых — в научно-исследовательских отделах, куда нам не дали ступить, хотя и уважительно восприняли наш русский. Отыскался для нас и проспект — сопроводительная брошюра на русском.

Осознаю — о Музее Поэта обязателен отдельный разговор, в иных контекстах, но вспомнил о другом: там, в Дюссельдорфе, старый рыхлый немец, в галстучке цветистом и в подтяжках, услышав русский говор наш, внезапно, торопливо, заикаясь, подыскивая нужные слова — он в сорок третьем, двадцатитрехлетним, в плену был в Соль-Илецке, припомнил вдруг — его мама, учительница литературы, однажды ночью разворотив печной глазурный кафель, в глубокой нише замуровала три тома Генриха Гейне. Лиза-Метта Годфридовна — так звали его маму. А наутро ее ученики — русоволосые, долговязые, краснощекие, приплясывая лихо, гогоча, неистово и зло швыряли в длиннопламенный костер старинные издания Поэта, – ведь он был юде! – уточнил старик. Великий их поэт, был и Великим Юде…

– Затем они швыряли в освенцимские печи нас, – добавил я.

Не обойтись без гипотез

Уже по приезде домой, в Израиль, в одной из иерусалимских библиотек, в запустении ее запасников, следовательно, не востребованных, обнаружил я и с жадностью перечел русское издание, достойное, и давности столетней, а в нем несколько строчек Генриха Гейне в оригинале:

Keinen Kadish wird man Zagen…
An meinen Sterbetagen…

Боюсь утверждать, но едва ли в советских публикациях имеются эти строки:

Кадиш не скажут надо мной,
Когда уйду я в мир иной…

Осознаю – моему посильному переводу, не вместить, не передать печаль, тоску неизбывную, пронизывавшую сердце Поэта задолго до смерти. Но в утвердительной убежденности: "не скажут…" услышал я, словно тяжелый вздох исповедальный, тайную веру или мольбу к нам, евреям будущих времен: "Скажите…".

Не боль гиперболы Поэта, не циркуляр прицельный публициста, не крик, не вопль разворошенный – лишь сокровенное, векам веленье, лишь шепоток отчаянья: "Скажите…".

Так молнии внезапный всплеск во тьме лесной тропинку обнаружит или мосток остроганный над прорубным провалом, – так я прошел, доверчиво и чутко, дорогой горестной Поэта к своему народу, едва заслышав не барабанный бой – мембранный, бранный, а вздох охрипший: "Кадиш не скажут". За рамками своих свивальных текстов я своевольно оставляю в напластовании пространном развалы книг – наслышанные щедрые шедевры, доступные в разноязычных толкованьях и в оригинале.

И сегодня, уже не впечатлительным юнцом, а у порога старости стервозной, вновь перечитывая Гейне, я вижу рядом, хорошо и различимо, словно лицом к лицу, мне дорогого человека – как зверь, затравленного, извечно подшофе, отвергнутого женщиной любимой, болезнями истерзанного люто, – и разрывается моя душа, и мое сердце выворачивается болью, и я понимаю его беспомощность, точнее, обреченность пред судьбой, – несовместимость Гейне (да и нашу!) с другим миром, и невозможность что-то изменить.

Но так устроена Вселенная – по истине, по справедливости: душа к а ж д о г о еврея, любого, со всем еврейским народом связана, – нет, не тросовым морским узлом, а словно пуповиной неразрывной, святой. Так Гейне понимал. Но не всегда мы святость соблюдаем.

Да простят мне мою дерзость… Каждая деталь биографии Генриха Гейне, внешне неуловимая, но достоверная частность, словно завершающие мазки на загрунтованном полотне, уточняют и дополняют портрет, выстраиваются в логическую цепочку, становятся на свои места. Отметаю термин – гипотеза, хотя в таком головоломном вопросе не обойтись без гипотез.

Знаю не понаслышке – по опыту пятилетнего проживания в Бейтар-Илите, вознесенном в Иудейских горах поселении, к юго-западу от Иерусалима. Добрая и веселая весть о рождении ребенка в чьей-то семье со скоростью звука разлетается по городку, и традиционное "Мазлтов!", искреннее, дружеское, задушевное, несколько дней обращено к счастливому отцу, а роженицу с огромными охапками цветов в больнице посещают подруги или дозваниваются по мобильному телефону: "Мазлтов!". Так было изначала: и когда у нашего праотца Авраама появился на свет Ицхак, и когда у поколения Пустыни рождались сыновья – именно им на роду написано – войти в Эрец-Исраэль и стать нашими далекими предками, и когда очаровательная Бат-Шева родила Давиду наследника – Шломо. "Мазлтов!"– будет звучать так долго, как долго будут существовать небеса над землей.

Так было 13 декабря 1797 года или, уточним, 22 кислева 5557 года по еврейскому календарю, когда буквально в канун веселого праздника Хануки в немецком Дюссельдорфе, в молодой и благополучной еврейской семье Гейне, Шимшона и Бетти, в девичестве – ван Гельдерн, родился первенец. На ловкий хлопок повивальной бабки Эстер, на бережное поглаживание по теплому тельцу ребенок откликнулся криком, пронзительным, истошным, известив миру о рождении Великого Еврея, но об этом никто не догадывался, да и ныне не все приемлют.

Вечером, накануне "брит-милы", в умиротворенную тишину трехэтажного кирпичного дома по Болькерштрассе, словно вихрь, ворвался оглушительный топот детских ног – пришли соседские пяти-семилетние мальчишки, черноглазые, пейсатенькие, шумливые. Столпившись вокруг деревянной детской кроватки, они хором и нараспев читают молитву "Шма, Исраэль" – младенец еще не видит как следует, но уже слышит святые слова Торы. Отец Шимшон восторженно вторит им, строгая матушка Бетти, покусывая тонкие губы, опасливо и неодобрительно поглядывает на громкую ватагу – мальчуганы, положив ладошки на плечи друг другу, собравшись в живую цепочку, пританцовывают вокруг новорожденного, но он не просыпается, невозмутимо посапывает – привыкает к среде своего народа.

На восьмой день после рождения – 29 кислева, когда евреи по традиции зажигают шестую ханукальную свечу – Шимшон как отец выполнил первую заповедь – совершил брит-милу, обрезание, знак союза, заключенного Всевышним с Авраамом и его потомством – со всеми нами. Праздник – не внове, не в диковинку, но издревле – одновременно торжественный и вдохновенный. Прежде всего необходим "миньян" – десять мужчин, но с этим проблемы нет – без приглашения собирается огромное число евреев – мужчин, женщин, родных, соседей, – принаряженных, одухотворенных.

Высокую честь внести ребенка в помещение, где будет сделано обрезание, оказывают родному брату молодого отца – Соломону Гейне. Дядюшка новорожденного, смолоду величавый, приземистый, широкоплечий, на вытянутых руках гордо вносит младенца, завернутого в белоснежный, отутюженный конверт с голубыми лентами. Соломон сегодня счастлив вдвойне – накануне его молоденькая жена сообщила, что ждет ребенка, и уверен – праздник вскоре будет и в его доме. Он ошибся – жена родила ему двух девочек – старшую Амалию и младшую Терезу. Запомним эти имена – и дядюшке Соломону, и двум кузинам суждена едва ли не главная роль в судьбе Поэта, но пока нам неведомо его имя.

Новорожденного кладут на высокое кресло – просторное, с подлокотниками мягкими. "Это – кресло Элиягу", – произносит моэль, огромный седобородый красавец, по-настоящему благочестивый, знающий технику обрезания. В кресло садится раввин, бережно берет ребенка на руки, и моэль после короткого благословения в наступившей тишине обрезает крайнюю плоть. Момент волнующий, некоторые женщины плачут, у меня замирает сердце, мальчик захлебывается в крике. Моэль приподнимает бокал, наполненный до краев красным вином, произносит: "Творящий плод виноградной лозы", несколько капель вина со своего мизинца вливает в ротик всхлипывающему младенцу. Тот мгновенно стихает, и тогда из уст моэля мы впервые слышим имя мальчика – отчетливо и достойно оно звучит на иврите: ХАИМ БЕН ШИМШОН ГЕЙНЕ. Ему еще предстоит стать ГЕНРИХОМ ГЕЙНЕ, но в тот полдень 29 кислева он стал евреем, полноправным.

Начальные годы жизни мальчика – Хаймеле, еще в благополучной и религиозной семье – в полном соответствии с Галахой: в три – первый раз стригут, кудри, кружась, опадают на пол, остаются лишь золотистые локоны на висках (пейсы), с осени отдают в хедер – частную еврейскую школу, где мальчик начинает изучать Священное Писание и читать на древнееврейском. Таблицу с алфавитом смазывают медом, ребенок повторяет за меламедом буквы с первой до последней, затем произносит их в обратном порядке, после чего на каждой буковке слизывает капельки меда – так он должен почувствовать сладость слов Торы.

Но мы, еврейские мальчишки советского разлива, такого были лишены напрочь. Если сегодня меня спросят, что хотел бы изменить в своей судьбе, отвечу: чтобы в три года меня отдали в хедер!

Но для Хаймеле Гейне традиционное еврейское воспитание оборвалось – резко, грубо, бесповоротно. Отец Самсон, неудачливый продавец вельвета, разорился, воспитание взяла в руки мать – Бетти, женщина своевольная и якобы просвещенная – ей ближе взгляды Жан-Жака Руссо, чем ТАНАХа. Однажды Хаймеле прибежал из хедера в слезах, с красными распухшими ушами – ему не повезло с первым учителем, тот оказался человеком не слишком благочестивым – позволял себе наказывать детей, подтягивая за уши. Мать Бетти словно этого и ждала – вопреки увещеваниям отца и дяди Соломона мальчик был определен в школу при монастыре францисканцев, затем, одиннадцатилетним – во французский лицей. Именно там к нему, остриженному наголо, и прилипло, несмываемое, как смола, ненавистное имечко – Гарри.

А в Германии, в Дюссельдорфе, в родительском доме – все реже слышны отцовские молитвы, мать забывает зажигать субботние свечи, у всех на устах, настойчиво и назойливо, точнее – упоенно повторяется единственное имя: Наполеон. Идеи Великой Французской революции ошеломили или разворошили даже педантичную Германию. И Гарри, в толпе учеников французского лицея, однажды разглядел легендарного Императора, проезжающего через Дюссельдорф, возможно, по пути в Россию. Восхищенному мальчишке почуди-

лось – улыбающийся Наполеон из окошка кареты приветствовал именно его. Этот взмах руки – не забывается.

В канун праздника Песах 1810 года приезжает из Гамбурга дядя Соломон – его встретили настороженно – к тому времени дядюшка был известным финансовым магнатом, а дюссельдорфская родня задыхалась в безденежье. Но Соломон невозмутимо и ненавязчиво взял приготовление к празднику в свои руки – сам закупил на рынке свежую рыбу и зафаршировал ее, послал Самсона за мацой и приправами, вдохновенно и безукоризненно провел традиционный вечерний Седер. Гарри послушно и увлеченно вместе с другими детьми задавал вопросы. Наутро дядя сказал племяннику:

– Дорогой Хаим, тебе в этом году тринадцать лет – надо готовиться к Бар-мицве!

– Он теперь у нас – Гарри, – подправила мать.

– Тринадцать лет – важная дата в жизни еврея, – Соломон пропустил мимо ушей реплику невестки, – в этот день новая святая душа вселяется в него и обязывает, с одной стороны, исполнять заповеди Торы, а с другой – принимать наказания за их невыполнение.

Чего-чего, а наказаний щедро и досыта досталось великому поэту.

Первые заповеди тринадцатилетнему – выучить соответствующие благословения и отрывок из недельной главы – Гарри выполнил, хотя и с горем пополам – древнееврейский выветрился. Все годы, века, тысячелетия в день 22 кислева евреи читают главу "Ваешев" – историю Иосифа и его братьев, нашу историю. Каждый год рассказ Торы с заново осмысливаемыми подробностями разворачивается перед нами и не оставляет равнодушными. И тринадцатилетний Гарри увлекся лаконичной повестью о караване исмаэльтян, о яме, в которую братья бросили Иосифа, о тюрьме, о голоде, о фараоне. Но самым страшным показалось мальчику – об отчуждении, о жестокости, о глубине, нет, не ямы, а падения, о силе раскаяния, о радости прощения, и о том, что никогда не поздно. На всю свою жизнь, – долгую, мучительную, трагическую – Генрих Гейне запомнил из т о й недельной главы – никогда не поздно вернуться в семью и снова стать братьями.

Бар-мицву, тринадцатый день рождения, отмечали в ближайшую субботу 22 кислева, или 13 декабря 1810 года, да, в той дюссельдорфской синагоге, где мы встречались с Поэтом семнадцать лет спустя, откуда он вышел после молитвы бочком и спотыкаясь на ходу.

В ту Субботу отмечали свое совершеннолетие и два ровесника Гарри – соученики по хедеру – из давнего малолетства, светлого, истаявшего. Они его узнали, радостно приветствовали: – Хаим, Хаим отыскался! – обнялись, словно с братом, разлученным, потерявшимся. Их вызвали к свитку Торы раньше – и Гарри был ошарашен и потрясен – свой текст бывшие соученики выговаривали четко и наизусть, увлеченно, возвышенно, нараспев, раскачиваясь в молитве, как взрослые религиозные евреи, в едином порыве со всей молящейся общиной. А Гарри произносил слова медленно, заикаясь, мучительно вспоминая зазубренные строки.

Это унижение, обиду, прежде всего на себя, он – гордый, вольнолюбивый, своенравный, воспринял как трагедию, еле сдержал слезы и даже сердечные поздравления раввина и других молящихся – не услышал. Так началось отчуждение. Дома – за праздничной трапезой – отец обнял со слезами, мать – сухо, сдержанно, словно зная что-то свое, дядя Соломон расцеловал, а двоюродная сестра Амалия – на миг прижала к себе, и он отшатнулся, обожженный девичьим, не сестринским прикосновением. Так началось отчуждение, едва ли не на всю жизнь.

Словно головня в кострище тлеющем, словно тень от кручи нависшей, отчуждение или отдаление от своего народа долго и навязчиво преследует молодого Гейне, – разминувшись в одночасье с еврейскими религиозными сверстниками, он и раздражен их устойчивым укладом, и раздосадован своим бессильем быть, как они, преуспевающими в торговле, в банковских операциях, – в них он оказался бесталанным. Каждому – свое, зато он пишет стихи, их нарасхват печатают газеты, и именно Генриха Гейне именуют немецким Байроном. Он легко и непринужденно вписывается в университетскую среду, его в толпе не отличить от немецких сверстников. Три германских университета могут и сегодня гордиться своим великим студентом; мне неведомо – есть ли хотя бы доски

мемориальные, но в двадцати трех музеях нынешней Германии есть гейневские экспозиции.

Боннский – в нем на лекциях по истории литературы Августа Шлегеля Генрих знакомится с творчеством Шекспира и Байрона.

Геттингенский – хотя поэт продержался там лишь 14 месяцев: кто-то из завистливых арийских сокурсников, поэтов неудачливых, выкрикнул в злобе: "Этот еврейчик!".

Генрих, не отличавшийся дюжей силой, прилюдно влепил ему хлесткую пощечину и вызвал на дуэль. Событие – неслыханное, но до пистолетов дело не дошло, и от обидчика – "этого еврейчика" – университетское начальство поспешило избавиться. Вспомнил я Виктора Астафьева, советского прозаика, – он нас иначе не именовал, как "еврейчатами", но на дуэль его не вызывали. Увы, со многими обидами мы смирились в галуте, но вселенская ненависть к нам не убавилась.

В Берлинском университете Гейне слушает лекции самого Гегеля. Написал, и тут же пришло на ум: "Мы диалектику учили не по Гегелю". В 1825 году Генрих Гейне заканчивает учебу и получает звание, или статус доктора юридических наук третьей степени. Пришла пора поступать на службу; что поэзия – не кормилица, осознавали даже великие, особенно в молодости. Наш Гейне до последнего вздоха бедствовал.

Одна из тяжелых, мрачных, несмываемых страниц в судьбе Генриха Гейне – 28 июня 1825 года, намеренно не используя еврейское исчисление, в городе Гейлигенштадте – он принимает лютеранство. Не пытаюсь комментировать, но из песни слова не выбросишь! В стихах к этой теме Гейне не возвращается, а в письмах, дневниках – исповедуется.

"Желаю всем ренегатам настроения, подобного моему", – едва ли не в вечер дня крещения написал он своему приятелю. Не доискался я в архивах подробностей того горестного дня, но вот отрывки из писем близкому другу Мозеру: "Счел бы ниже своего достоинства и пятном для своей чести, если бы позволил себе креститься для того только, чтобы получить должность в Пруссии". И несколькими днями позже: "Мне

было бы очень больно, если бы мое крещение могло представиться тебе в благородном свете... Уверяю тебя, если бы законы позволяли красть серебряные ложки, я бы не крестился". К этой теме, тяжелой и горькой, Генрих Гейне возвращается многократно, и нам еще предстоит вместе с автором перечитать его откровения исповедальные.

Женщины Гейне

Каюсь: заглавие заимствовано или подхвачено у самого Гейне; его эссеистическая композиция "Девушки и женщины Шекспира" – одно из удивительных и глубоких философских исследований творчества великого английского драматурга. Но посчитал необходимым упомянуть не из-за заголовочного сходства, а по обнаруженной причинной связи гейневской оценки главного героя драмы "Венецианский купец" – еврея Шейлока и своих нынешних текстов. В отличие от большинства шекспироведов, Гейне выделяет или оттеняет противопоставление еврея и эллина – двух культурно-исторических типов, антиподов, – извечная история столкновения первородства с избранностью, кровных братьев – Эсава и нашего праотца Яакова, в кратком рассказе, переданном в Торе, но истолкованном в подробностях, сокрытых и аллегорических, в Мидрашах.

Шекспиру, при всей его гениальности, не дано было знать эти толкования – на его театральных подмостках, в динамике и драматизме сцен его сочинения – бытовое столкновение иудея и христианина, но великий Гейне разглядел, точно и пророчески, – презрение к нам, евреям, смешивается с тайной или явной завистью, оборачивается в неистощимый исток ненависти.

Так сложилось исторически, ненависть в душе, словно пламя, вырывается наружу, обретает и накапливает зло и силу из окружающей действительности, и мы, избранники Всевышнего, превращаемся в гонимых, и нет числа преследователям: один народ или народы уничтожают другой народ. Шекспир и не предполагал такое обобщение. Гейне пророчески разглядел: "Греки – лишь красивые юноши... Евреи же всегда

были мужи, могучие, непреклонные мужи, не только в древности, но и после тринадцати веков преследования и горя". Так мог написать только еврей, человек, не чурающийся гордости своего происхождения.

Вернемся к "Женщинам Гейне". В основе любовной лирики всех времен и народов – любовные драмы, хрестоматийные строки о любви к Женщине, о любви неразделенной, к Женщине, одновременно живой, реальной, не вымышленной, но и к воплощению Б-жественного начала на Земле. Страшусь утверждать – но без драм неразделенной или отвергнутой любви Мировая Поэзия была бы убогой, по-нищенски скудной, опустошенной, и лишь подчеркивала бы наготу и босоту Человечества. Но силой Б-жественного провидения – пустота не была допущена, и мы имеем то, что имеем – лучшие образцы любовной лирики. К ним по праву – по накалу и чистоте чувств, по красоте образов и отточенности строк – принадлежит и любовная лирика великого Гейне.

Не намерен составлять реестр или компоновать литературную энциклопедию женщин Гейне, его возлюбленных, менее всего – рыться в белье Поэта. Он не делал секрета из их имен, сам изредка обозначал разделы и циклы: "Серафима" – "В тихий лес, погрузившийся в грезы", "Анжелика" – "Взыскан я улыбкой Б-га", "Катарина" – "Не мог я петь и грустью странной", "Китти" – "То счастье, что меня еще лобзало", и другие – "Диана", "Кларисса", "Эмма". Но что удивляет, потрясает, восхищает – имя главной Женщины в его трагической судьбе, словно за семью печатями, неприкосновенно и сокрыто – читатель, самый дотошный, не отыщет его ни в посвящениях к стихам, ни в исповедальной прозе Поэта, но именно ей, его Женщине, мы обязаны шедеврами лирики Гейне.

Амалия Гейне – кузина, старшая дочь его дядюшки Соломона, помните, несколькими страницами ранее, сцена на Бармицве: "Дядя Соломон расцеловал, а двоюродная сестра Амалия – на миг прижала к себе, а он отшатнулся, обожженный девичьим, не сестринским прикосновением". Остается досадовать или локти кусать – привез я из Дюссельдорфа добрый десяток копий музейных экспонатных портретов, но среди них не обнаружил Амалию. Да и сам Поэт, безнадежно влюбленный – от юности до

старости приближающейся – не посчитал необходимым оставить в строках своих ее внешние приметы, лишь короткие, словно под вспышками молнии, разобщенные штрихи.

"Я волнами локонов нежно обвит", или "В ресницах жемчуг слез", или "Как мрамор, холодно чело под прядями волос". Даже за несколько месяцев до конца, трагического и неотвратимого, когда Амалия посещает его в парижской "матрацной могиле", он, едва захлопнулись за ней дверные створки, диктует, захлебываясь слезами невидимыми: "И ты сочувствия полна!/ Ты, что всегда передо мною/ стояла статуей немою,/ как дивный мрамор, холодна!/

Да так ли важен словесный портрет любимой?! У душевного слома Поэта свои причины или истоки – психологические. Амалия, влюбившая в себя двоюродного брата и сама увлекшись юношеской страстью незадачливого кузена, не могла и предположить глубину фатальных, трагических последствий чистого отроческого чувства. Юношеский недуг – влюбленность поражает большинство, любовь, настоящая и единственная, удел избранных. Стихотворения, обозначенные Поэтом "Страдания юности" и вошедшие в один из его ярких поэтических сборников "Книги песен", – только ей, Амалии.

Претендующая на подлинность, пространная и странная горестная легенда о любви Гейне к Амалии, неразделенной или безответной, – после моих долгих и мучительных поисков и раздумий представилась в ы м ы с л о м, выговоренным или выжатым библиографами неисчислимыми из его поэтического наследия, – айсберговым, верхушечным, видимым безоружным взглядом, – и я усомнился… в традициях комментаторских.

Безоблачно и радужно вначале. Она блистает красотой и чистотой, – Поэт эпитет лестный прибавляет – неземной. Так кроток взор ее лучистый, словно в печали ночи возник серп лунный и младой. Бутоны щечек алых сравниться могут лишь с пламенем весенних роз, а робкая улыбка, как жемчуга, манит магнитом. В душе возлюбленной он разглядел алмаз сокрытый и чистейший. Поверим Гейне – был алмаз.

По вечерам, разрумяненные и растерянные, взявшись за руки, словно страшась потерять друг друга, они бродят по Гамбургу, удивительному, утопающему в зелени и грохочу-

щему, распластавшему свои крылатые улицы у трех башен над устьем реки. Едва ли кто-либо был счастливей наших двоих. Однажды, в августовские сумерки прошлого года, я разглядел издали и исподтишка, или привиделось: в глубине парка, под липами, старыми и разлапистыми, они целовались – робко и неумело прикоснулись друг к другу и отшатнулись. Вдруг я услышал – над Ратушей шумно и нараспев пробило одиннадцать, Амалия и Генрих медленно, словно обречено, бредут в центр Гамбурга, где в неширокой глубине ухоженной усадьбы, в четырехэтажном особняке светятся высокие оконные проемы. Отец Соломон, известный гамбургский финансовый магнат, заполночь работает в кабинете, ему – пока! – не до сердечных дел дочери, матери ничего не следует объяснять: сияющие и счастливые глаза дочери – лучший рассказчик, а младшая сестренка, стремительная и дерзкая Тереза допытывается: "Вы – жених и невеста? Да? Генрих такой милый".

А милый Генрих, прислонившись к газовому фонарю у сиреневой беседочной заросли, смотрит вверх на зашторенные окна – в одном из них загорается свет, в окне распахнутом колышутся тяжелые шторы, вначале появляется девичья головка в локонах золотистых, затем крохотная ручка выпархивает из пеньюарной белизны, тянется к Генриху с воздушным поцелуем и, помедлив, исчезает в глубине спальни. Однажды – исчезнет навсегда.

По строгим религиозным нравам нашего народа, молодой паре не рекомендуется, а точнее – воспрещается до свадебной хупы оставаться наедине друг с другом, но его сильные мужские руки с каждым свиданием настойчивее тянутся к девичьим чарам, а тонкое и гнущееся тело Амалии чутко откликается на его ласки, и маленькие округлые грудки, прижимаясь, сквозь рубашечную ткань обжигают его грудь, пронизывают сердце.

Жениться? Желание, естественное, человеческое, при реальном трезвом осмысливании обрело для молодого Гейне очертания фантастические – ему ли, неудачливому приказчику бакалейной лавки или новоявленному главе крохотной собственной конторы "Гейне и К", дышащей на ладан, стать зятем могущественного финансового магната Соломона Гейне, хотя и родного дядюшки? Даже чаяния почтенной матушки о бле-

стящем будущем своего первенца растаяли, словно льды к исходу рейнского паводка, и родительница обратила свой взор к юридическим факультетам. В грядущую славу Поэта ни она, ни родня многочисленная не верили. Во взаимности любви Амалии он не сомневался, но что он даст молоденькой возлюбленной, к слову, и взбалмошной, и избалованной под крышей родительской? И ему было отказано – мягко, вежливо, по-родственному:

"Милый Генрих, Амалия тебя не любит".

Неисчислимые истории или драмы отвергнутой любви оттого и вошли в сокровища Мировой Поэзии и классической Прозы, что почерпнуты из народной жизни; могу ошибиться, но будь Генрих Гейне только заурядным бакалейщиком или даже денежным воротилой, он по-иному воспринял бы отказ возлюбленной. Вспомним, как лаконичен Пушкин: "но он не сделался поэтом,/ не умер, не сошел с ума". Но сердце Поэта Генриха Гейне до гробовой доски не смирилось с потерей милой Амалии, именно ее одну он любил, при не сокрытом сонмище имен возлюбленных и сожительниц, соблазнительниц и пассий, последнее слово мне особенно по нраву. Несоразмерно огромна оплаченная Поэтом стоимость, понятно, не в денежных знаках или в ценных бумагах, откуда им взяться у вечного должника Гейне, – за шедевры, надиктованные Небесами, соизмерима ли она, цена, с трагедией отвергнутой любви, искалечившей ему судьбу или жизнь, – у каждого человека она одна-единственная.

В истории и подробностях увлечения Генрихом второй своей кузиной – Терезой, родной сестрой Амалии, все было повторено, словно под копирку или на сложных профилях одной и той же модели. Они встретились в июне 1823 года, – Генрих Гейне, к тем дням – уже известный поэт, вновь возвращается в Гамбург. "Когда на дороге, случайно,/ мне встретилась милой родня, –/ и мать, и отец, и сестрица/ любезно узнали меня". "Милая"– это Амалия, а "сестрица" – ее младшая сестра Тереза, увы, давно на выданье, но в женихах переборчивая.

"В сестрице есть с милою сходство:/ улыбку ее узнаю,/ и те же глаза, что сгубили/ и юность, и душу мою. " Поэт предельно немногословен, нежданное рандеву не предполагает продолжения.

Иные планы у двадцатилетней Терезы, дерзкой и влюбчивой – ей откровенно нравится двадцатишестилетний Генрих – статный, розовощекий, "как денди лондонский одет". Она отыскивает его в одном из гамбургских салонов, едва ли не за руку оттаскивает от толпы молодых поклонниц и… все повторяется. Гуляние под гамбургской луной по тем же уединенным улочкам, что и с Амалией, поцелуи под теми же тенистыми липами. Но, закрывая глаза, еще плачущие по Амалии, лаская и прижимая Терезу, словно во сне радужном, он видит Амалию. "В душу ей до дна проникнуть/ неужель не стало силы?/ Но ведь ты в делах подобных/ не осел же, друг мой милый?/– иронизирует над собой поэт, но поздно – вновь навалилась, словно лихорадка горячечная, любовь или влюбленность, на бедную голову Поэта. Терезе сложно разобраться в своих чувствах, и она торопится к старшей сестре Амалии, к тому времени – жене преуспевающего купца Фридлендера, матери крохотной дочурки.

– Я тебе плохая советчица! – резко прерывает та признания сестренки, – нашему семейству только твоей любви к Генриху недостает! Ни ему, ни тебе она ни к чему!

– Мне кажется… мы любим… друг друга!

– Это ваши подробности, извини за откровенность, – мне они неинтересны.

– Так уж неинтересны! – шепчет Тереза, – да ты, ты, ты… ревнуешь! Если бы не наш папочка, нарожала бы Генриху деточек, он бы и стихи забросил.

– Прекратим разговор, – Амалия краснеет и обнимает сестру, – мигрень мне с ночи досаждает.

Она долго стоит у окна, смотрит вслед Терезе, слышит перестук ее каблучков по аллейным кирпичикам, и лишь когда та вскакивает в карету, подходит к зеркалам – привести себя в порядок к приходу супруга.

"Милый Генрих, Тереза тебя не любит!" – вновь отказано.

В глубине комодных ящиков Амалии, под топкими стопками отутюженного женского белья хранятся книги Поэта, – в каждую новую публикацию она вчитывается, ненасытно и увлеченно поглощает строки, горячие, страстные, словно обугленные, словно напоенные кровью певца – его напевы давно на устах немецкой молодежи.

"В глухую ночь, в блаженном сне,/ сошла любимая ко мне;/ Волшебной силой колдовской,/ ко мне явилась, в мой покой", – узнает и не узнает себя Амалия. И впрямь, колдовская сила у Генриха, – когда-то, не по своей воле, она выскользнула из его объятий, но ныне, верно, до конца дней ее, он, колдун или волшебник, самовольно и дерзко врывается в ее сны и покой. Когда они встречались, когда любили друг друга – молодые и чистые, добрые и неискушенные, она считала его стихи юношеской шалостью, была далека от поэзии, а ныне, перечитав вдоль и поперек все, сочиненное е е Генрихом, она неожиданно для себя потянулась не просто к рифмованным строчкам, – ощутила непостижимую глубину и очарование ошеломляющего чуда, именуемого стихами.

" Над страшною высотою/ девушка дивной красы/ одеждой горит золотою,/ играет златом косы". Ужели это она – легендарная Лорелея? Кто-то из подруг подсказал: – прочти "Справочник для путешествующих по Рейну" Алоиза Шрейбера: "В стародавние времена, в сумеречный час, и при свете луны на скале Лурлей показывалась девушка, которая пела голосом столь прелестным, что она пленяла всех, кто слушал ее. Многие проплывающие мимо разбивались о подводные камни или же погибали в водовороте, так как переставали следить за ходом своего судна и небесный голос певицы как бы отторгал их от жизни". Ужели это она – легендарная Лорелея? Откуда, из каких глубин сердца истерзанного извлекает Гейне бесконечную мощь своей поэзии, – Генрих, которого она знала таким нежным, порой беспомощным и ранимым?

– Ревнуешь! – укорила и безошибочно распознала зоркая сестрица Тереза. Понятно, ревнует, прежде всего к самой себе – реальной или вымышленной Поэтом красоте. И к неисчислимым его пассиям – Амалия задыхается во гневе от одного перечисления имен ненавистных – словно пчелы на мед, облепили они ее Генриха. Да как он посмел вослед за признанием в любви ей, Амалии, неразборчиво и на весь белый свет посвящать каким-то дульцинеям свои стихи?!

Когда Амалия узнала о страшной и неизлечимой болезни Гейне, о его едкой и печальной самоиронии – провести остаток жизни в "матрацной могиле", она засобиралась в Париж.

Долго, тщательно, привередливо перебирала свой гардероб, отвергла, и в гамбургских салонах высокой французской моды закупила несколько комплектов. В свои пятьдесят она была хороша: тонкое, гладкое, без излишней косметики, смуглое иудейское лицо, некогда золотистые локоны – подкрашены и уложены под широкополой белоснежной шляпкой, голубая шелковая кофта с рюшечным светлым воротником, темно-синяя длиннополая юбка, затянута в талии, сжатой жестким корсетом. Вот и словесный портрет, не привезенный мной из Дюссельдорфа.

В Париже легковому извозчику вручила записку с адресом: avenue Matignon, 3.

Дверь отворила высокая молоденькая француженка, Камилла.

– Генрих не сможет вас принять, он болен!

– Могу! Могу! Могу! – услышала хриплый крик Генриха, знакомый, словно они накануне расстались.

– Ты? – выдохнул Поэт и не пошевелился. Он сидел в своей постели, укутанный в темный бархатный халат, запахнутый снизу до горла, обмотанного шарфом, правая рука опирается в стопку книг на журнальном столике, левая, парализованная, неподвижно покоится на колене. Худощавое лицо в глубоких морщинах, словно в шрамах, курчавая борода, обвислые усы, взлохмаченные редкие волосы – припорошены сединой. Провалившиеся, словно в пропасть, глаза. На улице Амалия его бы не узнала…

Но потрясло иное – рядом с ее Генрихом, доверчиво и бережно прислонясь спиной к его левому плечу, полулежала женщина, очевидно, жена, Матильда – о ней Амалия уже наслышана. В левой приподнятой руке – распахнутый журнал, в правой, вытянутой, на блюдце – фарфоровая чашечка кофе. Матильда и не обернулась в сторону гостьи. Но Амалии тонкий профиль жены Поэта, высокий лоб, обнаженный стянутыми в узел смолисто-черными волосами и прикрытый белой косынкой, да и весь ее облик показался неправдоподобно красивым. Удивительное спокойствие, созданное контрастом светлого профиля женщины и сплошным темным фоном оби-

тели. Да и та, молоденькая француженка, красива. " Завел себе гарем…" – мелькнула мысль и исчезла.

А спустя час после ухода Амалии, когда Матильда поспешила за вечерними газетами, Генрих подозвал Камиллу и продиктовал – на одном дыхании, захлебываясь невидимыми слезами: "И ты, сочувствия полна!/ Ты, что всегда передо мною/ стояла статуей немою,/ как дивный мрамор, холодна…" Камилла записывала, гневно стиснув зубы.

…В тот вечер, мой последний – в Париже, прощаясь с ним, – ужели навсегда? – забрел я на площадь Вогезов. Среди густой зелени деревьев и симметричных стриженных газонов – конная статуя Людовика XIII, а у узорчатой металлической ограды – под гигантским разлапистым каштаном, опушенным свечением белых свечей – на скамейке плачущая женщина. Одинокая, всхлипывающая, миловидная и молодая еврейка, – да, она была нашего племени, и слезы лишь оттеняли ее библейские черты, неслучайные, несмываемые, – она не вписывалась, не воспринималась в неумолчном чуде парижского вечернего веселья или ликования, и что-то дрогнуло в моей груди. – Вам помочь?

Она промолчала, мельком глянула на меня, точнее, сквозь меня, в бездне или в бездолье ее непомерно огромных, распахнутых черных глаз, залитых горечью и печалью, ничего не изменилось, и я, извинившись, присел на краешек скамьи.

– Мне уже нечем помочь! Спасибо! – ответила женщина на идиш, хотя спрашивал я на иврите. Вначале мы говорили ни о чем, затем, вдруг, о нашем Иерусалиме, откуда меня ненадолго и ненароком занесло в Париж, о Иерусалиме, где незнакомка мечтает побывать.

– В Иерусалим нам следует приезжать навсегда! – обронил я, и женщина пожала плечами. Она неспешно оттаивала, но лишь внешне, скомканным носовым платком тщательно высушила слезы, несколькими неуловимыми движениями навела порядок в своих одеждах, белоснежная широкополая шляпка лишь подчеркивала или уточняла красоту ее современного стиля.

– Еще раз – спасибо! Вы смогли мне помочь! – она быстро поднялась и ушла, словно растворилась под арками парковых аллей.

Кого-то мне напомнила – эта парижская незнакомка с нежным идишским выговором, отчего мне в дар поднесли эту нежданную мгновенную встречу? Не здесь ли – на площади Вогезов, под опушенным белым свечением гигантским каштаном, одиноко и опечаленно плакала Амалия, навсегда прощаясь с умирающим Гейне? И было ли т о г д а кому подойти и предложить помочь? "Пускай она поплачет, ей ничего не значит", – писал другой поэт о другой женщине.

Женщины Гейне! Разные и непохожие, они украшали и калечили жизнь Поэта, но именно им мы обязаны его высокими и вдохновенными, страстными и трагическими шедеврами. Тем более удивительно: не обнаружены достойные строки, мной, по крайней мере, в поэтическом наследии Гейне – ни о Камилле Сельден, ни о жене Матильде. Камилла – молоденькая француженка из далекого захолустья, она заглазно, лишь по стихам влюбилась в Поэта, отыскала его парижскую квартиру, дерзко открыла не только ее дверь, но и сердце Гейне. Последняя страсть умирающего Поэта. Даже Матильда, гордая и ревнивая жена, приняла Камиллу под семейной крышей. Помните: "завел себе гарем" – возмутилась Амалия, но лишь на миг – она бы сама навсегда осталась под этой крышей, если бы ее допустили. У великого нашего Поэта – царя Давида, когда он состарился, тоже была возлюбленная, молоденькая и красивая, звали ее Авишаг, и ухаживала она за царем, и прислуживала ему, и, согревая, лежала на груди его до дня последнего, когда почил он с отцами своими. Но это уже – о другом Поэте.

Но ежели не в стихах – отыскалось в дневниковых строках, – звонкой привычке к рифме и ритму, словно невзначай, изменил Гейне с годами хорошей и крепкой прозой: " Я мертвец, томящийся жаждой по самым огненным наслаждениям, какие доставляет жизнь … Это ужасно!" Это – Камилле! Она и его жена Матильда – дружно и рядышком, годы и сутками напролет до вздоха последнего, преданно и безропотно облегчали страдания Поэта. Преклоняюсь перед их мужеством, нет, – перед их великой любовью! Они и закрыли ему глаза. Но до этого – о многом Гейне написать предстоит, а нам перечитать написанное.

Возвращение

Об уходе Генриха Гейне от традиций еврейского народа, о противоречиях и разладе с религиозной родней, о принятии им лютеранства, о богохульных его декларациях, о неприятии иудаизма и единого Б-га написаны тома исследований, и комментаторы, не смущаясь, смакуют каждую подробность. А о его возвращении или тшуве – намеренное гробовое молчание, хотя Гейне посчитал необходимым объясниться безоговорочно – не в салонной беседе, или, как мы, шепотком на кухне, – единственно возможным способом, доступным профессионалу: на типографских оттисках газет, на страницах своих книг, тиражируемых и поныне на языках большинства народов планеты. Гейне смотрел вперед, ему не без интереса и наше мнение. А мы, в советском галуте пропитанные до мозга костей безбожьем, скромно именуемым атеизмом, ужели мы вправе сегодня, на Земле Обетованной, оставаться безучастными к опыту тшувы, или возвращения Генриха Гейне? Он из своего далека остерегает, упреждает, докрикивается. Нам бы только услышать!

В последней поэтической книге "Романсеро", вышедшей из печати в октябре 1851 года, в разделе "Еврейские мелодии" Генрих Гейне воспел великое "золотое созвездие" еврейской поэзии – Иегуду Галеви, Соломона ибн Габироля и Моисея ибн Эзра. Великий еврейский Поэт Иегуда Галеви буквально потряс Гейне, – даже спустя шестьсот лет, их разделявших, вобравших крестовые походы, изгнание евреев из Испании, христианские антисемитские бесчинства в Европе, он разглядел или услышал в великом собрате – еврея и современника, именно в такой последовательности. В "Еврейских мелодиях" Генрих Гейне попытался, на свой лад, приобщиться к великой еврейской Поэзии, которая до той поры была ему незнакома, но не чужда. Поэзия Иегуды Галеви стала для Гейне, долгие годы остававшегося "барабанщиком революции", уроком наглядным или упреком, – национально-еврейские религиозные мотивы чередуются или сплетаются с чисто человеческими. Чарующая красота еврейской женщины, воспетая Иегудой Галеви, любовь к ней, даже отвергнутая, была для Генриха

Гейне откровением. И в его лаконичной и искренней оценке Иегуды Галеви, брата по крови и Поэзии: "Его поцеловал Б-г"– слышится мне белая зависть.

Не от этой ли встречи – и нежданной, и словно свыше запрограммированной, – с поэзии Иегуды Галеви, началось возвращение, или тшува Генриха Гейне? Так, по крайней мере, мне видится из нынешнего Иерусалима.

Я не намерен по-своему истолковывать написанное Гейне в последние годы жизни. Скрупулезно, бережливо, в печали и радости, в меру отпущенных сил и дара, перечитывая Гейне, – в его публицистике, дневниках, мемуарах, письмах я отобрал и собрал воедино сказанное им о своем возвращении, или тшуве. Не все и отыскал.

Заточенный в своей парижской "матрацной могиле", он посчитал это необходимым вышептать или выбормотать, продиктовать или выкричать:

"Я сожалею, что юношеское мое легкомыслие натворило столько бедствия…

Стихотворения, хотя бы отдаленно заключавшие в себе колкости против господа Б-га, я с боязливым рвением предал огню… Лучше пусть горят стихи, чем стихотворец".

"Да, я пошел на мировую с Создателем, как и с созданием, к величайшей досаде моих просвещенных друзей, которые упрекали меня в этом отступничестве, в возвращении назад, к старым суевериям, как им будет угодно окрестить мое возвращение к Б-гу".

"Высокий собор служителей атеизма предал меня анафеме, и находятся фанатичные попы неверия, которые с радостью предали бы меня пытке, чтобы вынудить у меня признания во всех моих ересях… К счастью, они не располагают другими орудиями пытки, кроме собственных писаний. Но я готов и без пытки признаться во всем. Да, я возвратился к Б-гу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев. Были ли то беды, что пригнали меня обратно? Были ли то несчастья, что пригнали меня обратно? Быть может, менее ничтожные причины… тоска по небесной родине напала на меня и гнала через леса и ущелья, по самым головокружительным тропинкам диалектики".

"Я отказался от гегелевского Б-га или, вернее, от гегелианского безбожья и на место его поставил догмат о действительном личном Б-ге, Сущем".

"Дела евреев, в сущности, не известны миру. Думают, что знают их, потому что видят их бороды, – как в средние века, так и теперь они странствующая тайна. Она раскроется, эта тайна, в день, о котором говорил пророк, когда будет один пастырь и одно стадо, и их праведный, понесший муку за благо человечества, получит признание".

"Если бы теперь не было евреев, люди бы, узнав, где он, – ездили, чтобы пожать ему руку".

"Моше-рабейну, Моисей – великий художник, ... который взял убогий росток и создал из него... великий, вечный, святой народ – способный служить прототипом всему человечеству".

Скажу уже от себя: все – по воле Небес. Верю или надеюсь, что эти обжигающие, искренние строки, выдохнутые из огромного, истерзанного, еврейского сердца Поэта, ему "засчитаны" как тшува, или возвращение.

...Когда близкий друг Генриха Гейне – Александр Вейль, человек глубоко религиозный, случайно натолкнулся на его строки:

"Keinen Kadish wird man Zagen
...An meinen Sterbetagen"

– он заплакал.

Мне неведомо, сказал ли он что-либо Поэту. Уверен, многие мои однокровники, как и я, присоединяются к его словам: "Евреи могут произнести торжественный кадиш по своему Поэту, одному из многих великих борцов за человечность, которых евреи дали миру, но единственному – после библейских – великому Поэту, которого еврейство дало мировой литературе".

Смею надеяться, – мои нынешние размышления прочтут в Израиле и непременно услышат в них, произнесут вслед за мной, наедине или стоя в миньяне, торжественный кадиш по н а ш е м у Генриху Гейне. Смею надеяться. Почту за честь...

Марьян Беленький

Письмо Богу

— Будем говорить откровенно, – сказал доктор, – болезнь ваша неизлечима, и осталось вам не так уж долго. Я могу назначить вам химиотерапию, от которой вас будет тошнить и выпадут все волосы, но это лишь продлит ненадолго ваши мучения. Мой вам совет – не нужна вам никакая химиотерапия. Будь я вашим врачом в России, я бы вам этого не сказал.

– И что, действительно ничего нельзя сделать? – Марков не узнал своего голоса.

– Неужели вы думаете, что если бы существовало какое-нибудь лекарство, то я бы вам его не выписал?

– Так что же мне делать?

– Я вам дам направление к психологу. Вы сможете обсудить с ним все проблемы. Извините, но меня ждут другие больные.

Маркова подташнивало. О намеченном походе в русский магазин за селедкой и салом нечего было и думать. На улице сновали взад-вперед девушки в облегающих брюках и юбках, сквозь которые отчетливо проступала линия трусиков. Ногот-

ки их ножек в босоножках были выкрашены лаком разного цвета – у одной – желтые, у другой – зеленые...

– Они тут будут бегать взад-вперед, живые, а я... Ну почему я? И за что? Что я такого сделал? Не воровал, детей вырастил. Даже не курил.

Он изо всех сил попытался представить себе – как все это будет без меня. Девчонки так же будут сидеть в автобусах, закинув ногу за ногу, в русском магазине так же будут продавать все 50 сортов колбасы и селедку "матиас", только его самого не будет. Эта простая мысль в голове не укладывалась. И тогда Марков решил написать письмо:

"Уважаемый Бог! Я всю жизнь вкалывал по полторы смены, чтобы поднять детей, А дети сейчас в Израиле вкалывают по две смены, чтоб за квартиру заплатить. Сын говорит, что у них на заводе только русские и работают, израильтяне по 12 часов в день работать не приучены. Про меня дети уже не вспоминают. Материально им помочь я не могу, а советы мои им не нужны. Что я видел в жизни? Придешь домой вечером после работы – ноги гудят, перед телевизором посидишь, покушаешь и спать. И вот здесь теперь, вроде, кажется – живи в свое удовольствие, когда нет хамсина. А в русском магазине – и вареники, и колбаса всякая, только денег нету. Я первое время оглядывался – а ну подойдет кто-нибудь и скажет: "Ваш пропуск, гражданин?!" Что мне в жизни осталось? Жена меня давно бросила, дети не звонят. В прошлый раз лекторша очень интересно говорила про разнообразное питание, но где взять на это деньги, так она этого не сказала. Я уже не говорю про икру, но больше ста грамм колбасы я себе позволить не могу, ну там еще грибы маринованные, капуста квашеная. Я пробовал сам делать, выходит гораздо дешевле, но как в русском магазине не получается. Женщины на меня уже внимания никакого не обращают. Так вот теперь еще это. Ну кому будет легче, если... А?" Марков вложил в конверт копию удостоверения личности, написал на конверте "Господу Богу". Потом подумал и дописал на иврите: "Адонай элокейну, адонай эхад". Марков ходил в пенсионерскую ешиву – там платили сто шекелей в месяц и приносили на занятия печенье и колу. Приклеил марку и опустил письмо в почтовый ящик местной почты "только для корреспонденции в Иерусалим".

* * *

Звонок телефона звучал нахально и без перерыва:

– Вы писали на имя Господа? – строго спросил женский голос, – не кладите трубку.

– Алло! – голос в трубке отдавал колоколом. Так наверно, читал первосвященник в Храме. В трубке звучало какое-то эхо, повторявшее каждую фразу:

– Мы с товарищами прочли ваше письмо. Нам непонятно, чего же вы, собственно, просите.

– Как чего? Жить!

– Зачем?

– Как это зачем?

– Ну, понимаете, люди к нам обращаются с конкретными просьбами – одному нужно три месяца, чтобы роман дописать, другому – полгода на завершение открытия, третий просит неделю, чтобы слетать в Баку – дать по морде лучшему другу, что стучал на него в КГБ. А вам для чего?

– Да, Господи, выйдешь утром, пока не жарко, птички это самое, у девчонок бретельки от лифчика выглядывают из-под футболок, в лавке сметана 30-процентная без очереди...

– Значит, просто так? Этого многие хотят. (В трубке задумчиво помолчали.) Ну, хорошо. Знаете что, в порядке исключения. Мы тут с товарищами посовещались и решили отменить ваш диагноз.

– Спасибо, товарищ Бог! А мне... Я что должен делать? Если вы рассчитываете на добровольные пожертвования, так у меня вместе с социальной надбавкой... – сами знаете.

– Знаем, знаем, как же.

– Может, в ешиву круглосуточную записаться?

– Да ну их… Они у меня уже в печенках сидят.

– Так что же мне делать, Господи?

– А ничего. Просто живите.

– Господи, если уже все равно жить, так может сразу жить хорошо, а? Вы можете как-то договориться в нац. страховании насчет увеличения пособия? А то в магазин зайдешь, так слюна течет, а купить ничего не можешь.

– Э, нет, куда мне с ними тягаться? Ну ладно, меня другие клиенты ждут. Если что, пишите. Только не заказным.

В трубке послышались гудки. Сразу же после разговора у Маркова созрел План. Он положил в кулек ложку, поехал в русский магазин, купил за двадцать восемь шекелей баночку красной икры и сожрал ее, не отходя от кассы. Так он отметил свое второе рождение.

* * *

– Это поразительно, – врач был в шоке, – неоперабельная опухоль в последней стадии исчезла! Скажите, что вы принимали?

– Да ничего, разве пива иногда выпьешь. Но конечно, не каждый день. С моей пенсией...

– Это просто поразительно! Я напишу статью в американский медицинский журнал.

* * *

А теперь мы оставим Маркова и перенесемся в другую семью где разговаривают муж и жена:

– Ох и доиграешься ты, Сашка, с этими письмами. С таким трудом тебя на почту пропихнули. Кто тебе дал право открывать чужие письма, звонить незнакомым людям, представляться то Снегурочкой, то президентом Израиля?

– А кто узнает? Ну кто? Письма-то не заказные. Кто проверит? А может, я человеку жизнь спас.

– Тебе-то кто спасибо за это скажет? Кто хоть шекель даст? Лучше бы в ночную охрану пошел. Худо-бедно, еще полторы тысячи приносил бы.

– А спать когда?

– Спать, спать. А за квартиру за тебя Герцль платить будет?

Но Саша не слушал. Он распечатывал очередное письмо. На конверте аккуратным детским почерком было выведено:

Israel, Jerosolimo, Santa Madonna.

Письмо было из Италии.

Вот такая страна!

Перевод с иврита автора

Вот такая страна у нас!
У нас каждый норовит работать как при социализме,
А жить как при капитализме.
И у многих же получается!
Правда, за наш счет.
Мы к социализму опоздали.
Он захлопнулся перед нашим носом.
Но в остальном – вот так живем!
Зайдите в любую контору – никто ничего не делает,
А в магазинах все есть!
Откуда все берется?
Америка помогает?
Или на нашей нервной почве вырастают свои таланты?
Нет, тут у нас нужны не таланты, а гаранты на машканты.
В Совке говорили: наглость – второе счастье.
У нас наглость – первое счастье.
Не родись красивым, а родись нахальным – все у тебя будет.
А наша интеллигентская скромность здесь вроде инвалидности.
У нас тот, кому положено – получает,
а тот, кому не положено – сам берет.
Правильно у Булгакова сказано –
никогда ничего не просите.
Не просите, а требуйте, кулаком по столу стучите.
Сами не придут и ничего не дадут.
Вот такая страна у нас!
В России от армии по блату отмазываются,
а у нас по блату в боевые части устраиваются.
У нас охранники в школах имеют высшее образование,
А министры культуры и просвещения – не имеют.
У нас вечером полные бары народу,
а пьяного я в Израиле за 12 лет видел один раз –
в зеркале.

Что хорошо – у нас можно всю жизнь проходить в шапке,
И никто не узнает, что ты – лысый.
У нас на рынке Махане Иегуда нищий просит подаяние,
не выходя из своего "Мерседеса",
дает сдачу и выписывает налоговые квитанции.
У нас в общественных туалетах
вместо неприличных надписей – политические лозунги.
А насчет мечты Герцля про своих еврейских воров,
так в этом мы всем гоям фору дадим.
В чем наш главный израильский секрет, знаете?
Гои начинают работу с понедельника,
а мы – с воскресенья, пока они там еще только потягиваются
То есть мы каждую неделю весь мир на сутки обгоняем!
Только вот с восточной музыкой у меня проблемы.
Не люблю я ее.
Я вам больше скажу – я и фалафель-то не очень люблю.
Я не знаю – об этом можно говорить, или это уже расизм?
Мне иногда некоторые жалуются –
почему местные нас не любят.
– А чего ждать, пока они нас полюбят, – говорят другие.
Газеты у нас свои, писатели, артисты свои,
конторы и фабрики свои.
Радио и ТВ свое.
В Тель-Авиве недавно открыли русский общественный туалет.
Видимо, они даже это делают не так, как мы –
без огласовок и справа налево.
Мы же сами производим,
сами себе продаем,
сами у себя воруем –
зачем они нам вообще нужны? – говорят некоторые.
А недавно мне один из наших сказал:
– А давайте мы вообще отделимся – чем мы хуже арабов?
Их миллион и нас миллион.
Но наш-то миллион все равно больше.
Отделимся, говорит, и будет у нас
Олимовская Народная Республика.
Государственный язык – русский.
За иврит на улице – штраф, как за хулиганство.

А если серьезно – у нас действительно вот такая страна!
Ведь мы живем в стране осуществленной утопии.
Сколько их было – от Платона до Маркса!
Но только у нас,
Единственный раз в истории
утопия воплотилась в жизнь.
Потому что нашлись люди,
которые в эту утопию поверили
и своей жизнью доказали ее реальность.
И вот он – Новый Израильтянин,
мечта Герцля и Жаботинского,
свободный, гордый и независимый!
Он сражается за свою страну,
Он строит ее каждый день
И каждый день норовит обмануть ближнего.
Вот такая у нас страна!
Только у нас поют шлягеры на слова 2000-летней давности.
Только у нас с Богом общаются по местному тарифу.
Вот такая у нас страна!
Нас душили в газовых камерах,
Расстреливают на улицах,
Взрывают в дискотеках и автобусах,
Но мы, несмотря ни на что, будем жить здесь, на своей земле
И надеяться на лучшее.
Ведь мы и выжили, потому что надеялись, молились и смеялись.
Ибо сказал Господь:
"Я соберу дом Израиля из народов, среди которых он рассеян,
и будет он обитать на земле своей,
которую Я дал Израилю.
И построят они дома, и насадят виноградники,
и будут обитать в безопасности,
когда Я свершу кары свои над всеми ненавидящими их".
Так выпьем за то, чтобы эта наша страна,
текущая молоком и медом,
нашей кровью, потом и слезами,
жила и процветала со всеми своими цуресами.
И будем мы жить нормально,

Несмотря ни на что,
И воспитывать детей,
И покупать квартиры.
И дай Бог, чтоб было не хуже, а лучше – сделаем сами.
Так будьте здоровы и счастливы
В нашей маленькой великой стране,
Которую мы называем родиной,
Потому что третьей родины у нас не будет.
Вот такая у нас страна!
Лехаим!

Тоска

Однажды летом я ехал в автобусе
И вдруг сообразил, что сел не в тот автобус.
Я подошел к водителю и сказал:
– Водитель, останови автобус.
Извини, не в тот автобус сел.
Да я понимаю, что не положено, но будь же человеком!
Это же последний пятничный автобус.
Ну что я буду делать в субботу в незнакомом городе без денег?
Когда тебя жена просит, ты тоже так себя ведешь?
Понимаешь, я на пособии, а до первого числа еще ого-го.
Вот, смотри, пустой кошелек, двадцать агорот.
Ну завезешь ты меня в чужой город,
и что мне делать до воскресенья?
Жрать нечего, в гостиницу без денег не пустят.
Еду я беру в русском магазине на отсроченные чеки.
Так что как пособие приходит, так его сразу и нету.
Ладно, на меня тебе наплевать, а собачка?
Она же одна в квартире останется.
Представь себя не ее месте.
Что она подумает – хозяина нет, еды нет, питья нет.
Я-то привык уже один, а для нее же это
просто катастрофа всей жизни.
Неужели тебе ее не жалко?

Понимаешь, пока я еще работал, так еще было ничего.
А потом они мне сказали:
– это в Совке можно всю жизнь штаны протирать,
а тут инициативу нужно проявлять.
А я им говорю – так я разве против?
Скажите, какого числа и какую именно, я проявлю.
Как поперли меня с работы в очередной раз и не заплатили,
жена сказала – все устроились, кроме тебя.
Нам с ней еще в Совке статья попалась,
что в эмиграции семьи распадаются.
Уж с нами-то этого не случится, думали мы –
десять лет вместе прожили
и спали, взявшись за руки...
Оказалось, правду в той газете писали…
Так я сейчас у одной семьи комнату снимаю.
Хорошая комната, только проходная.
Я собачку завел.
Больше меня никто не ждет.
А ты так с ней поступаешь.
Понимаешь, сын у меня в Киеве остался,
Я его уже десять лет не видел.
Так им по сто долларов в месяц посылаю,
Для них это просто счастье.
Ну, а я и в проходной перебьюсь.
А тут, понимаешь, к другу захотелось съездить.
десять лет не виделись.
Посмотреть ему в глаза захотелось, когда я узнал,
что он на меня двадцать лет в КГБ стучал.
Он так обрадовался встрече,
про то даже и не вспомнил...
А ты меня везешь черт-те куда.
Граждане пассажиры, ну хоть вы ему объясните!
Из Киева есть кто-нибудь?
Разведенные есть?
А раки? В смысле по гороскопу.
Ну что вы молчите?!
На весь автобус – ни одного русского, вот невезение.
Как! И на иврите тоже никто не понимает?

Туристы из Франции?
Что ж вы раньше молчали?
Открыли, слава Богу! Кому то из пассажиров приспичило.
Ладно, пойду обратно.
К вечеру до собачки доберусь.
Ох, она и обрадуется!

Баллада о шашлыке из гусиной грудинки

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой,
Так жду я встречи с шашлыком гусиным.
К нему готовлюсь я еще за сутки –
И вот я подхожу, готовя деньги, к стойке,
Роняю "зуг хазе аваз" небрежно –
Как будто это для меня лишь просто завтрак.

Как долго тянутся мгновенья ожиданья –
Словно Она вот-вот из ванной выйдет,
И я сценарий весь любовной схватки
В уме проигрываю снова шаг за шагом.
О, свежей плоти дивный запах!
Офелия, о нимфа, дай куснуть!
Что слава? Яркая зарплата
На ветхом рубище певца,
Когда могу вкусить я
Райского блаженства за двадцать шекелей.
(На самом деле – двадцать пять.
Но двадцать пять в размер не влазит).
Простите, Гусь, Вы жертвой пали не напрасной –
Вы жизнь отдали на алтарь литературы.
Вы памятник себе воздвигли нерукотворный
В моих стихах,

И, может, в будущем перерожденьи
Вы станете Поэтом,
И будете рождаться им,
Пока не остановит колеса Сансары
Неземная сила.
Быть может, в прошлой жизни был я Гусем?
(Или Гусём – как правильно, не знаю.)
О первый кус! Как первый поцелуй,
Как море, все просвеченное солнцем,
Где ходят рыбы в глубине цветные,
Как утром дождь в Иерусалиме старом,
Как голос Жени Кравчик в телефоне...

(Ну такие у меня ассоциации –
Что с меня возьмешь?
Попробуйте вычеркнуть – рухнет
Весь макроструктуральный полиметаморфизм
Образно-семантической консеквенции.
Привет Гольдшейну!
Ведь мы – поэты, мы поем как птицы.
Но только птицам гонорар не платят.
А впрочем – двести пятьдесят за полосу –
Разве это деньги?!
Быть может, мне заплатят все же больше?)

О шашлык гусиный! Вкусив Тебя,
Поверишь сразу в Бога –
Без воли Господа подобное Творенье
Явиться в мир никак бы не могло.
Компьютер мой не силах передать
Всю глубину ноздрей очарованья.
Как хорошо, как свеже было мясо!
И вот – нирвана. Полное отсутствие желаний –
Не хочется ни есть, ни пить, ни двигаться,
Не говоря уже о написаньи разных слов
Для подтвержденья статуса Поэта.

Но и тогда, когда на всей планете
Настанет мир, исчезнет боль и грусть,
Я буду воспевать всем существом поэта
Шашлык из птицы под названьем гусь.

Скажи, молилась ли ты на ночь, Дездемона,
Пред тем, как вынести шампуры из салона?
Постой, Джульетта! Не уноси шашлык, молю!
Еще один кусок – прощальный, мирный!
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что нашим мудрецам не снилось до репатриации.
Гуся, гуся! Полцарства – за гуся!

Игорь Бяльский

Два стихотворения памяти деда Нухима

Потому что жизнь

Потому что жизнь всё же – не *что*, а *как*,
и уздечка – из кожи именно, а нейлон,
может быть, и прочнее даже, но мой резон,
что и лошади тоже – в коже особый смак.

А особый смак – он и есть настоящий вкус,
или жизни вкус, заходя на расхожий слог,
говоря о кайфе, молодости и плюс
о самой о жизни, если, конечно, смог.

А тем паче – всаднику. Что это за Чечня
или Иудея, что ближе, да и родней,
если глянешь – раз, и обчёлся лихих коней.
Ни коня уже настоящего, ни ремня.

Обсчитался, стало быть, перенадеялся
на Всевышнего, на удачу, на чёрт-те что.
И печёт, и мороз по коже, и мчит авто.
И по свету дорог нехоженых – жизнь вся.

* * *

Говоря о коже, продолжу ещё о ней.
Мне рассказывал дед, на первой на мировой
До шести воевали бой, ну а в шесть – отбой.
И они свежевали с братом убитых коней.

И меняли шкуры на шнапс, и айда в запой,
и братались с теми же немцами потом.
А наутро пели: "Смело мы в бой пойдём!.. "
Или это уже на Гражданской про смертный бой?

* * *

Нет, про смертный позже, это без лошадей,
на второй, где конницы даже и след простыл.
Дед ремни тачал на весь на чарджуйский тыл,
а в тылу освенцимов снимали кожу с людей.

С иудеев, по большей части. Такой народ.
Из него, что хочешь – универсальный люд.
И на суперфосфат годится, чего уж тут...
И на абажуры. И золота полон рот.

* * *

Вот и встало мемориалов. Полвека – ах...
И в улыбках светится что ни на есть фарфор.
И о золоте, как же, если уж разговор.
О коронках тех переплавленных и счетах.

"Всё равно не любят – пускай хотя бы вернут…"
И за мир сейчас же, в обмен, до любых глубин.
Включишь новости – что ни день, а сюжет один:
ах, убит солдат... и далее – курс валют.

* * *

А закат падёт – занимается новый тур.
Тары-бары, базар-вокзал. А из новых эр
акаэм торчит, а там уже бэтээр...
Не земля – набор чужих аббревиатур.

И вжимается свой шесток, предъявляя счёт.
Если знаешь, скажи, пожалуйста, не молчи:
от чего алеет Ближний Восток в ночи?
Светофоры, понятно, кровь. Но что-то ещё.

* * *

Заведи машину в праздник осенних дней
и листай эпохи, себе – и Дубнов, и Грец.
Тут стоял дворец, а здесь погребён мудрец.
А на этой ферме прокатывают коней.

Ты усадишь сына в пластмассовое седло,
да и сам в такое же, и в семенящий зной –
по земле родной, не тобой отвоёванной,
круговой тропой, пока зады не свело.

Дед бы вытачал, как положено. Он умел.
Это грамоту – он не очень, а кожу знал.
И семью кормил, и в лагере не пропал,
и на воле пел, а вот сюда не успел.

* * *

Потому что век – чужих коней стремена.
Потому что внук, и ещё, и свой сад.
Там его деревья уже без него стоят
и сегодня, в послеимперские времена.

В самоволку к ним сбежал в свой последний раз,
у врача дежурного всё-таки отшутясь.
А потом и бабка рядышком улеглась.
Вся любовь. Как сказали бы раньше, "и весь сказ".

Ни коней. До больницы тоже довёз трамвай.
На еврейском кладбище с деда какой спрос?
Он с одесской вишней давно в небеса врос
и оттуда зрит на шагреневый мой край.

Хорошо с небес видать первородный храм.
Что скала под куполом или господень гроб?
И колхоз любил он. Не то чтоб деньгу грёб,
но себе на памятник сам заработал, сам.

* * *

О любви и хотел сказать безо всех саг,
что, империи если даже сменяются,
Иудейской нашей войне не видать конца.
Потому что любовь, любовь. Остальное – так.

1999

Апрельское

О себе я сказал, а теперь – мои речи о Боге.
Да, конечно, – религия, опиум, знаю, согласен.
Я еще в позапрошлой стране, не в четвёртом ли классе,
декламировал атеистические монологи.

И показывал книги с портретами Бруно и Браге,
и рассказывал про человекообразных горилл...
Дед ничуть не сердился, старинные марки дарил,
и про вихри враждебные пел, "подрастёшь..." говорил.
Я на похороны не слетал, телеграммку отбил.
За дипломным проектом в своей отсиделся общаге.

Бога нет. И не то чтобы очень мешал он, отнюдь.
Отмечтав о бессмертии, мамой обещанном в детстве, –
мол, таблетки придумают, стоит одну лишь глотнуть...
и о разоруженье всеобщем – ряды, мол, сомкнуть, –
я и сам бы не прочь утонуть в чудодейственном средстве.

Но таблеток не изобрели. И не изобретут.
Кубик Рубика – да, аэробика – да, нарасхват.
И хватается за автомат бородатый Бейрут,
и в цветном телевизоре снова небрит Арафат.

И покуда не нас, то есть нас, но покуда не в нос,
но уже началось – и навылет уже, и на снос.
Нет, не тот апокалипсис, нет, но чем далее в лес,
этот мирный процесс – он уже и всемирный процесс.

Нет, я не возражаю ни против безъядерных зон
на Таити или в Антарктиде, ни против заботы
о курящих и пьющих – любой принимаю резон –
и работать согласен хоть все до единой субботы.

Бога нет – может быть, и устал, но своё отпотел.
И сработанный мир – хоть и несправедлив, но прекрасен
от божественных вёсен и дьявольски женственных тел
до торжественных песен и нравоучительных басен.

И теперь всё, что ни происходит, несётся, плывёт,
по-пластунски ползёт и на небо глядит возбуждённо,
не нуждается в Боге нисколько, поскольку живёт.
И нуждается в нас – ибо смертно и вооружённо.

Оставляя приёмник включённым, входя в интернет –
пробегая по сводкам едва ли последних злосчастий,
редактирую меру причастий и деепричастий.
Деда нет. И отец мой состарился. Времени – нет.

1986-2003

Ася Векслер

Корни

С посвистом дует на мыс в городке
шкиперский ветер. Апрель благосклоннее
к тем, кто южнее. Вот невдалеке
замок. До прежней колонии

или истории чьей-то страны
дел ему менее, чем до геральдики
неким гостям, обжитой старины
жаждущим: в чинном парадике

будет немного участников. Гид –
честный любитель: он образом двойственным
то королевским гвардейцем глядит,
то мажордомом потомственным.

Видывал он, как выхватывал блиц
праздничность, происхождением данную.
Здесь королева бывала, и принц
с будущей леди Дианою.

Так что наверх, на орбиту персон
по сквознячку, что спознался с короною,
мимо ружейных богатств, – гарнизон
можно сплотить обороною, –

но застреваешь на лестнице. Там
вровень с идущим и по хронологии
предки старинного рода холстам
вверены; лица их строгие

живы для времени не своего, –
то-то не весишь ни грамма ты, –
и от пришельца не ждут ничего,
кроме верительной грамоты.

Леди и джентльменам с давних высот
некто захожий докучливей выскочки.
А между тем роду их лет шестьсот,
а твоему – за три тысячи.

Ни ясновидящий не разберет,
ни обладатель ума деловитого,
от пастухов Галилеи твой род
или из дома Давидова.

Если бы воображенье могло
высветлить вглубь эту даль несусветную,
много бы лестниц нездешних ушло
на галерею портретную.

В рамах мелькнули бы страны, места,
гон без пощады, обочина пыльная.
Прошлое рода молчит неспроста –
ноша была б непосильная.

Только и знанья, что издалека
тянется, теплится ниточка кровная,
что на ветру бередит облака
роща твоя родословная.

Жар до полудня. И за полдень жар.
Немилосердна природа – и ласкова.
…Честь окажи, иудейский загар,
зеркалу замка шотландского.

Подлетая к Израилю

Над облаками взят курс на снижение.
Гул изменяется. Падают акции
выси небесной по мере сближения
с морем до той вертикальной дистанции,
с коей, ничуть не крупней инфузории
судно с тончайшей обводкой для пущего
сходства. А воды настолько лазоревы,
что и не хватишься: жизнь-то упущена.

В пять пополудни, как утром, подернута
влажностью даль, и сиянье рассеянно.
Роза ветров на бочок перевернута –
запад внизу, а восток вместо севера.
Видимы сбоку и сверху, не узнаны
мысы, плато, острова, акватории.
Где они, страны-враги и союзники?
Бездны эпох до новейшей истории.

Шесть дней – трудам, а свобода субботняя
для любованья содеянным надолго.
Ангельская высота и господняя –
дар всем дарам. Приземляться не надо бы.
С неба свисая, пространство великое
знать бы смягченным и очеловеченным.
Умбра, сиена, песок сердоликовый.
Дымка у взгорий. Преддверие вечера.

Вальс Грибоедова

Б. Голлеру

Зданье музея Рокфеллера
сбоку стены городской,
как для обложки бестселлера,
если представить такой.
Будка охраны для верности,
башня – и, как бы сквозь лак,
флаг Департамента древностей
и государственный флаг.

В городе ветхом, расколотом
случай неисповедим.
Вровень с мечетью под золотом
ты, одна из егудим,
то есть чужачка по статусу,
дважды в присутственный день
быстро проходишь по пандусу,
вправду – живая мишень.

Минуло время для выспренних
слов. Как посмотришь, видны
сколы на каменных выступах
от Шестидневной войны.
Вдоль галереи колышутся
тени от флагов, двоясь.
Эхом под сводами слышится
вальс – грибоедовский вальс.

Жаль, что не часто приваживать
блеск фортепьянный и прыть.
Где-то на воле не хаживать,
а до потемок служить.
Не синекура, а ревностный
долг дипломата, на грех,
или хранение древностей –
Музе хватает помех.

Тихие и торопливые
звуки как знаки судьбы.
Грустные дни и счастливые –
до разъяренной толпы.
Жизнь петербургская, разве ты
вновь закружишься, светясь?..
раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
Что ты здесь делаешь, вальс?

Эпилог без конца

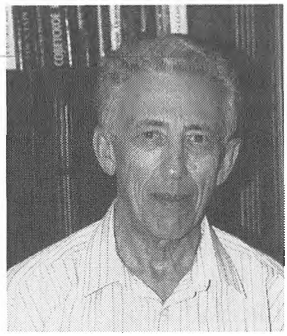
Время – наши дни. О месте скажем
с краткостью: соседство райских кущ
с огненной геенной – и пейзажи
стоят риска (здесь он вездесущ).
Действие – почти что никакое:
разговор, дыханье, глубина.
Голоса участников. Их двое:
некий он и некая она.

Вот она: "Прощай. На всякий случай.
Вероятен поворот любой.
Если окажусь я невезучей,
больше не увидимся с тобой".

Он ей: "Не спеши. Я спутник верный.
А дождемся перемен крутых, –
если там очутишься ты первой,
закажи нам столик на двоих.
Сядь и посмотри меню, покуда
станешь поджидать меня одна.
Следом за тобою я прибуду
ужинать с бутылкою вина;

а потом вдруг оглядимся: местность
та же, что была, по край небес,
и, выходит, горняя окрестность –
это иерусалимский лес.
Всех-то новостей – у камня слева
свежий указатель на Эдем.

Господи, прими Адама с Евой.
Вот Те слово: мы не насовсем".



Хаим Венгер

Вечер в Вене

Александру Любинскому

Это ж надо – невезуха:
Голос пропил я, не пив!
Люди слушали вполуха,
Набок головы склонив.

Им, уставшим от агиток,
От брехни про их права,
Пострашнее всяких пыток
Были громкие слова.

Но – о чудо, правый Боже! –
Постепенно зал затих:
Я хрипел про то, что прожил,
Стало быть, хрипел про них.

Что любил и ненавидел –
Все во мне смешалось вдруг.
Я читал стихи и видел:
Люди плакали вокруг.

Не стесняясь слез, открыто
(Плач их рвался из груди) –
И о том, что пережито,
И о том, что впереди.

Я уже не видел лица:
Я читал, глаза закрыв.
Бился в зале, словно птица,
Мой порыв, нет, мой надрыв.

Спал давно австрийский город,
Спали дети, старики.
А ко мне вернулся голос,
Всем законам вопреки.

* * *

Асе Векслер

Вот и горы Иудеи,
О которых я мечтал,
Я был пленником идеи:
За и против не считал.

Многогорбые верблюды
Вдоль дорожной полосы.
А в конце – земное чудо:
Город сказочной красы.

Перед ним пасует вечность,
Он у Бога под рукой.
В нем и бунт и человечность,
И тревога и покой…

Позади дорога в город,
Брат привез нас в Тальпиот.
Дел немало будет скоро,
А пока – наоборот.

А пока нам сытно, праздно,
Ездим, смотрим: путь открыт.
Муэдзин орет надсадно –
Это тоже колорит.

А на днях я был в Сохнуте:
Мчался вверх, спускался вниз…
Фимой звался я в галуте,
Здесь я – Хаим, то есть жизнь!

Свидетели чудес

Леониду Юнивергу

Вдруг стало как-то буднично и просто:
Мы превратились все в учеников.
И удалялась с наших душ короста,
Как патина со старых медяков.

Мы впитывали жадно знанья, слухи.
Хотели истин, мудрых и простых.
И даже старики, да и старухи
Старались не отстать от молодых.

Заботы нас еще не осаждали:
Еще не время, так сказать, не срок.
И все-таки мы верили и ждали,
Что нам поможет наш еврейский Бог.

Нам не по книгам чудеса знакомы.
Кто смеет утверждать, что нет чудес?!
Да разве же не чудо, что мы – дома!
Да разве же не чудо, что мы – здесь!

Хамсин

Слов нет, переносить хамсин
Мне все труднее год от года.
В сплин погружается природа,
И с нею я впадаю в сплин.
О, как я чувствую хамсин…

Спасенья нет от духоты,
И, как в горячке, сохнет глотка.
Земля горит, как сковородка,
Что позабыли снять с плиты.
А по ночам орут коты!

Слов нет, хамсин терзает плоть.
И все ж меня не это гложет.
Какое чудо мне поможет
Хамсин в душе перебороть?!

Памяти мамы

Счастье сына – оно тебе снилось,
Как навязчивой песни мотив.
Ты поставленной цели добилась,
Все болезни мои победив.

И в работе ты меры не знала,
Чтобы я не нуждался ни в чем.
Я ни разу не слышал: "Устала".
Я ни разу не слышал: "Потом".

Ты познала страданья, сомненья.
Беды падали льдинами с крыш.
Ты прости мне мои прегрешенья.
Ты простишь мне? Я верю – простишь.

Друзья мои...

Друзья мои, вас нет уже со мной:
Вы в мир иной ушли, увы, до срока.
А мне без вас так в жизни одиноко,
Так холодно без вас и в летний зной!

Теряют люди власть и капитал,
Но нет потери большей, я уверен,
Потери тех, кто предан нам и верен,
Кто с нами веселился и страдал.

В былые дни я устремляю взор,
На шевелюры ваши столь густые.
Без вас дома как будто бы пустые,
Хотя живут в них люди до сих пор.

О, как пьянил он нас – любви угар!
Как не щадили мы свое здоровье,
Усмешкой отвечая на злословье,
Ударом отвечая на удар.

Хоть раскидал нас всемогущий Бог,
Связали нас невидимые нити,
Опорой став в час горестных событий,
Сомнений, колебаний и тревог.

Как горько, что теперь, в конце пути,
Остался я один, как воин в поле…
Без вас счастливым я не буду боле,
Покой души не в силах обрести.

Судьба таланта

Памяти Амедео Модильяни

Не верьте в удачу таланта, не верьте.
И зрелый талант по-мальчишески молод.
Признанье приходит к нему после смерти,
При жизни сомненья приходят и голод.
При жизни томятся холсты в паутине,
При жизни насмешки, наркотики, пьянство.
И лишь, когда жизнь его тело покинет,
Придет восхищенной толпы постоянство.
"Пять франков рисунок, пять франков не боле" –
В ответ только губы презреньем сомкнуты.
А бедное сердце сжималось от боли,
И биться ему оставались минуты.
Подумать – пять франков цена Модильяни,
Тому, чье искусство не знает канонов!
Опомнитесь, люди! Вы слепы иль пьяны?
Пять франков? А, может быть, пять миллионов!
А после его хоронили убого,
Вослед катафалку глазели ажаны*.
Он верил в призванье, как веруют в Бога.
В него же не верил никто, кроме Жанны**.
Не правда ли, как это больно и странно...

---

* Ажаны *(фр.)* – полицейские.
** Жанна – жена поэта.

* * *

Последний день, последний вечер.
"Услышав" сердцем твой ответ,
Я сделал шаг, что так же вечен,
Как вечны небо и рассвет.

Тот шаг нам послужил залогом
Любовных радостей и мук.
Я все, ниспосланное Богом,
Без колебания приму.
И очень верю – в миг свиданья
Начнется с чистого листа
Наш путь. И в трепетном желанье
Сольются души и уста.

Белла Верникова

По причине минимализма

(маленькая поэма)

Пояснительные выражения
объясняют темные мысли.
Козьма Прутков, минималист-классик

I

Автор не ходит в оперу
и балет
по причине минимализма:
нет денег.
Минимализм утешителен,
но не до такой же степени.
Поэтому автор иногда ходит в кино.

В прежние века обнажали шпаги,
в наше время обнажают прием,
чтобы в гламур высокой моды
облечь
обнаженную до предела натуру.
Минимализм утешителен,
но не до такой же степени
(оговорка относится к слову "прием").

II

Минимализм утешителен,
когда поэт Борис Пастернак
в одной строфе, написанной по-русски,
определяет сущность поэзии –
ОБРАЗ МИРА, В СЛОВЕ ЯВЛЕННЫЙ –
и дает метафору окрыленности стиха:
ПРОЩАЙ,
РАЗМАХ КРЫЛА РАСПРАВЛЕННЫЙ,
ПОЛЕТА ВОЛЬНОЕ УПОРСТВО…

когда певец Шломо Арци
в одной строфе на иврите
фиксирует минимализм современных
брачных и внебрачных отношений:
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ
ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЬ И ДАВАТЬ
НЕЛЕГКО, НО ЧТО ЕЩЕ
ЕСТЬ МЕЖДУ НАМИ?

когда минималист-абсурдист,
классик русской литературы
Козьма Прутков
рекомендует: СМОТРИ В КОРЕНЬ.

III

Один из создателей Козьмы – А. К. Толстой
совмещал минимализм максимы
с максимализмом трагедии.
Еврейская традиция минимализма
уходит корнями к скрижалям Завета –
к Откровению, доверенному Моше,
который вывел древних евреев
из древнеегипетского рабства, –
на двух каменных плитах
еврейскими буквами справа налево
высечено слово Божье:
НЕ УБИЙ и другие заповеди,

см. по тексту Торы –
Пятикнижия Моисеева,
в переводе на греческий
помещенного в начало Библии.

Автор не касается китайской, японской
и прочих традиций минимализма
по причине минимализма:
текст краток.

IV

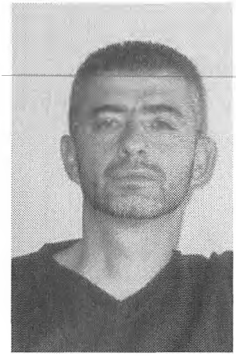
Голливудская звезда конца XX века,
образец чистейшей прелести на экране,
по причине минимализма
сообщила журналистам:
"Я не знала, кто такой Пушкин,
а "Евгения Онегина" прочла после того,
как сыграла Татьяну Ларину.
Потом долго ругала продюсера,
он меня огорчил, сильно сократив роль.
Если бы я прочитала Пушкина раньше,
то потребовала бы переписать сценарий"

Вослед литературе мировой
минимализм утешителен,
но не до такой же степени
(оговорка относится к Пушкину).

Так художник
узнает законченность своего творенья,
следуя интуиции,
облаченной в пушкинскую максиму:
ТЫ ИМ ДОВОЛЕН ЛИ,
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК?

По причине минимализма
автор был краток,
но не до такой же степени.

Иерусалим, 2002



Изяслав Винтерман

"В странную воду глядя... "

"По одной версии, люди
возникли из слез бога Ра".

"Дух Божий носился над водою... "
"Бытие

* * *

Не важно о чем, между строк – о любви и печали,
о жизни смешной, не имеющей смысла вначале,
о смерти, смотрящей как будто в небесные дали,
куда мы должны бы попасть, но еще не попали.

То вязью по стенам, то надписью дикорастущей,
горящим кустом продиктованы, дымною кущей.
И ветром, что с моря, осколками легкого бриза
нашептаны. И по бумаге из хлопка и риса

плывут, как по Нилу и Лете дитя в колыбели,
смотря неизвестно куда (что же там, в самом деле),
в небесные дали, возможно, в небесные дали,
где море любви омывает песчинку печали.

* * *

Родина – это и есть ощущенье дна.
Почвы. Твердыни. Смерти в семейном круге.
Дети сбежали, и засолилась жена.
Снова мечтаю о подвигах, славе, подруге.

Только вчера я б за родину мог умереть.
Только вчера я и умер... Пространственно убыл.
Что там за мною?! – Костер, чтобы вечно гореть,
Кубики льда и покрытые зеленью трубы.

* * *

"Не спи, пастушка, в холодке…"
Склонился путник над тобою.
Скользит травинка по щеке,
щекочет веко голубое.

Сто лет проходят не спеша
и, вместе с тем, в одно мгновенье.
И видно, как твоя душа
колышется от дуновенья.

И слышно, как течет вода,
как солнце падает в овраги,
как ты во сне кричишь: о, да! –
и свет играет в каплях влаги.

* * *

Сяду на край кровати – на ветку птица!
Выслушаю слова, не повысив голос.
Строчка в мозгу, как волос во рту. И в лицах
изобразил, как выплюнул бы я волос.

Гибнут слова, их тысячи в каждой боли.
Та, что на голос внутренний обернулась,
выйти не может из соляной неволи,
шепчет и шепчет: "Господи, я вернулась".

* * *

"Когда пытаюсь произнести:
"Боже правый!"
Получается: "Здравствуй, свет мой,
любезная Аграфена!"

Д. П.

Сыграй нам "К Элизе", да хоть на губе,
станцуем под музыку эту.
Незваные гости бледнеют. К тебе
бегут по цветному паркету.

Свет мой, Аграфена, плесни же воды,
налей из графинчика водки
за грешную жизнь, за пустые труды,
за свыше волшебные нотки.

И как, почему выбирают меня
из тысяч подобных созданий
игрой привередливой ночи и дня
и светлой волною рыданий.

* * *

Я в поезде еду, читаю, в окно
смотрю, оторвавшись от книги.
Дождь реку щипает, бросает зерно,
и листья сбивает, как фиги.

И сиплые листья вдогонку за мной...
Куда им из Тмутаракани.
Закрутит дорога, рассказик смешной,
чаинки в прозрачном стакане.

* * *

Мои герои, как я, – болтливы.
Пиная листья, гуляют в парке.
Деревья тощи, немного кривы,
в них свет теряется яркий-яркий.

А листья утром слетели с петель,
манят удобством прилечь и цветом.
И осень, так чтоб я не заметил, –
слегка прикинулась поздним летом.

Текучесть мысли – дождя похлеще,
но уступает по смыслу – водке,
соединяющей четко вещи
в хаосе, точно героев в лодке.

* * *

Дождем блестящим прольется тьма,
светом корпускул пьяных.
И выхватит улицу и дома.
С прочерком наших данных,
чтобы... Не спрятались мы нигде.
Пусть же проходит мимо...
И лысой певицей луна звезде –
поет: "Соле, соле мио... "
И тащит из памяти по слогам,
по буковкам – имя, даты,
тела незнакомых господ и дам,
проложенных слоем ваты.
Как долго еще их могли хранить
нетронутыми, живыми...
Смешная до боли нас водит нить
скользящими мостовыми.

* * *

Отсутствие цели послужит цели –
впасть в меланхолию на досуге.
И дрейфовать на чужой постели,
точно на льдине. – Ау – подруги!
Духов призвать, подающих кофе,
не испугав их помятой рожей...
Видит ли Господи в перископе:
город, квартиру, диван в прихожей?!

Отсутствие темы послужит теме
старой, забытой, по-своему – пылкой;
форме словесной бессилья в теле,
соединенной душевной пыткой.
А как бы здорово было плавать,
плевать на время, что "грубо, зримо... "
С улыбкой бодрой на три октавы
кричать: "Земля!" – проплывая мимо.

* * *

Спустились сумерки на душу.
Да будет тьма и смерть придет!
Вода опять поглотит сушу,
первичный хаос оживет.

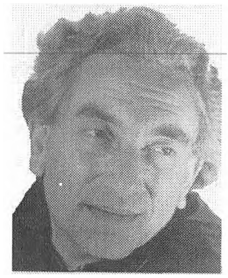
Я отпишусь полнейшей тьмою,
и беспробудным, вечным сном,
или бессонницей немою –
и так понятно: все о нем...

Жаль, обаяние бумаги
не перевесит темноту.
Но пустит, точно кровь бедняге,
тьму разливаться по листу.

* * *

Легкой волной выносит меня на берег.
И подвивает ветер виски прибоя.
Что-то тревожит в этой игре покоя:
слов повторение, волн перед бурей, перед.

Ветром меня ласкает, колышет листья.
Шелест по мне проходит зеленой дрожью.
Ветвь забывает птица, задачу божью,
в странную воду глядя и перья чистя.



Александр Воловик

Прощальное слово о друге

Вильям Баткин

Я смотрел, к неземному готовясь,
Свет небес примеряя с судьбой,
И слова, волновавшие совесть,
Поднимали меня над собой…

В этих четырех строчках словно закодировано и все постигаемое разумом содержание творчества Александра Воловика, и что-то сокрытое, неосознанное. Счастливая особенность его творческой судьбы – совпадение профессии филолога с поэтическим даром. К врожденному и отшлифованному годами владению русским языком высшее образование присоединило безупречность английского, а уже в Израиле он осваивает иврит, и в совершенстве владеет высоким литературным языком предков.

Стихи его, а он автор почти трех десятков книг, – просты, но не рассудочны, ироничны, но без сарказма. Печалью, но не унынием пронизаны строки поэта, вернее, не печалью, а скорбью – безмерной, библейской...

Сегодня, когда остра боль об ушедшем друге, вновь перечитываю его книги, и последнюю, итоговую – «200 стихотворений». Все вместе, словно подобранные камушки в мозаике, они играют всеми оттенками, дополняют красочное полотно мира поэта.

Отдельная глава в творчестве Александра Воловика, неразрывно связанная со всем его литературным трудом – взаимная любовь с ивритом, с ивритской поэзией. Благодаря подвижнической многолетней деятельности Александра Воловика и Рины Левинзон нам оказались доступны в прекрасных русских переводах стихи многих ивритских поэтов – от великого Иегуды Галеви до современных – Иегуды Амихая и Шин Шалома.

Настоящий поэт – пророк, в том числе и собственной судьбы. В одной из его книг обнаружил я такие строки:

Я закончу свой путь без предела –
По душе, по нутру, по плечу.

И оставлю тяжелое тело,
И легко к небесам полечу...
...Я поставлю точную веху
У дороги на пьедестал.
Наконец-то увижу я сверху
Все о чем только снизу мечтал.

Ты прав, Саша! Я уверен, ты все видишь сейчас сверху – и то, что сделал сам, и нашу любовь к тебе! Прощай!

Памяти С. Михоэлса

Ты – лицедей.
Талантливый урод.
В тебе живет ночная перемена –
Растений в птиц,
Недвижности в полет...
Освещена просвистанная сцена.
Течет роса, размазывая грим,
Гремит гроза,
И долго до антракта.
Вполголоса о главном говорим,
И на глаза упала катаракта
Предубеждений, страхов и тревог,

Ночь накатила, заливая сушу,
И человеком трагик изнемог.
Пошли нам Бог
Торжественную душу!

Листопад

И дождь, и пора листопада,
И ты, и любовь… И опять
Мне вдруг показалось – не надо
Осенние песни писать.

Но ты, и пора листопада,
И лист золотой под пятой,
И мокрые ветви из сада
Сквозь сумрак, дождем залитой.

Любовь и пора листопада…
И осень – не время разлук,
А наша с тобою награда
За всё золотое вокруг.

И дождь, и любовь… За стеною
Пора листопада. Смотри:
Вот общее наше с тобою
За всё золотое внутри!

Нежность

Помню пальцы твои –
Десять осенних капель.
По моему лицу
Нежно они стекали.

Синий зрачок звезды –
В ресницах березы,
Ветер схватился рукой
За распахнутый ворот.
Лебеди улетели,
Листья навзничь упали.
Всё текут по лицу моему
Осенние капли.

Маленькая баллада

Рине

Нету таланта и нету талана…
Рано открылась забытая рана,
В окна скребется дождливый рассвет.
Распространяются новости рьяно.
Нет ничего из того, чего нет.

Сгладятся швы, там где раны зашиты.
Как мне оставить тебя без защиты?
Как убедиться, что правда проста?
Как мне поверить, что всё без обмана?

Впрочем, о чем разговор? Неспроста
Есть на странице последней ответ.
Солнце сквозит меж полотен тумана.

Память полна, и душа не пуста.
Рано открылась забытая рана.
Время расставило всё на места.

Шереметьево

Еще низкопоклонство ниц
На таможне не сбило спеси.
Еще на города и веси
Не веет ветер заграниц.
Когда лететь, куда грести?
С кем говорить, и как в горсти
Зажать сердцебиений войско?
Как разум от себя спасти?
Не надо ненависть пасти
На тощей ниве недовольства.
Я знал заране – всё пройдет,
И пограничный идиот
На мне поставит штемпель краткий.
Всё. Я – свободен и могуч.
И солнце брызжет из-за туч
Грибным дождем в мои тетрадки.

Стоило

Стоило ли распахивать
Тяжкой земли пласты?
Стоило ли распахивать
Руки – когда пусты?

Сколько себя ни обхватывай,
Этим объятьям не греть.
Стоило ли после Ахматовой,
Рядом с великими – петь?

Наперекор законам,
Которые не горят,
Стоило ли с суконным –
Соваться в калашный ряд?

Стоило? Может, не стоило…
Стоило, говорят.

Стена

Печален, изгнан, нелюбим,
К Ней прихожу, стеная,
Из адских огненных глубин
И от высот Синая.

Душа волненьем стеснена,
Но сердцу нету сбою –
Передо мной стоит Стена,
Прикрыв меня собою.

Пока не кончен путь земной,
Ошибки повторяя,
Мы все – защищены Стеной
От искушений рая.

Как ветер прохладен..

Как ветер беспечно прохладен,
Как хмуриться небу дано…
Прозрачнее виноградин
Рожденное ими вино.

Знакомое издавна – пресно,
Далекое – реет в зенит,
И всё, что прекрасно, – запретно,
И всё, что запретно, – манит.

И рай, где блаженная снулость
Свидетельством будет тому…
Но женщина улыбнулась
И плод протянула ему.

Давай повидаемся…

И. Амихаю

Боже мой, как надоели
Мне странствия эти, мутящие естество.
Давай повидаемся…
Может, на этой неделе,
А, может, на следующей.
Но не позднее того.

Мы так поистратились на разговоры с другими,
Что, видно, настала пора перестать.
Давай обменяемся байками недорогими.
Сума переполнена, время её опростать.

И родичи правы:
они нам пеняют резонно,
Что хватит уже баламутить соленость морей.
Давай повидаемся
где-нибудь там, на могиле Язона,
На улочке тихой,
в бессмертной столице моей.

Сердце переполнено…

Сердце переполнено, а сума пуста,
И лучи блестят, как мечи.
И льется в разверстые немые уста
Ночной кислород мечты.

Птицы свиристят в гнездовьях лет,
Вещая по своему ВЧ.
И там, где должен быть эполет,
По облаку – на каждом плече.

И надо закрыть глаза и заснуть,
Испытать невесомость тел…
Птицам опять собираться в путь,
А я уже прилетел…

Разрешите…

Разрешите отлучку… И дом – на засов,
Чтоб никто не протиснулся в двери…
Я родился давно, под созвездьем Весов,
И поэтому можете верить.

Это принято так у здоровых мужчин
Ироничного трезвого склада…
Было просто стечение адских причин,
Без которых мне рая не надо.

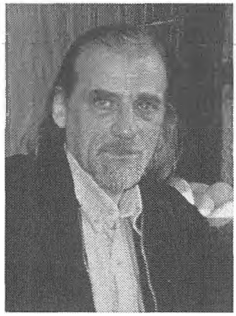
Я почти перестал состязаться с судьбой,
И уже не приемлю пустого.
Отпустите меня на побывку с собой.
Ну, хотя бы под честное слово…

Освободи меня, Боже…

Вел меня без предела
Влечения Млечный Путь…
Освободи меня, Боже, от дела.
Мне тоже пора отдохнуть.

Время мое пролетело,
Прогремело, словно болид…
Освободи меня, Боже, от тела,
Которое так болит.

Не раскаиваясь, не упрекая,
Уйду я в святые края…
Была моя жизнь… Какая
Неважно – была моя.



Ефим Гаммер

Засланцы,
или Тайна последнего "скада"
Главы сатирического романа

Посвящается моему отцу Арону Гаммеру, неистощимо талантливому во всем одесситу 1913 года рождения, перешагнувшему в Израиле в XXI век, – родоначальнику династии музыкантов, литераторов, художников и педагогов.

Пояснительная записка к роману

Самая загадочная история, связанная с войной в Персидском заливе 1991 года, заключается в том, что последний "скад", направленный Саддамом Хусейном в Израиль, был начинен не взрывчатым веществом, а обыкновенным песком. Упал он на дюны Негевской пустыни, не долетев самую малость до нашего ядерного центра в Димоне. Тем самым атомный потенциал Израиля, если он, этот потенциал, имеет быть у нас в наличии, был спасен от уничтожения. И, следовательно, пригодится нам в будущем, если он действительно присутствует в закромах нашей стратегической мысли и тайных бункерах – "ТС-С-С!". Будет чем грозить аллегорическому шведу в надежде на Нобелевскую премию.

Спрашивается, зачем Саддаму понадобилось унавоживать нашу пустыню, в обход таможни, контрабандным песком собственного производства? Казалось бы, задача неразрешимая. Но за ее отгадку взялся Ефим Гаммер, автор поразительных, сбывшихся в срок "Предсказаний пророка Игнатия" и фантастического детектива "Загон обреченных". И перед нами открылась удивительная картина. Картина феноменального по своей сути подвига новых репатриантов из бывшего Советского Союза, которые, благодаря своей совковой изворотливости, недюжинности ума и душевному благородству, выступили против коварных происков Багдадского Воителя и чудесным образом спасли Израиль от неминуемой погибели в химических и радиоактивных миазмах иракской военщины.

В результате писательского расследования родился этот, невероятный по достоверности, совершенно правдивый детектив, который наполнит каждого, кто еще не полон или же полон не до краев, – гордостью и другими крепкими чувствами за олим хадашим ми Русия. За АЛИЮ! Лехаим!

Эфраим Рон,
редактор радио "Голос Израиля" – "РЭКА"

Совершенно секретно! Хранить вечно!!
До прочтения сжечь!!!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

"Весь фактологический материал данного литературного произведения высосан, к нашему сожалению, не из пальца, а из реалий израильской и российской действительности".

ГРАФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

"Писано с юмористическим отступлением от действительности, в пору войны в Персидском заливе, под "скадами", в противогазе – носителе бацилл нервно-паралитического смеха".

Шин-Бет – ФБР – ЦРУ – ГРУ – Скотленд Ярд – Сохнут – Министерство Абсорбции.

1

В полицейское управление – Иерусалим, Русское подворье – вошла миловидная, зеленоглазая, с привлекательной рыжизной женщина. Зона́ Ибрагимовна Иванова.

На проходной у пернатого на вид служащего – ястребиный нос, пегасовы крылышки над залысинами, очки-кроссворды – потребовала конфиденциальной встречи с начальником отдела по борьбе со шпионажем. Полицейский близоруко разглядывал стати заморской кобылки. В шальном воображении представлял себя отважным ковбоем, укротителем своенравной царицы прерий. А что касаемо шпионажа, то пожалте в кино, на вечерний сеанс – культурное сопровождение золотых сержантских нашивок гарантировано.

Пернатый полицейский, в прошлом гуманитатор одесского филфака, прокладывал жизненную стезю в обход незримого фронта. Он боролся, когда не торчал в будке дежурного, с другим сатанинским злом, не менее опасным – с проституцией. Потому и завелись у него кое-какие связи, взаимополезные по форме и содержанию, с массажными кабинетами. И при случайном знакомстве с подходящей по габаритам красулей готов был оказать ей протекцию. Но не предложишь ведь ни с того ни с сего назойливой этой просительнице сутенера в подручные. Ей шпиона подавай. А как же иначе? – не подзаборная девушка, замашки светской львицы московского, почитай, разлива. Да и настырная. Донесение, видите ли, у нее по разоблачению.

Пернатый полицейский отказался без распоряжения свыше выправить непрошеной гостье пропуск во внутренние, полные уголовных и аморальных тайн помещения. Позвонил по вертушке вышестоящему начальству с погонами лейтенанта – Шмулику, своему собутыльнику, а временами и должнику.

– Алло! Алло! На проводе вахта. Ты меня слышишь? Да или нет?

Соединившись со Шмуликом, автоматически переключился на иврит. И осторожность проявил, и полиглотом себя представил: "Майн хер, командир! – упражнялся на базарном эквиваленте языка Соломона Мудрого. – Явилась к нам, в приличное это заведение, одна достойная блядь и курва впридачу! С чертиками в кошачьих глазках. Вчера из твоей мате-

ри-Москвы. И уже шпионов ловит, будто СПИДа ей не хватает. Вызывать неотложку?"

Лейтенант Шмулик шикнул в трубку. Трубка не смолчала, не поперхнулась в горле.

– Понял. Выполню. Что я, тю-тю с потрохами?

Сидя в кресле, по ту сторону провода, Шмулик думал тяжкую думу. Взгляд его скользил по разложенным на столе фотографиям заморских проституток, канающих в Израиль из России. С загсовыми свидетельствами о приобретении дефицитных фамилий – Цукерман и Гастронович, Элцин и Бланк, Каганович и Шикельгрубер. Какая-то светлая мысль сверкнула в Шмуликовой голове. И телепатически передалась пернатому. "Женщину не отпускай", – донеслось до Фони через разряды работающего неподалеку, должно быть в церквушке, радиопередатчика.

– Я ее уже задержал!

– Хвалю за службу, Фоня. А теперь заполни анкету.

– Есть такое дело, майн хер.

Лейтенант Шмулик любил расторопных подчиненных. Еще он любил баб и деньги. А кто их не любит?

– Значит так, – сказал он, подумав тяжкую думу свою. – Выясни подноготную ЭЙДСа... тьфу! дурочки этой, шпиономанки. Имя? Фамилия? Честь... тьфу! Национальность? Партийность – не существенно. Все они сегодня – "не состояли".

– Я-то состоявшийся!

– Имя? Козел! – рявкнул Шмулик.

– Зона́.

– Как душой чувствовал. Вот и говори, что нет интуиции.

– Шмулик! У тебя не интуиция. Бери выше. Шестое чувство! Недоступна штука сия для простых смертных. Божий ты человек, майн хер!

– Молчи! Молчи! – Шмулик поморщился от комплиментов. Комплименты он не любил. Не бабы, не деньги, а пахнет от них – не отмоешься: мадмуазельными нимфетками, разносчицами французской болезни и триппера.

– Фамилия? – спросил Шмулик, справившись с размышлениями на вольную тему.

– Иванова! Отчество – Ибрагимовна! Про честь не спросил. Хрен с ней, с ее честью. А по национальности наша. Хотя кому тут нужна наша национальность?

– Помолчи, балабол необрезанный! – Шмулик был патриот, и не только по должности. – Проведи ко мне... эту блядь... Тьфу на тебя, шлемазл!.. Национальность!.. Черт! Ты меня совсем с ума свел! Эту Зону́!..

– Ибрагимовну?

– Иванову по паспорту, бен-зона Фоня!

– С конвоем?

– Где женщина?

– Уже крехцает в твои пенаты. Я ее отправил с нарочным. Он, этот Гулик, тут нарочно появился, и глазками шлеп-шлеп. Вдоль по питерской ее заднице. Вот я его и отправил к тебе. С ней. Натяни ему глазки на жопу, майн хер. Радивым – польза. Нам маленькое удовольствие, без прибавки к жалованью. А вечером выпьем.

– Если будет на что.

– Шмулик, я угощаю.

Лейтенант довольно хмыкнул.

– Что ж, дареной лошади под хвост не смотрят...

Полицейский Фоня, непризнанный писатель стихов, по кликухе – Непутево-Русский, положил трубку на рычаг аппарата, пододвинул к себе лист писчей бумаги с грифом "Совершенно секретно. Для служебного пользования". "Опять не напечатают", – подумал он. И все равно, стервец, воспарил в сферы. Искусство, помнил из учебника по криминалистике, – сродни пуле: к сердцу прокладывает самый короткий и верный путь.

Вдохновение, эта шаловливая бабенка, ласково ерошила его волосы, морща лоб во славу рифмы, и справа налево, ивритскими буквами усеивало бумагу для служебного пользования русским текстом. Фоня писал стихи...

Нет, я не Пушкин, не Твардовский,
Не Лермонтов, не Маяковский.
Я рядовой поэт страны.
Я цурес видел очень много.
Не шел индрейт, а рвался к Богу.
Сегодня вдруг купил штаны...

Фоня задумался: при чем здесь штаны?

Но выдержал искус и написал-таки следующую строку... Тоже честную и правдивую, словно из протокола свидетельских показаний.

2

Зона́ Ибрагимовна Иванова считалась, и не без оснований, женщиной представительной и красивой. Все было при ней: грудь, разворот плечей, осанка, которую не портила даже желтая коробка от противогаза. О таких Некрасов писал: "Коня на скаку остановит". Понятное дело, и жеребцы в полицейской форме при виде Зоны́ Ибрагимовны останавливались в коридоре на полном скаку. И не мчались уже снимать показания, допрашивать с пристрастием и без оного. Они поворачивали головы вслед ее упитанному задку и сладострастно чмокали воздух, пропахший канцелярскими товарами и едким потом преступников.

Нарочный, он же Гулик Птичкин-Кошкин, властно оттеснял загипнотизированных товарищей по оружию, брит-миле и бар-мицве ближе к стене, покрытой масляной краской неизвестной расцветки. Рукой он демонстрировал спутнице, прибегая всем телом к галантности, правильное направление в искомый кабинет. Галантности было у Гулика хоть отбавляй. Тела с недомером, как у главы правительства Шамира. Однако неурядицу с ростом перевешивало внутреннее уважение к полученному заданию: сопроводить в целости и сохранности! и без щипков в задницу со стороны несознательных элементов!

Какие щипки? Полицейские немели от зависти к Гулику. От его галантности и шарма. От изысканных манер ручкой, указывающей направление.

Наблюдая за Гуликом, старшина Лапидарис (усики, животик, мятые брюки) делился у окна внезапно возникшими мыслями с майором Достоевским (кипа, цицот, офицерская выправка).

– Объясни, за этими выкрутасами мы посылали Гулика на переподготовку во Францию? Европа! Все у них новшества! Сначала – отменяй гильотину. Потом ухаживай за арестант-

кой, как за невестой. А дальше? Дальше что, спрашиваю? Жениться на них?

– Их вейс? – майор Достоевский пожал плечами. Его мало интересовала некошерная страна Франция вместе с ее развратным Парижем. Гораздо больше интересовало его заковыристое несовпадение в имени, фамилии и отчестве Зоны́ Ибрагимовны Ивановой.

Догадываюсь, приученный к детективному жанру читатель подловит меня на авторской неточности: не успела красивая женщина пройтись от проходной до КПЗ, как сотрудники полицейского управления уже осведомлены о всех ее отличительных особенностях.

Авторской небрежности, тем более своеволия, в данной прозе жизни не присутствует. Поясняю. Земля слухами кормится. Поэтому, в полном соответствии с вышеназванной аксиомой, держат на проходной в образе и подобии Неслуха высококвалифицированного Слухача, разносчика новостей и созвучных им предположений.

Интерес майора Достоевского к личности Зоны́ Ибрагимовны Ивановой был не его интимной прихотью. Точно такой же интерес к этой забавной личности питал бы любой другой еврей без исключения. Нарочный, он же сопровожатый Гулик Птичкин-Кошкин, ни в коем случае не считал себя исключением. Он тоже был от природы отмечен недюжинным любопытством. Поэтому использовал случай и, укрываясь за галантными манерами, самым наглым способом выпытывал из Зоны́ Ибрагимовны ее подноготную.

Подноготная оказалась прелестной вещицей, но отнюдь не таила в себе ни кремлевских тайн, ни новых проявлений загадочной русской души.

Все выглядело очень просто и доходчиво, как центурии Нострадамуса под пером доморощенного истолкователя кодированных текстов. Начнем с имени. Зоно́й эту миловидную женщину нарекли в Москве, когда она, по совету мужа, подполковника КГБ, бросилась в еврейское освободительное движение и вся погрязла в изучении иврита. Преподаватель Зоны́ сам мало петрил в языке предков. Знал его с перебоями, как и положено сердечнику из тюремного инкубатора. Между

отсидками он смотрел по подпольному видику израильские кинофильмы, известные для учредителей Оскара тем, что на каждый квадратный метр экрана в них напичкано по пятку раздевающихся красоток. По этим картинам преподаватель осваивал разговорный иврит. По ним и допетрил психолог-сексолог, слогом Соломона Мудрого озвученный, что самое популярное в Израиле женское имя – Зона́. Войдем в его положение: что ни кадр – бабенка! что ни бабенка – Зона́! Ну и наделил этим именем – мода такая была на исконные еврейские имена – гражданку Иванову, прежде – Зою.

Вот и вся история с именем.

Перейдем к отчеству.

Отчество Зона приобрела с рождения. В Ташкенте. В городе, где якобы воевали евреи до поголовного переезда в Израиль, поближе к вражеским окопам. Все бы им воевать, как неуемному отцу Зоны Ибрагимовны, на гражданке – кларнетисту-клейзмеру, на фронте – старшему сержанту, командиру разведотделения гвардейского полка. Как его звали? Наивный вопрос. Приличное имя было у человека – Абрам. Под этим именем он ходил в атаку от Москвы до Минска, потом и за границей без выправления визы, пока не потерял ногу при штурме Рейхстага. "Догулялся!" – шутили, чокаясь, однополчане, обмывая в медсанбате последний его орден. И еще шутили, что ногу его в прогорклой портянке закопали в одной яме с оскаленным черепом Гитлера. Пусть нюхает на том свете, чем пахнет окончательное решение еврейского вопроса.

Из Берлина Абрам Черноссыльский выехал гвардии старшим сержантом. В Ташкент, к жене своей Саре, приехал мужем законным, жданным и любым. В военкомате, при обмене военного билета на паспорт, ощутил себя вновь клейзмером. Выдали ему паспорт на имя Ибрагим. (Наверное, так было удобнее для зачинателей узбекской военной статистики.)

Итак, на очереди фамилия. Иванова...

И тут забот никаких.

Какой нормальный человек не слышал марша Мендельсона? Какой нормальный человек не ходил в ЗАГС хоть раз в жизни? А два? А три? Пора выучить назубок: после прослушивания красивой музыки Мендельсона женщине делают ма-

ленькую бескровную операцию. Прямо на письменном столе. Переписывают ее фамилию по мужу. Чаще на русский лад. Реже... Впрочем, в текущем десятилетии эта тенденция в России изменилась. А почему бы и нет? Вспомните об упомянутой уже в нашей прозе израильской жизни загадочной русской душе. Если раньше она, вопреки законам природы, поворачивала реки вспять, толкала малообразованную в области физики Жучку в космос, воспринимала Лазаря Моисеевича Кагановича как верного сына украинского народа, а товарища Сталина за его отца, то почему бы ей не попытать счастья и в еврейском обличии. Еврейская душа не менее загадочна. Какую уже тысячу лет вгоняют ее в землю, подпирают ею пирамиды, топят в воде, гноят в концлагерных бараках. А она жива-живехонька, загадочная эта еврейская душа, вечная как аидише моме.

3

Шмулик был Шмулик, и этим все сказано. Прибавить нечего, разве что репатриировался из Москвы. Правда, в возрасте маловразумительном. Потому и сохранил в памяти не пророческие высказывания Князя-Основателя о граде сияющем, а только дворовое, болезненно осязаемое – "мы тебе покажем Москву за уши!"

В начале семидесятых родители вывезли его из столицы-матери на израильский солнцепек. И как были – в дубленках и ушанках – кинулись в мутные воды абсорбции, которые их успешно и поглотили. Отец – великий специалист по вечной мерзлоте, – благодаря научной степени, добился права ремонтировать холодильники. Права он добился, но рабочих рук не приобрел. Посему приставили к нему двух помощников. Они и крутили гайки, запаивали медные трубки. А он ораторствовал у морозильной камеры о преимуществах высшего образования, способствующего превращению снега в пар, пара в воду, а воды в лед.

Не выдержали мужики. "Уберите его куда подальше!" И убрали, в отдел по исследованию перманентных колебаний в холодной войне между СССР и США. В институт советологии.

Мать Шмулика, до выпадения в отказ, работала в МУРе. Подсадной уткой. Однажды ее подложили, будто мину замедленного действия, на больничную койку. В родилку. Якобы на аборт. Аборт ей таки сделали: очень уж натурально она вошла в сценический образ, прибегнув к системе Станиславского и забеременев перед выполнением задания.

В чем же состояло задание? Задание состояло в следующем: разоблачить преступные намерения отъезжантки Розы Исаковны Баренбойн по вывозу золотого запаса России за рубежи родины слонов и Тунгусского метеорита.

Гражданка Баренбойн находилась на девятом месяце. По предположениям гинеколога у нее намечалась двойня. По подозрению МУРа никакой двойней у нее там и не пахло. Просто к развивающемуся младенцу она исхитрилась привязать пуповиной слиток золота – точную копию ребенка, рентгеном не отличишь.

Основанием для подозрений послужила неосторожная фраза Розы Исаковны. Отдавая партийный билет первому секретарю орденоносного комбината "Лензолото", она с вызовом погладила свой, несоразмерный с личными ее соцобязательствами живот. "А вот Это, золотко мое, вы у меня не отберете! Мое золотко – для Израиля!" Тут ей и подстроили во чреве преждевременную подвижку плода. Затем укатали Сивку-Бурку в родилку и стали готовить рапорт товарищу Брежневу о добыче на Бодайбинских приисках рекордного по величине самородка. Правда, с этим самородком выходила незадача. Он прибавлял в весе.

Шмуликова мама подкатывала к Розе Исаковне с наводящими вопросами. А та смотрела на МУРовскую женщину, как на больную неизлечимой девственностью: будто не сперматозоид в ней развился до уровня экстренного операционного вмешательства. Словом, мама провалила ответственное задание. А после брит-милы и рапорт о небывалом самородке пришлось сжечь: обрезанная плоть, тайно взятая на экспертизу, явно намекнула научным сотрудникам в погонах – хер вам, а не золото!

Конфуз? Конфуз! Однако он имел добрые последствия. И для всего еврейского кагала Советского Союза, и для Шмуликовой мамы – персонально.

На экстренном заседании Политбюро было постановлено: решительно свернуть муссирование затейливых слухов о вывозе в Израиль драгоценностей, упрятанных в кишечник кремированной тещи артистом т. Аркадием Райкиным. И еврейский кагал за всю историю взаимоубойных постановлениий вздохнул с облегчением. А затем, облегчившись, рванул налегке, и драгоценности вывозил в бигуди или в куклах.

Шмуликова мама драгоценностей не имела. Все ее достояние – честно исполняемый долг перед социалистической отчизной... и самоотверженный бросок в гинекологическое кресло. Упоминание об этом кресле трансформировалось в мозгах израильских чиновников от абсорбции как определенный медицинский опыт. И – вот тебе, душечка, направление на курсы акушерок, а о чаевых сама позаботишься.

Резюме. Нет сомнений, родители Шмулика вполне обустроились на исторической родине и поэтому могли отдать себя без остатка правильному воспитанию своего отпрыска. Из безразмерного страха перед антисемитизмом они выкроили в Израиле, для частного употребления, страх перед русофобией. Вытравить неистребимый акцент оказалось превыше их сил, и они последовали примеру великих сионистов мира сего – укоротили кончик фамилии. Стали из Дарвиновичей Дарвинами. Удобно в употреблении и попахивает на первый, непрофессиональный взгляд вполне вероятной протекцией.

Под фамилией этой Шмулик поступил в Еврейский университет Иерусалима, получив стипендию Министерства абсорбции и отсрочку от армии. Уже тогда, учась на юридическом, он усвоил одну непреложную истину: в Израиле при ловле шпионов необходимо располагать долей одесского, с дореволюционным знаком качества, юмора. Иначе папу на маме поймаешь, православного дедушку в известной КГБэшной церквушке, тетушку Хайку в иностранном посольстве при подписании документов о неразглашении секретов ее нержавеющей девственности, а себя самого, необрезанного, в туалете, под смех и колючие замечания одноклассников. "Эх и Дарвин! Ну и эволюция животного мира! Шасть от писсуара! Бананы на дереве".

Университетская жизнь провела со Шмуликом коварный эксперимент, и он надежно усвоил эту непреложную истину. Было так...

В студенческой кафеюшке, за чашечкой ароматного шоколада, завел он разговор с сокурсником, читающим в подлиннике Гоголя. С неприятием тыча пальцем в картинку на развороте книги, где Тарас Бульба убивает сына Андрия, Шмулик выговаривал малознакомому студенту за недостойное еврея пристрастие к антисемитским писаниям.

– Ты бы еще в Еврейский университет приволок "Протоколы сионских мудрецов".

Тарас Бульба, убивающий на картинке собственного сына, покраснел от слов нечестивого потомка Янкеля. Отвлекся от занятия, спровоцировавшего его на бессмертие, и готов был рвануть в сабельную рубку. Но студент, недавний сержант из бригады "Голани", с солдатской решительностью захлопнул книгу, прищемив, непреднамеренно конечно, ус пузатому задире.

– Что тебе не нравится в русской литературе? – спросил он Шмулика, отхлебывая из высокого бокала орденоносное пиво "Маккаби".

– То не нравится, что она не еврейская.

– А Жаботинский? А Бабель?

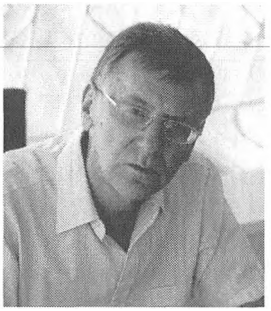
– Галут! Да и фамилии выбрали под русских, лишь бы печататься. Жаба – тина – ски. Ски! – будто заодно и хоккеист. А Бабель? Словно нарочно придумано для фельдфебельского смеха Буденного.

– Ты думаешь, у нас тут с фамилиями лучше? Моя, например, Достоевский...

– Но ты ведь, надеюсь, не писатель?

– Из-за фамилии – не писатель. Мне без псевдонима никак. А псевдонимов тут! Вот бы поломали головы сталинские ищейки над их разоблачением. – И смеясь, бывший сержант бригады "Голани" положил перед Шмуликом на стол толстый журнал. – Посмотри!

Сначала Шмулик покрылся испариной. Потом оборзел от озноба. Нераскрытые псевдонимы пялились на него с журнальных страниц, делали шмайс и показывали рожки. В какой-то момент ему показалось, что он попал в мир "Капричос" Гойи. Сон разума стал и в нем порождать чудовищ.



Игаль Городецкий

Осенний диалог за чашкой чая

– Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Аня, если не ошибаюсь? Очень приятно. Жаль, что вы не позвонили перед тем, как...

– Нет, нет, Шимон должен был вернуться именно к этому часу, как видно, что-то задержало. Армия, сами понимаете. Он позвонил, я перезвонил вам, но вы уже выехали... Действительно жаль, но есть надежда, что его все же отпустят... Я думаю, стоит подождать звонка...

– Так он сказал.

– Нет, я очень хочу, чтобы вы дождались его, я думаю... я почти уверен, что ему все же удастся вырваться. А если вы уедете... Кто знает, когда его отпустят в следующий раз? Обстановка в Ливане... А мы с вами посидим по-холостяцки – жена уехала к родственникам в Россию, но перед отъездом наготовила на полк солдат. Чайку попьем, хорошего чайку, "Липтон" называется, это вам не "Высоцкий"; дернем по рюмочке – я вижу, что вы замерзли. Погода, знаете, не...

– Что? Не надо рюмочки? Только чаю? Прекрасно, но несколько странно слышать это от девушки, только год назад уе-

хавшей из Союза, или как там его теперь называть. То есть я хочу сказать, что если бы вы были сабра... саброй... Уф, заболтался. Неважно, не обращайте внимания, я просто глупо пошутил.

– Садитесь. Я сию минуту. Включите телевизор или стерео, если хотите.

– Вот, это малая толика того, что наготовила мама Шимона. Сейчас же принимайтесь за дело. И вы как хотите, а я немножко тяпну. М-мм... И немедленно эту штучку... Холодными закусками оперируют только недорезанные буржуи? Ха-ха. Ничего, такими холодными закусками не стыдно оперировать и аристократии. Духа.

– Анечка, извините старого хрена за дурацкую болтовню. Я по вашим глазам вижу, что вы понимаете мое смущение. Передо мной сидит очень красивая и очень молодая девушка, подруга моего сына... Я старше вас, наверное, в два с половиной раза...

– Ну, не уточняйте. Так интереснее. Вы думаете, мне часто приходится беседовать с такими девушками, как вы?

– В университете? Ну, там совсем другое. Там я – официальное лицо. Наставник заблудших. И давайте перейдем к более интересной теме. Поговорим о вас, а еще лучше – о нем, о моем сыне.

– Вы очень скрытная, я это сразу заметил, но не надо делать вид, что эта тема вас совсем не интересует. О чем же нам еще говорить, как не о нем?

– Боялись экзамена? Какого экзамена? Вы принимаете меня за идиота? Неужели вы думаете, что если мне не понравитесь, я сумею отговорить Шимона? Что я ему скажу? "Не бери себе в жены из дочерей аскалонских..." Да он пошлет папочку знаете куда? Кто был способен отговорить меня в его возрасте? Ну несколько старше... К тому же, Анечка, должен сказать как сионист коммунисту, со всей перестроечной гласностью, что вы мне уже понравились, – у вас прямой взгляд, умное лицо, которое... Вы умеете слушать, не торопитесь с выводами. Вы терпеливы, спокойны, ироничны.

– Именно так. Мне лучше знать. Что касается других качеств, необходимых супруге, то пусть моя жена судит. Знаете, у меня есть один приятель – старый холостяк; он так проверя-

ет пригодность своих знакомых дам к совместной жизни: приглашает к себе, усаживает за стол, а потом просит вымыть стаканы и смотрит на свет...

– Ха-ха-ха... Нет, Аня, я этого делать не стану. Корову... ха-ха-ха...

– Нет, Шимону, сами понимаете, в голову не придет. Хотя, должен вам сказать, э... неаккуратность в быту может потом сильно...

– Да, да, конечно, умница, для людей определенного склада. Все сейчас увлекаются астрологией. Я, кстати, Козерог, и если бы моя жена была грязнулей, это сильно бы отравило... А пока что мы оба страдаем от врожденного "бардакизма" нашего сыночка, до ста двадцати ему, как и вам. Но это, может, пройдет... Сам такой был лет до шестнадцати. А потом – как отрезало. Стал большой аккуратист, аж самому противно.

– Нет не говорите, какой у вас знак. Я хочу сам...

– Знаете что? Я вам скажу это сразу, хотя мне еще не ясно, насколько у вас серьезно. Мне кажется, мой сын – хороший парень. В целом. В общем и целом. Я хочу, чтобы вы знали. Я люблю его, хотя порой готов убить. Ну... нельзя это коротко объяснить. Меня очень смущает, что он еще так юн, я сам женился молодым, но все же не таким, как он...

– Извините, Аня, я понимаю, что еще ничего не решено. Просто это ясно, как день. Если люди незрелы, жизнь может быть искалечена.

– Да, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда... Все замечательно. Крепка, как смерть, любовь... "Литература и жизнь".

– Ничего, журнал такой был. Литература – сама по себе, а жизнь...

– Нет, упаси Бог! Я вовсе не собираюсь дразнить вас. Мне стыдно, Аня, я не должен был. Вы слишком умны. Конечно, все ужасно сложно. "А если это любовь?"

– Неважно. Фильм такой был. Про школьников. Вы не могли его видеть. По молодости лет.

– Трахались? Однако... Нет, такого тогда не могли показать, хотя, наверное, подразумевалось, я уже сейчас не помню. Да и какое это имеет...

– Да, да, было бы ужасно пройти мимо настоящего. Но как узнать?

– Еще чашечку?

– Нет, я не беспокоюсь, поймите, мы уже достаточно давно в стране, я сам здесь служил в армии, это все нормально. Обещали отпустить, а потом кто-то заболел, кого-то посадили на губу – бывает. И ни в коем случае не уходите. Если он все же не приедет, я сам вас отвезу домой. Думаете, мне часто приходится пить чай с такими девушками, как вы? Поймите, Аня, я веду очень замкнутую жизнь. Только сейчас, поговорив с вами, я понял, как мне не хватает женского общества.

– Жена? А при чем здесь жена? Я ведь имею в виду... Женское общество необходимо и мальчикам, и юношам, и женатым мужчинам. Да, да. Иначе они...

– Нет, вовсе нет, и не это я имел в виду. Вы знаете...

– Точно, и мужское общество необходимо. Иначе они...

– Как вы сказали? Гениально! Это надо записать. Боже мой, неужели вам только девятнадцать лет? Ну двадцать...

– Да, об этом я не подумал. Ему только восемнадцать, ну уже почти девятнадцать. Не страшно. Разница небольшая, и если люди... даже потом не скажется.

– Когда потом? Лет эдак в сорок пять, когда мужчины начинают беситься и бросаться на таких девочек, как вы...

– Правильно. Но я поражаюсь другому – как он попал в самое яблочко?

– Я хочу сказать, что при отсутствии опыта он мог бы страшно проколоться.

– Я имею в виду... Да, даже внешность.

– Ладно, Аня, вы же прекрасно понимаете, что мне приятно, что я горжусь его выбором. Поверните немного голову к свету, вот так. Да, здорово. Наверное, у вас никогда не бывало прыщиков на лице?

– А вы вообще другие. Скажем, я в свои восемнадцать лет ничего не видел в девушке, кроме лица. Или даже глаз. А мужчина с опытом – он куда смотрит?

– Ну, без грубостей, Анечка, это вам не идет. Мужчина смотрит сначала на ноги, а потом на все остальное.

– Точно. Мне, старому бабнику, вовсе не нужно, простите Анечка, раздевать женщину, чтобы увидеть ее голой. Пусть она хоть в тулупе будет и в валенках, но я сразу вижу, как она сложена.

– Нет, Аня, мы не будем больше, как говорили в старину, муссировать эту тему. Я верю, верю, верю, что и вы это умеете.

– Нет не надо. Пожалуйста. Я уже жалею, что...

– Именно поэтому я говорю с вами как с равной. Но все-таки, Анечка, немного уважения к будущему тестю. Или зятю, как там, черт, он называется.

– Ха-ха-ха...

– Сухое вино? Конечно, есть. Сейчас принесу. Холодненькое. И рюмки.

– Ну, за вас, дети мои!

– Хорошо? И пожалуйста, ешьте, разве вам нужно думать о диете?

– Сигарету?

– И правильно.

– Вот интересно, Аня, казалось бы, между мной и вами, между вашим и моим поколением не должно быть почти никакого разрыва. Не то, что между поколением моих родителей и мной, моим поколением. Про дедов я и не говорю. Там разрыв был огромен. Пропасть. Прогресс – регресс. Не об этом речь. Они были людьми доэлектронного века. Они не знали не только Си-эн-эн, но и Би-би-си и "Голоса Америки". Мы – дети Уилиса Кановера и Анатолия Максимовича Гольдберга.

– Неважно. Важно, что вы не должны мне объяснять, что такое, ну, например...

– Да, да. Музыка "Битлз" – музыка моего, ну, скажем, отрочества. И поэтому... Вы знаете, мои друзья были джазоманами, они тогда с презрением отнеслись к ливерпульской четверке. И я горжусь, что еще тогда, в шестьдесят третьем, когда первые диски и записи дошли до нас, я сказал: "Ребята, попомните мое слово, их песни будут слушать и через пятьдесят лет".

– Здорово? Ну вот, разве мы не говорим с вами на одном языке? Да и моды моей юности возвращаются – широкие штаны, платформы, длинные волосы...

– Ну, изменился жаргон. Так что вы хотите, я одиннадцать лет там не был. Но духовно, духовно должна быть какая-то близость? Мы ненавидели тот строй, вы выросли на его развалинах. Вы были в пионерах, не знаю, как насчет комсомола...

– Да? Так тем более, вам почти не нужно было лгать, то есть я хочу сказать... В конце концов, вы первое поколение свободной России.

– Что вы сказали, Аня? Идеалы свободной России тысячу девятьсот девяностого года – рэкетир и валютная проститутка?

– А вы не преувеличиваете, девочка? Вот вы сидите передо мной...

– Родители увезли от греха?

– Не очень я в это верю. Хотя... Вы знаете, что я работаю в университете. Вот уже семь или восемь лет. До вашей алии я почти не видел "русских" в наших стенах. Ни слова русского, ни русского лица... А если и видел, то они совершенно не выделялись на фоне других. Сейчас же у меня такое чувство, что я не уезжал из России. Отовсюду слышна русская речь – и какая речь: мат-перемат, пошлые, глупые, какие-то тоскливые разговоры. Они собираются группками – по десять-пятнадцать человек – и балдеют, так, кажется, это называется, Аня?

– Вы знаете, что было написано на стенах университетских туалетов, когда я туда – в университет, а не в туалеты – пришел работать?

– Ха-ха-ха... Смешно, но далеко от истины. Кстати, меня всегда ужасно интриговало, что пишут на стенах женских туалетов.

– Какая прелесть! Ведь на этом можно диссертацию защитить. Так вот, там писали, например: "Убей араба!" (Зачеркнуто и написано: "Убей еврея!") Или: "Сионизм = фашизм". Ну в крайнем случае: "Fuck you!" А один раз я прочел прелестное стихотворное послание Л. И. Брежневу, который "предал наших парней в Анголе". А сейчас? Ну как будто зашел в вокзальный сортир где-то в Воронеже лет двадцать назад. И все автоматы мороженого и кока-колы поломаны...

– Ну, пойдете на подготовительные курсы – сами увидите.

– Честное слово, израильские студенты обходят эти группки с опаской.

– Нет, Аня, мы были другими. Конечно, трезвенниками мы не были и девочек не сторонились. И гитары, и песни, но не такие бессмысленные... Чем-то подлинным, настоящим была наполнена наша жизнь. Несмотря на...

– Так мне кажется.

– Ну и что? Ведь этим ребятам надо овладеть языком, войти в новое общество... Знаете что, я понял, главное, у них нет любопытства, это поразительно, у них нет никакого любопытства к совершенно новой жизни. Послушайте, после окончания школы я устроился на работу, связанную с постоянными командировками, – специально, чтобы поездить по стране. Ну как у нас здесь, после армии, ребята обязательно уезжают за границу. Мир посмотреть. А я попал в Крым, в один довольно тухлый городок. Вы не представляете себе, Анечка, какое огромное волнение я испытывал, поворачивая в любой переулок: а что откроется там? Когда в конце узкой улочки, за пыльными заборами мелькала синева – море, небо, – у меня сердце сжималось. И так было в любой поездке. Потом прошло к сожалению.

– Верю вам, понимаю... Но скажите, Аня, во что вы играли в детстве?

– Ха-ха-ха... Здорово. Ну, это естественное проявление нормального интереса к другому полу. Но я не о том. Мы, например, играли в войну. И не просто бегали с палками, а разрабатывали сценарий, распределяли роли, создавали сценическое пространство. Отдельно для гражданской войны, отдельно для Отечественной. Мы презирали покупные игрушки – они не оставляли места для воображения, мы делали ружья и пистолеты сами. У нас было тайное общество на чердаке, мы вели сражения и заключали перемирия, умели дружить и, страшно сказать, – драться. А мой сын с девяти лет подружился с компьютером. И по-моему, подключен к нему до сих пор. Как он еще вас разглядел?

– Ха-ха... Узнаю своего сыночка.

– Вы совсем ничего не едите, так не годится.

– Я? Ну мне это уже не слишком полезно. Я лучше покурю, с вашего разрешения.

– Аня, я должен вам задать один вопрос. Только, ради Бога, поймите меня правильно. Я просто хочу знать – вот и все,

это никак не отразится... В любом случае. Я чувствую, вы понимаете, куда я клоню. Ваше лицо...

– Да, Анечка, вы правильно по... Alimine...

– Отец? То есть вы не еврейка, согласно религии, по Галахе. Вы уже знаете это слово?

– Нет, ничего не меняет. Поймите, Аня, я – последний человек, который может хоть как-то... В моей жизни было немало русских женщин, да кто спрашивал? Хотя... Знаете, Аня, глядя в ваши глаза, я почему-то не смею уклоняться, что-то замолчать. Почему-то вы побуждаете меня говорить правду, правду и только правду. Ваши глаза... они мне напоминают... Когда мы были молоды, простите за этот назойливый припев, перепев, у нас была небольшая компания. В нее входили и русские ребята, и евреи. Один армянин. Но евреев было все же большинство. Мы дружили с девушками. Еврейки среди них, насколько я помню, практически отсутствовали. Я был влюблен в одну очень милую девушку, ее мать была русской, отец – татарин. А женился я почему-то на еврейке. И другие – тоже. Даже армянин, ха-ха... Почему это?

– Да, да, точно. Грешили с гойками, а женились на еврейках. Оскверняли, так сказать, ариек, а для брака святого подавай дщерь иудейскую. Одно слово – жиды-с...

– Аня, это я должен у вас просить прощения... Пригласил выпить чашку чаю и устроил...

– Нет, я так не считаю. А если и считаю, то что с того? Меня гораздо больше беспокоит, что мой сын не дозрел до брака.

– Именно. Не дозрел.

– Я его не знаю? Вполне возможно. Более того, в его возрасте и даже старше, в вашем возрасте, я был в какой-то мере еще более инфантильным.

– Не в этом смысле. Вы опять... Знаете, глядя на вас, я вспомнил одну историю. Я должен был рассказать ее сыну, но не...

– Почему? Не сумел бы. Но вам очень хочу рассказать. Это история о том, как мальчик в одну ночь стал мужчиной.

– Нет, Аня, вовсе не об этом, кому это, к черту, интересно. Нет, Анечка, не в физиологическом смысле, а в духовном,

может, в нравственном... Только сначала я уберу со стола и поставлю...

– Нет, нет, шутка со стаканом, то есть о стакане – тьфу, дьявол! – так и останется шуткой. Вы – гостья, почетная гостья.

– Вот и кофе. Вам без сахара? Хотите коньяк? Нет? А я приму немножко.

– Вовсе не поздно. Я же обещал вас отвезти.

– Вы позволите? Так вот. Проработав два года в геологических партиях и всяких других экспедициях, я вернулся в Москву и устроился в тихое, спокойное место, чтобы готовиться к поступлению в университет. Контора эта называлась Институтом биологии, или биосинтеза, или био-чего-то – не помню сейчас. Взяли меня лаборантом. Мне там понравилось. Жили мы весело. Сева, Боря, я и наш начальник Юлий Николаевич, которого мы звали просто Юлик, потому что ребята все были молодые, чуть старше меня. Прежде всего, у нас был спирт. Кроме того – подопытные животные...

– Ха-ха-ха... Нет, были еще и кролики. И электроплитка. И много, много здоровья. А расположены мы были далеко от глаз начальства – в подвале. Там был установлен электронный микроскоп. Остальное понятно? Выпив и хорошо закусив на казенный счет, мы любили пошутить. Например, в день Первого мая на фасаде института появилась огромная картонная колбаса, которую мы с Борей сперли из местного "Гастронома". Вообще же, Боря любил более изящные шутки. Однажды в кабинет замдиректора по хозчасти залетела канарейка. Тот велел нашему дворнику поймать ее и посадить в клетку. Через некоторое время мы вчетвером сочинили письмо якобы от хозяина канарейки, где писали о том, что она очень ценная, победительница конкурса канареек в Австралии, народное достояние и чуть ли не лауреат Государственной премии. Требовали, естественно, вернуть птичку и грозили страшными карами. Наш тупой отставник сначала всем показывал это письмо и говорил, что в гробу всех видал и за можай любого загонит. Потом испугался и попытался связаться с "хозяином" канарейки. Ну уж мы поморочили ему яй... голову, приплели КГБ, ФБР, сионистов и прочая. Над нашим завхозом потешался весь институт. В конце кон-

цов нас вызвали к директору, который догадывался, чьи это шуточки. Мы, естественно, все отрицали...

– Да, Анечка, мы жили насыщенно.

– Не надо завидовать. Знаете, мне только сейчас пришло в голову, что все это могло плохо кончиться. Оказаться за решеткой было очень просто. Одно только вывешивание колбасы можно было так квалифицировать! Ну, Бог спас.

– Простите, Аня, я увлекся. Да, да об этом. Однажды мы, как обычно в конце недели, прихватив спиртик и свеженького кролика, у которого вынули печенки для какого-то опыта, поехали ко мне – единственному обладателю отдельной жилплощади: у меня была комната в коммуналке на Арбате, которую мне оставила моя мудрая мама после переезда в кооператив. Все было как обычно, но на этот раз Боря обещал девочек.

– Ну я так и знал, что ты это скажешь... Да, да.

– Да, девочек ждали с нетерпением, особенно женатый Юлик.

– Боря появился с большим опозданием и, увы, только с одной дамой. Была она небольшого роста, худенькой, зеленоглазой, русоволосой, с простонародными веснушками на носу. Мне, юному кобелю, не умевшему определить возраст женщины, она показалась очень взрослой. На самом деле ей, я думаю, и девятнадцати не исполнилось.

– Нет, Аня, этого я не помню. Не торопитесь, все по порядку.

– Сначала я налью тебе...

– Хорошо, хорошо... Итак, одна дама на четверых. Как, ты думаешь, развивались события дальше?

– Ха-ха-ха! Отличная хохма. Соленая шутка из милых девичьих уст. А знаешь, у нас, наверное, не получилось бы – и не в силу нашей интеллигентности, а трусости. Мы бы струсили. Или постеснялись. Что одно и то же.

– А если без шуток, то что было дальше?

– Умница. Точно так. Мы же благородные рыцари. Посему девицу присудили хозяину дома.

– Верно. Еще более благородный хозяин предложил оставить даму в покое и провести приятный вечерок в непринужденной дружеской беседе...

– Умница, какая ты умница. Именно. Теперь все зависело от нее. А она оказалась доброй девочкой. Доброй и совсем не глупой. Она тоже поняла, уловила чутьем, ведь об этом за столом не было сказано ни слова. Она обратила свой благосклонный взор на меня не потому, что я ей особо понравился...

– Правда. В этом все дело. Добрая душа. И это, плюс это...

– Что? Аня, посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь ее глаза... Еще, пожалуй, эта линия... И волосы, насколько я помню. Она стягивала свои недлинные волосы двумя аптечными резинками. Получались два смешных хвостика.

– Ну, она занялась столом, а мы в это время обсуждали...

– Нет, не так. Она сидела на диване, между Юликом и Севой, а я напротив – на стуле. И вдруг она вытянула ноги и непринужденно так положила их мне на колени – свои теплые ножки в скользких нейлоновых чулочках.

– Что? Ноги у нее были красивые, но пальцы испорчены грубой и корявой обувью – бедность, знаете, наша. Она посмотрела на меня в упор, как бы спрашивая: "Ты все понял?" Как ни был я туп, я понял и постарался послать ей свой ответ: "Понял и очень рад. Именно этого и хочу". Тогда она улыбнулась и быстро пересела ко мне на колени. Ну и все. Ребята засобирались домой. Она опустила свои темные ресницы, поерзала у меня на коленях, вздохнула и спрыгнула на пол. Я вяло уговаривал друзей остаться, но трубы победы пели в душе. Или в животе.

– Знаешь, не только это. Во мне клокотала такая жадность к жизни! Скорее, скорее испробовать и познать все, все, что только можно, ни от чего не отворачиваться, ничего не бояться, ничего не отвергать...

– Дальше? Наверное, помыли посуду.

– Соседи? А я на них плевал. Они у меня были дрессированные – одни женщины. А я – хучь и жид и интеллихент, – а все же мужик.

– Дальше? Ну танцевали, ну обнимались. И получилась обычная и неизбежная в таких случаях заминка. И конечно, инициативу в свои руки взяла мудрая женщина. "Уже поздно, – сказала она, – постели, пожалуйста".

– А что я? Радостно, поспешно и стыдливо стал стелить на своем продавленном диване и славил Бога, что нашлись чистые простыни.

– Дальше, Аня, все происходило как у людей. Я тебе рассказываю это не потому, что она была у меня первой. И тебе уже, должно быть, ясно, что она не была девушкой...

– Вовсе... Но я хочу сказать... рассказать тебе о другом, что тоже не так-то легко выговорить. Понимаешь, когда мы легли – она в трусиках и лифчике, на мне, разумеется, плавки, – я, рутинный молодой человек, начал с верхней части. А она взяла меня за руки и направила их вниз. Ну я, не очень разбираясь и бестолково суетясь, переключил свое внимание туда. Когда она перехватила мою руку со своими трусиками, которые я собирался бросить на пол, и благоразумно сунула их под подушку, я все же попытался вернуться к ее лифчику. Но когда я коснулся ее груди, она быстро шепнула мне прямо в ухо: "Не надо, миленький, не надо". "Что не надо?" – тупо бормотнул я, и мой нервный, и без того не слишком уверенный, орган стал увядать. "Не надо снимать". Ну не надо, так не надо... В общем, с ее активной помощью, дело кое-как сладилось. Полежали. Меня уже начал смаривать сон. И тут она говорит...

– Да, правильно, я знал, что ты догадаешься. Но сказала она не это. Она просто сказала, что должна ехать домой. Что? Почему? Надо – и все. И стала быстро одеваться. Как не хотелось мне вставать! Даже сейчас помню эту дрожь во всем теле, но что поделаешь – надо быть рыцарем до конца. Дальше – обычная московская чепуха: поиски ночного такси, длинная поездка в его провонявшем бензином, перегаром, женскими трусами и блевотиной нутре. Куда мы в конце концов прибыли, я в темноте не разобрал. Знаешь ли, Анечка, что такое барак?

– Ах знаешь? Не понаслышке? Да, да, "на двадцать восемь комнаток всего одна уборная". А я вот только тогда впервые увидел. Несколько бараков. И за их черными силуэтами какое-то жуткое зарево. "Что это?" – спросил я почему-то шепотом. "А, Капотня", – пренебрежительно бросила моя пролетарская подруга. Так это Кузьминки, понял я. Дело в том, что в Кузьминках жила моя мама и из окна ее кооперативной квартиры на одиннадцатом этаже я часто видел это самое зарево. Эк меня занесло! Тем временем мы уже прошли никогда не засыпающий барачный коридор и остановились у одной из дверей. "Подожди минутку", – она исчезла за дверью. У меня появи-

лось отчетливое желание немедленно смыться. Но дверь открылась, и она втащила меня внутрь. Темнота, тепло, незнакомые запахи... "Я сейчас постелю, посиди минутку", – сказала она. И действительно, через короткое время я с облегчением приземлился на каком-то сундуке, наскоро застеленном влажным бельем, забыв о своем намерении быстро распрощаться. Я предвкушал продолжение. "Ложись, я сейчас", – шепнула она и исчезла в темноте. И тотчас я услышал...

– Да, конечно, плач ребенка. Нетрудно было догадаться. Но я, осел, только тогда понял. Это меня просто пришибло. И когда она вышла, уже в халатике, и сказала, что, к сожалению, не сможет со мной лечь, я вяло махнул рукой и закрыл глаза. Спал я плохо. Было душно, пахло – я уже понял чем – мокрыми пеленками. Кажется, я все же задремал, но вдруг проснулся и чуть не заорал – на меня смотрела, со сна почудилось, ведьма...

– Бабушка? Наверное, бабушка. Исчезла, к счастью. Утром специально посмотрел – вполне нормальная старушка.

– Да, рано утром она все же пришла ко мне, но мы просто так полежали, мне все чудился запах молока... "Всякий, питаемый молоком, несведущ..."

– Неважно, это из Священного писания. Кстати, откуда ты знаешь, что...

– Нет, мы наспех позавтракали, поцеловались, я записал телефон, но...

– Да, Аня, да, я не позвонил. Ни разу... Утром я вышел в серую предрассветную муть. Ночное зарево поблекло и уже не казалось таким зловещим (что они там ковали?). Мне было муторно, тоскливо, но в то же время я чувствовал какое-то умиротворение. Не знаю, как объяснить. В одну ночь я стал взрослым. Понимаешь, я узнал, вчера узнал, что женщины действительно рожают и выкармливают детей. Что от этого странного минутного соприкосновения бывают дети, живые дети. У этой милой с веснушками девочки маленькая красивая грудь. Но в ней, в этой круглой девичьей груди – молоко для ее ребенка. Ее грудь для ребенка, а вовсе не для меня. Лактаре лакримоза...

– Как звали? Кого?

– Сейчас, сейчас. Света, да Света. Света... Интересно, Свет тогда развелось до чертовой матери. И завод – "Светлана". Или фабрика?

– Не знаю я, Анечка, фамилию. А зачем тебе?

– То есть? Барак самый обыкновенный. Длинный.

– Капотня, я же сказал.

– Ты что? Но я не знаю, не помню таких деталей... Я не спросил, девочка или мальчик, я вообще не сказал ей, что понял, что...

– Боже мой, Аня, этого не может...

– Год я помню хорошо – семидесятый. Через два с половиной года родился мой сын, Сережа.

– Этого не может быть! Хотя, почему не может? Я... я...

– Да, Аня, только сейчас я понимаю, что рассказал тебе все это только потому, что ты поразительно похожа на нее. И я чуть было не...

– А отец? Он тоже здесь?

– Отчим? Но ведь ты же сказала...

– Извини, я несколько...

– Прости, Аня, можно я... Дай мне руку. И только высоко, у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок... Плакал ребенок...

– Прости, прости, прости...

– Прости...

– Телефон? Телефон? Он, наверное, звонит уже целую вечность! Пожалуйста, девочка, возьми трубку, это Шимон, ответь ему, поговори с ним...

Лея Гринберг

И возрадуется несущий снопы свои...

Может ли что-то прочнее привязать к земле, чем сама земля? Помните, у Сент-Экзюпери мимолётный образ садовника, покидающего этот мир? Умирая, он говорит: "Иногда, копаясь в огороде, я уставал до седьмого пота, ревматизм донимал, болела нога, я проклинал это рабство. Так вот сегодня я бы хотел копать. Когда копаешь, так вольготно дышать!"

Он может быть хорош этот квадрат земли, как ломоть душистого свежего хлеба, он может быть твёрд, как скала, и даже сорняк не взрастёт на нём, но он притягивает к себе неизвестно какой силой и еврейского земледельца, и французского крестьянина, и арабского феллаха.

Эти мысли так естественны, когда ты оказываешься в кибуце, где мягкий ветер приносит запах плодовых деревьев, цветов, пробуждающейся по весне земли. Тебя окружает тишина и покой, среди высоких ярких кустарников, среди широкоствольных разросшихся старых уже деревьев прячутся дома. Зелень, умытая осенними дождями, ещё не успела потерять краски, а в траве и на клумбах весёлое многоцветье

встречающих весну цветов. И неважно, чем занимается кибуц: выращивает ли цитрусовые, бананы или же пшеницу, он прежде всего рождает в тебе мысль о земле, привязанности к ней человека, способности дарить его душе минуты тишины и покоя.

Кибуц зарождался сразу же после Войны за Независимость, когда штурмовая бригада Пальмах, отвоевавшая своё, потерявшая немало своих бойцов, выбрала место, чтобы начинать мирную жизнь. Они мечтали жить на берегу моря, быть рыбаками, строить рыболовецкое хозяйство. Море было совсем рядом. Кибуц взобрался на высокий гористый холм, а море было под холмом. Но кое-где холм словно бы опадал и тогда кибуц отделяла от моря только лёгкая полоска песка. В ветреные неспокойные дни оно с силой ударялось о холм, так что камень, изъеденный волной и солью, стал похож на пчелиные соты. С холма хорошо виден берег, и волны накатывающиеся на него, и лёгкая рябь воды, и чайки, плавно опускающиеся на песок. У самого берега вода прозрачная, и в ней то тут то там проглядывают отпавшие от скалы камни. Вдали от берега море синее с лёгкими беловатыми волнами. Когда солнце всходит над ним, кажется, что вода излучает свет. Море приносит запах водорослей, свежесть ветра, надышавшегося влагой. Бывшие бойцы назвали свой кибуц "Пальмахим", привнося в мирную жизнь память о недавнем военном прошлом. Море они чувствовали постоянно, теперь оно было частью их новой реальности. Утром на лёгких быстрых лодках выходили они рыбачить. В этом была своя романтика, своя красота, но вскоре в кибуце поняли, что надо искать новое направление. Естественней всего было работать на земле. Была она здесь особенно хороша, хотя веками не знала руки человека. Не только близость моря, но и река Сорек дарили ей плодородие. Сорек начинала свой путь южнее Иерусалима, пересекала Шфелу и всю Приморскую равнину и именно здесь, на месте их кибуца, впадала в море. Сорек – так в древности называли редкий сорт винограда, который, должно быть, произрастал на её берегах. Имя реки напоминало о плодородии этой земли, о временах, когда была она подобна райскому саду, в котором всё цвело и благоухало: и виноградная лоза, и ореховое дерево, и шафран, и миндаль, и финиковая пальма. Но Со-

рек пробуждала и другую память. О филистимлянах, о Шимшоне и о его любви, которая принесла ему гибель. Это здесь, в долине реки Сорек встретил он Далилу, а она выведала его тайну и предала филистимлянам. И сказано в книге Судей: "И полюбил он женщину в долине Сорек".

Недавние репатрианты, многие из которых пережили Катастрофу, отвоевавшие в Войну за Независимость, они искали свой путь на этой земле. Они становились земледельцами, учились выращивать хлеб, цитрусовые, авокадо, манго. И незаметно для них рождалось незнакомое прежде чувство связи с землёй. А может быть, это пробудилась генная память? Ведь когда-то здесь жили их предки, и они были земледельцами. И спускался труженик в поле своё, и видел созревшую смоковницу, и кисть винограда, наполненную солнечным светом, и потемневший гранатовый плод, и связывал их вместе, и говорил вслух: " Вот это первые плоды". И все их праздники были связаны с этой землёй, со сбором урожая. И несли они в Храм первые свои плоды после бессонных ночей в поле, и веселились, окончив жатву, и совершали паломничество в Иерусалим, и говорили: "Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим!" И вот теперь, так же как когда-то их далёкие предки, они встречали восход в поле, чувствовали, как дышит земля, как мёрзнет осенью и оживает тёплым весенним утром. Знали, что подходит земле, а что нет, чему раскроет она себя, а чему – нет, какой ветер приходит зимой, а какой дует ранней весною, какой благостен для их посадок, а какой пагубен. Может быть, только теперь раскрылся им истинный смысл и красота слов царя Шломо "Сладок сон труженика". Он совсем не случайно так часто обращался к земле, когда размышлял о жизни и смерти, о быстротечном и вечном, о противоборстве добра и зла, о мудрости и пустоте. "Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя много дней ты найдёшь его. Дай часть (зерна) семи или даже восьми, ибо ты не знаешь, какая может случиться беда на земле. Когда наполняются тучи, они прольются дождём на землю... Опасающийся ветра – не посеет, наблюдающий за тучами – не сожнёт... С утра сей семя своё, и вечером не давай отдыха руке своей, ибо не знаешь, что удастся, это или то, или оба равно хорошо. Сладок свет, и благо для глаз видеть солнце".

Только народ земледельцев мог подсказать такие сравнения царю Шломо, народ, который связывал свои праздники с землёй: в Шавуот нёс свои плоды в Храм, в Суккот веселился, окончив жатву, и совершал паломничество в Иерусалим. И праздновал Новый год деревьев, и вспоминал слова из книги Дварим "... Ибо человек подобен дереву на ниве".

И вот теперь, подобно их далёким предкам, они возвращались к земле. Сеяли на ней хлеб и собирали урожай, сажали деревья и вкушали плоды своих рук. Как сказано было у пророка Иехезкеля, "И земля эта опустошённая будет возделана вместо того, чтобы быть пустыней пред глазами проходящих".

Есть у пальмахников песенка, напоминающая знакомые бодрые марши, под которые хорошо шагать в строю. "Ришоним тамид аину, ану, ану Ха-пальмах". Мне неожиданно вспомнилась эта песенка. Мы стояли в археологическом музее кибуца Пальмахим. В окно, как будто сойдя с картины художника, заглядывало море. Радовала глаз его сияющая голубизна. Хорошо был слышен шум волн, набегающих на берег. А здесь была совершенно удивительная атмосфера, которая возвращала тебя на много тысячелетий назад. Огромная, во всю стену, карта, рассказывала как шло расселение народов на этом участке земли. Река и море всегда привлекали людей. Здесь прошли кнаанейцы, финикияне, филистимляне, персы, римляне, византийцы, арабы, иудеи. И все они оставили свои следы в этой земле. Неподалеку от кибуца были найдены захоронения с останками древнего человека, относящиеся к 4-6 веку до новой эры. Всё, что было найдено в могиле, свидетельствовало о вере человека в загробную жизнь, для которой оставляли ему одежду, сосуды для пищи и воды. Огромные кады для хранения зерна, глиняные прямоугольные сосуды для древних захоронений, мозаичная плита византийского периода... Множество экспонатов, свидетельствующих о том, как жил этот берег, сколько прошло племён и народов на этом участке земли. И сколько ещё предстоит открытий...

Вообще музеи археологии навевают мысль о пути человечества в мире, его первых шагах, взрослении, смене поколений. Когда всё так сконцентрировано, этот путь предстаёт как бы по упрощённой схеме, и человек на твоих глазах от своего

детства переходит в пору юности, потом зрелости. И вот уже меняются предметы его быта и труда. И каменный якорь становится всё более совершенной формы, постепенно приближаясь к нашим дням. Но проходит век за веком, и бесконечно долог путь человека к прогрессу.

Земля открывает свои хранилища бессистемно, по ей одной ведомой прихоти, но люди учатся понимать язык почерневших от времени глиняных черепков, оттисков печатей, надгробных камней. И порой простенькая ничего не значащая с виду находка оборачивается открытием. Вот так было с глиняным черепком, который я держу в руках.

Собственно, черепок – копия, оригинал хранится в Музее Израиля, что само по себе свидетельствует о ценности находки. Трещины, как морщины на лице человека, оставили свой след на камне, но не они говорят о возрасте, а текст, написанный на иврите и относящийся ко времени Первого Храма. Ты читаешь его с лёгкостью, как будто он написан сегодня и между нами и тем, кому принадлежат эти строки, не пролегли века. Иврит письма вполне современен, а чернила, которые некогда изготавливали особым способом, хорошо сохранили текст.

"Слушай, господин, слова раба твоего!" – так начинает это письмо жнец Ирис Ашук, который работает в поместье царя. День за днём, неделю за неделей трудится он под жарким солнцем, старательно выполняя норму. Каждый из тех, кто работает с ним рядом, может подтвердить, что он говорит правду. Но вот пришёл надсмотрщик Хошияху Бен Шави и, несправедливо обвинив его в недобросовестности, забрал его единственную одежду. Он просит начальника округа Хошавье, которого называет "сар" – министр, помочь восстановить справедливость и вернуть его одеяние. Под именем Хошавье письмо жнеца Ириса Ашука, жившего более 2700 лет тому назад, вошло в энциклопедии и в учебники судебного права.

Читаешь слова, написанные простым земледельцем, и чувствуешь: в них не только просьба о помощи, но и убеждённость в своём праве получить назад свою единственную одежду. Жнец хорошо знал, что его защищает закон Торы. И он почти цитирует его в своём письме.

И сказано в книге Шмот главе Мишпатим "Если возьмёшь в залог одежду ближнего своего, возврати ему ее до захода солнца, чтобы она была у него. Ибо она покров его, одеяние его. На чем он будет спать? И когда возопит он ко Мне, Я услышу его, ибо Я милосерден".

Путь к стоянке машин лежал через кибуц, ухоженный, утопающий в зелени. Пахло скошенной травой, орешник источал пряный запах, пчёлы кружились над кустарником с белыми пахнущими мёдом цветами. Широко разросшиеся кустарники кактуса гордо выставили стволы с красными цветами. Каменные, извлечённые из моря якори, насчитывающие не одно тысячелетие, доживали свой век у стены вполне современного дома. Всё сомкнулось в единое целое: царская усадьба, некогда обитавшая на вот этом самом месте, современный кибуц, который тоже выращивает пшеницу, закон Торы, который был дан нам однажды и навсегда.

"Голос возвещает в пустыне"

Весной Иудейская пустыня меняет краски. Вместо коричневых и серых тонов выжженной земли и обнажённых гор появляются живые сочные тона свежей зелени. Отсюда, с места где мы стоим, холмы мягко расходятся во все стороны и рождается впечатление развилки, столбовой дороги. Но оказывается, что так оно и было много-много столетий назад. Именно здесь, на этом самом месте, останавливались когда-то караваны на пути в Дамаск. Верблюды тяжеловато опускались на каменистую почву и, равнодушно прикрыв глаза, замирали в блаженном покое. Отсюда, из этого колодца, путники набирали воду, пили сами, поили верблюдов, лошадей. Колодцу этому три тысячи лет, но если и сегодня опустить ведро на верёвке, можно, как и в те давние времена, зачерпнуть воду.

Мы сидим на каменных террасах, которые забором окружили постоялый двор, за нами бедуинская палатка, бедуин,

который за пару монет может напоить чашечкой крепкого ароматного кофе, приготовленного тут же на тлеющих углях. Верблюд, естественно вписавшийся в этот пейзаж...

Прошлое и настоящее смешалось – вполне современный самаритянский музей на месте древней самаритянской деревни, электрические провода и столбы в пустыне, машины самых последних марок и колодец, которому три тысячи лет. По мере приближения к Мертвому морю Иудейская пустыня становится всё строптивей. И нет уже мягкой округлости гор, вершины их всё выше и выше. Краски темнее, вид суровей. Как писал о Масаде Иосиф Флавий: "Скалистый утёс... окружают со всех сторон обрывистые пропасти непроницаемой глубины, не доступные ни для людей, ни для животных".

Горы и море в этой части пустыни, подобно двум путникам, идут вдоль дороги параллельно друг другу. Только горы устремлены вверх, в небо, а море лежит в низине, будто в глубокой глазнице земли. И это первый, самый броский контраст. Горы и море. Горы величественные, неспокойные, несущие душе непонятное напряжение. И море, отливающее зеленоватым покоем. Оно меняет свой цвет в зависимости от свода небес, с которым кажется единым целым.

Иудейская пустыня полна резких контрастов. Горы, возносящие свои вершины высоко в небо, и глубокие ущелья, с пересохшими руслами рек. Водопады, несущие свои потоки через нагромождение камней, и почти полное отсутствие источников живой воды. Иссушающий жар солнца – днём и пробирающий до костей холод – ночью.

Горы придают пустыне первозданный характер. Кажется, земля изрыгнула их из своего чрева однажды, и они так и остались стоять в своей нетронутости. Но как же это впечатление ошибочно! Только тот, кто хорошо знаком с Иудейской пустыней, кто видел её вблизи, поднимался по каменистым уступам гор, забирался в тёмное чрево пещер, проходил по её тропам, знает, какую память о себе оставили здесь наши предки. Иудейская пустыня связана с нами, евреями, в ней оставили следы своего пребывания и наши цари, и наши воины. Она хранит память о тех, кто бежал сюда из захваченного римля-

нами и разрушенного Иерусалима, она связана с повстанцами Бар-Кохбы и с непокорившейся Масадой. Этот такой молчаливый, солнцем обожженный и ветром обвеянный камень может много рассказать о прошлом. О выложенных из древних валунов крепостях, которые охраняли источники воды, о постоялых дворах для торговых караванов, о постройках, разбросившихся в горах, о поселении в Эйн-Геди и в вади Кумран...

Мысли рождаются при взгляде на этот пейзаж, но ты не успеваешь осознать их – они как бы растворяются в воздухе, а мир за окном автобуса всё больше и больше притягивает тебя. И ведёт, словно пастух своё стадо, по неизвестной тебе дороге. Здесь нет полутонов, всё здесь в полную силу: море, солёное до горечи, солнце, безжалостно палящее, горы, подобны утёсам, пещеры, повисшие над глубокими пропастями. Археологи описывают, как были тяжелы и опасны работы во время раскопок, как непросто дались им Масада, Пещера ужасов и Пещера свитков, хранившие останки воинов Бар-Кохбы, документы, письма, обрывки пергаментов еврейских религиозных книг, пролежавших в месте своего последнего захоронения около двух тысяч лет.

Всё это Иудейская пустыня, но ведь и та самая развилка, с мягкой округлостью холмов, на которой был наш первый привал, тоже Иудейская пустыня. И Эйн-Геди, с его знаменитыми виноградниками, про который сказано в "Песне песней" "Благоухающая гроздь – возлюбленный мой в виноградниках Эйн-Геди", – тоже часть всё той же Иудейской пустыни.

Сдом, Эйн-Геди, Иродион, Масада... Снова всё то же проявление контраста. Но разве контраст – он только в природе? Контраст – он в самой сути Иудейской пустыни. Сдом, уничтоженный Божьим гневом за злобу, разврат, жестокость. Здесь, в пустыне, как бы столкнулись два мировоззрения: жителей Сдома и Авраама. Он спорил с Богом, пытаясь спасти город от разрушения, но Бог не простил жителям Сдома их грех. Он стёр город с лица земли, оставив навсегда в сознании людей память о Сдоме и сдомском грехе.

В Иудейской пустыне царь Шауль в порыве подозрительности и гнева преследует Давида, чтобы убить его. И Давид, зная это и оказавшись в пещере рядом с Шаулем, отрезает ку-

сок его плаща – свидетельство того, что мог убить, но не убил, проявление чистоты помыслов и благородства души.

Нет, пустыня не многокрасочна. В ней властвуют свет и тень. В свете солнца всё обнажено, всё кажется более доступным и близким. И вершины далёких гор, и пещеры, забравшиеся в ущелья. Но вот ушёл свет солнца, и быстро, без перехода, наступила ночь. И всё утонуло во тьме. Она объяла далёкие и близкие горы. Сокрыла себя, ушла в свою тайну. И невольно вспоминаются слова из Торы, книги Дварим о пустыне "великой и страшной, где змеи ядовитые и скорпионы и нет воды". А может быть, эти слова даже более близки жаркому дню, чем ночи, а ночи скорее соответствует другое описание "дмама вшмама" – безмолвие и пустынность.

Здесь, вдали от суетного мира, в суровой простоте жила иудейская религиозная секта ессеев, оставившая о себе память многими тысячами библейских рукописей, частью некогда обширной библиотеки. Они были переписчиками Торы и пророков, еврейских канонических текстов. Треть всех ночей посвящали учению. Писали о столкновении света и тьмы, постоянном противоборстве между ними. В их Уставе записано "Бог сотворил духов правды и тьмы и на них основал всякое действо". Себя они называли сынами света и выбрали пустыню, потому что их устав предписывал отделиться от людей тьмы, уйти в пустыню и проложить там дорогу Богу. Их захоронения просты и суровы, соответственно их образу жизни.

И снова всё та же борьба света и тени, добра и зла, как в природе, только перенесенная на человеческую общность. Всё та же устремлённость к свету, к духовности...

Сколько поколений прошло по этой земле, сколько перемен произошло вокруг, а она всё та же. Где-то идёт строительство, прокладываются новые дороги, дробится порода гор. И вот горы уже отошли от проезжей дороги, а она стала шире, удобней. Всё это следы времени, и всё же кажется, что земля отстранена от всего этого. Она сама по себе, а мы сами по себе. Мы живём своими заботами, а она своими. Создаёт человек или разрушает, он, со всей своей властью над ней, смертен, а она остается вечно. Поколение уходит и поколение приходит, а она всё так же встречает рассвет, всё так же восходит

над ней солнце, и всё так же приходит ночь. Когда-то по этой дороге шли караваны из Хеврона и Иерусалима к Эдомским горам и дальше на юг. Где она пролегла, размыли её, а может быть прячется её след где-то между камней, и кто-то, хорошо знакомый с этими местами, отыщет его без труда.

И вспомнился мне Лот, и пленение его, и тот самый посланец, которого направил он к Аврааму сообщить о своей беде. Ведь и он шел по этим проложенным кем-то тропам. Во Второй книге Царств эта дорога названа дорогой пустыни Эдом. И шло по ней воинство трёх царей: Израильского, Иудейского, Эдомского. Шло в Моав, чтобы сразиться с царём Моава. Уже семь дней они были в дороге, идти становилось всё тяжелее и тяжелее, и не было воды для войска и скота. И тогда в полном отчаянии и страхе стали они искать пророка и нашли пророка Элишу. И сказал он им: "Делайте в русле этого высохшего потока ямы за ямами, ибо так сказал Господь: "Не увидите ветра и не увидите дождя, а русло потока этого наполнится водою, и будете пить вы и стада ваши, и скот ваш". Но это покажется лёгким Господу; Он и Моав предаст в руки ваши "... И было, поутру, когда возносят хлебное приношение, пришли воды по пути из Эдома; и наполнилась земля водою". Как всегда, нам требовалось чудо...

Когда смотришь на пустыню, присев где-то на скатившийся с гор камень, кажется, что и она ищет свою суть. Всё лишнее удалила природа, оставив землю, солнце, небо и горы. Именно в пустыне, где действительность малообещающа и сурова, яснее проступает суть вещей. Потому и выбрана пустыня Богом, чтобы воспринималась как чудо вода, извлечённая из скалы, колодец Мирьям, ман.

В пустыне нам дано было услышать Голос. Его величие и мощь, силу его воздействия передаёт царь Давид в своих псалмах. "Голос Бога высекает пламя огней. Голос Бога сотрясает пустыню, сотрясает Бог пустыню Кадеш". До пустыни сказано о бывших рабах, только что вырвавшихся из Египта, что "они не отличают ещё сегодня добро от зла". Ещё не отличают, им ещё предстоит дойти до этого. Им ещё предстоит долгий путь скитаний по пустыни, который закалит их, научит мужеству.

Не забуду своё впечатление от подъёма на Масаду. Дух захватывало от высоты, близости к небу, солнцу, всходящему над твоей головой. Зато земля казалась далёким берегом, окрестные горы потеряли вдруг своё величие, а люди выглядели совсем крохотными. Вот такой контраст был между людьми, бежавшими из египетского рабства, и теми, кто после сорока лет скитаний стоял на пороге завоевания страны обетованной. Как смельчак карабкается вверх, преодолевая тяжесть подъёма, так медленно, ценой тяжёлых ошибок и падений, преодолевал народ свой подъём. Этот путь был заведомо тяжёл, и, вспоминая то, что прошел народ, говорит пророк Ирмеягу "Помню Я доброту твоей юности, любовь времён помолвки твоей – как ты шла за мной по пустыне, по земле незасеянной!"

Я всегда по-новому переживала свою встречу с пустыней. Всё тот же свет солнца, всё те же горы, всё то же море. И всё же она не оставляет тебя равнодушным. Что то в твоей душе откликается на неё. Быть может, это наша память о прошлом... Глядя из окна автобуса, выхватываю глазом дерево. Оно очень древнее и по рождению своему принадлежит этой земле. Тора не раз упоминает его – шита бемидбар. Почему-то напоминает оно мне одинокого путника, в спину которому дует ветер. Вот он чуть наклонился вперёд, передохнул, собрался с силами, и вновь отправился в путь.

Мы были вот таким же одиноким путником в пустыне. Она отъединила нас от мира. На время? Навсегда? Мы и сегодня в своём одиночестве. Мы и сегодня в своей пустыне. И Голос, избравший нас однажды, продолжает взывать к нам как и прежде. Дано ли нам услышать его?

Алиса Гринько

Было

Был белый дом-пила высотой в двенадцать этажей, громадный дом длиной в квартал и высокая арка в нем, выйдя из которой – можно было увидеть, как разбегалась перед глазами до самого горизонта равнина с полем, речкой и рощицей по ту сторону шоссе, с растущими по берегам речки кустами ольхи, весной зацветающими сережками. По вечерам над равниной, над полем в темно-сизом небе вальяжно висела полная луна, и видно было сразу, когда выходили из-под арки проводить к автобусу припозднившегося гостя по тропке, идущей к шоссе наискось через пустырь, – что есть в мире главное: поле и небо, и в нем луна смотрит так, словно что-то хочет сказать, надо только постоять и приглядеться!

Была женщина. Была собака, преданная, черная и косматая.

Новый район только еще начинали строить. Магазинов не было, и женщина жаловалась, что все, продукты и всякую мелочь, приходится покупать в центре, там, где она работала. А весной и осенью грязь была непролазная. В особенности около незаконченных строек.

Зато летом она возвращалась с прогулок с собакой довольная: они гуляли в н а с т о я щ е й деревне! Район строился недалеко от Окружной, там в самом деле кое-где сохра-

нились еще деревеньки. Одна из них была совсем рядом, она начиналась там, где заканчивалось строительство микрорайона, контур его ограничивался длинной и извилистой, перебегавшей через шоссе улицей, от этой улицы вниз, параллельно шоссе, примерно в полуверсте от него, шла широкая проселочная дорога, опускавшаяся пологим уклоном к далеко внизу вытянувшейся ленте прудов. Дорога эта шла вдоль оврага, женщина называла: "канава" и тихо смеялась. Летом на склонах канавы с некошеной травой она собирала цветы, ромашки и еще – пышными лиловыми зонтиками и, вернувшись, говорила радостно, что здесь, у самого дома, набрала букет настоящих полевых цветов!

Деревня нанизывалась на дорогу, как на ось, вытягивалась вдоль нее двумя рядами палисадников с огородами на задах. В мае через заборы палисадников тяжело, густо переваливалась темно-лиловая сиреневая кипень. Домишки в деревне были деревянные, но один в середине улицы стоял каменный, возвышавшийся над остальными, с ведущей на крыльцо каменной лестничкой, белевшей в зелени. Домик этот окружали особенно яркие и пышные клумбы с огненными ковриками настурций, нежными переливами астр. Небольшой особнячок этот имел даже нечто вроде скромных, плоских колонн. Было интересно: кто живет там сейчас? Кто жил прежде?

В огородах копошились люди. За деревней дорога горбилась, взлетая над оврагом, пробегая мимо кладбища, старинного, тенистого, оно все заросло березовой рощицей. С другой стороны, под самым горбом внизу, склон оврага падал в просторную лужу, наверно, здесь тоже именуемую прудом, на ее берегу поблескивали в жару коричневым глянцем спины мальчишек, ловивших в луже головастиков и мелкую рыбешку.

Дорога дальше шла привольно и широко посреди поля за деревней, зараставшего в начале лета пестрым и душистым июньским разнотравьем, лиловыми и желтыми первоцветами, серебристой полынью и высоким репейником, на его жестких стеблях потихоньку, незаметно, в стороне от рассеянного людского взора, сложив крылышки и сев на самый кончик, весело, как на качелях, раскачивались воробьи.

Женщина и собака шли деревней и выходили в поле и дальше по дороге вниз до самых прудов, вытягивавшихся поперек поля. Собака весело и высоко подпрыгивала в густой, душистой траве, вспугивая воробьев. Шоссе высоко проходило, пересекая ленту прудов, разделяя их надвое мостом; по ту сторону моста был "цивилизованный" пляж, огороженный забором, с пестрыми зонтиками и деревянными лежаками, с киосками, где продавали газеты и журналы, и даже со столиками, где торговали шашлыком и пивом, правда, только по воскресеньям. В жаркие дни, даже в будни, народу на пляже накапливалось так много, что проезжавшим по мосту и с завистью глядевшим в окна троллейбусов и автобусов, весь склон казался сплошь усеянным розовыми спинами и яркими купальниками.

По эту сторону моста, где была деревня, тоже был "дикий" пляж около небольших деревянных мостков, там купались деревенские и прыгали с мостков в воду, и женщины полоскали белье в стороне от потихоньку завоевывавшей воду липкой зеленой тины.

Собаке разрешалось купаться под мостом, хотя ей не всегда хотелось кидаться в воду за брошенной палкой, особенно в повторный раз. Но она все же покорно бросалась, послушная команде, мелко семеня лапами, догоняла палку, хватала зубами и плыла обратно, довольная, а после смешно отряхивалась и еще смешнее перекатывалась с боку на бок, ворча от удовольствия, в теплой траве.

Обратно возвращались тою же дорогой. Женщина шла слегка танцующей походкой, подставляя лицо солнцу.

Это все было. И много еще. Была музыка. Слезы ночью. Были вечера в маленькой кухне и глаза напротив, которые казались вечными.

Но вечного ничего нет – это давно уже заметили и сказали умные люди, а наиболее остроумные из них добавляли: "Кроме "вечной" иголки для примуса".

Сперва пропала деревня. Началось все с безобидного появления в поле людей, которого, появления то есть, можно

было и не заметить, а, заметив, не придать значения. Двое, от силы трое, одетые в черные робы, они посреди распахнувшейся во все стороны зеленеющей равнины уставлялись все в одно маленькое очко на высокой черной треноге, словно надеялись вобрать в него всю эту равнину вместе с деревней и прудом, травою и цветами и раскачивающимися на длинных стеблях воробьями! И, представьте, им это удалось! Поле все расчерчено было, поделено на одинаковые прямоугольники невидимой сеткой.

Сносить деревню начали от угла вблизи крайних домов строящегося микрорайона, быстро заваливали крыши и стены, так что взметывались долго не оседавшие тучи мутно-рыжей пыли и трухи, хранившие запах сыреющего дерева и человеческого жилья. Обнажались при этом кое-где внутренние стены в блеклых, выцветших обоях, являя постороннему взору скрытое и интимное, – чего только не видели эти стены, на них словно проступали вместе с засаленными пятнами маленькие тайны прожитых жизней. Что говорить! Работа спорилась, все шло по плану; снесли быстро домишки и заборы, и от того домика каменного с колоннами и лестничкой не осталось воспоминания.

Лишь в несколько последующих весен привычно сады, ставшие ничьими, не имевшие теперь даже заборов, но еще сохранявшие форму свою, зацветали в мае, покрываясь пышной, одичавшей сиреневой пеной, узорной сканью цветущих вишен. Да еще можно было видеть в первый, второй год после сноса, посреди брошенных огородов внизу у прудов, – одну, другую неопределенного возраста и пола фигуру, копавшуюся в земле.

Посреди садов, не вырубая их, начали строить высотные дома и даже заселять, пока еще только по одну сторону нетронутой пока что, но скукожившейся канавы, и жители этих новых домов, выходя погожим майским воскресным денечком на прогулку с семьями, спускались бывшей улицей бывшей деревни к прудам мимо двух рядов ничейных садов, беспрепятственно ломали бесхозную сирень и с довольным, несколько даже вызывающим, но не вполне уверенным видом несли в руках охапки душистых веток.

Позже всего оставалось кладбище вместе с тенистой рощицей. Деревню всю уже давно снесли, и рощицу эту не видно было из-за обступивших, осадивших ее со всех сторон, точно вражеские войска, многоэтажных зданий, строительных насыпей, кранов. Около самого шоссе строился универсам.

Как-то неприметно исчезло и кладбище; стерлось с лица земли. Засыпали канаву. На том месте, где было кладбище, на краю бывшей канавы, выстроили производственно-техническое училище и в пустом, нежилом еще здании вывесили на дверях надпись: "Добро пожаловать!"

Зимой собака пропала. Это было большое несчастье. Вы, может быть, знаете, что это такое, когда пропадает любимая собака. Так случилось: ее увели. Она, бедняжка, ценной была породы, редкой, и ее увели. Наверно, чтобы удержать около себя, недостаточно было только ее любить; чтобы иметь и сохранить что-то ценное, может быть, надо обладать какими-то особыми черточками характера или, во всяком случае, сосредоточиться.

Ушла женщина. Она ушла сама.

Собака бы вернулась. Но она не знала адреса. Женщина знала адрес. Но она не вернулась.

Пропали пруды и пляж. Этому предшествовало не совсем ординарное происшествие. Сперва прошел по району смутный слух о загрязнении воды в прудах. Поговаривали, что в одном из близлежащих к прудам поселков прорвало канализационные трубы. В сущности, тут не было ничего необычного. Слух, однако, воспринимался вначале, как полудостоверный; хотя количество купальщиков, несмотря на жаркую погоду, резко снизилось; это настораживало. Но находились еще неверующие смельчаки, бодро подпрыгивавшие на опустевшем пляже, до тех пор, пока не выставили щиты с предупредительными надписями, да и новые слухи поползли якобы от очевидцев, видевших, что там плавает в воде. История темная была, купаться вовсе перестали. А к осени воду в прудах спустили, при этом обнажилась по обе стороны моста на несколько километров не очень глубокая впадина с темно-коричневой, словно сочив-

шейся влагой, землей, зацветавшей кое-где у берегов яркой болотной травой, и с неровными, обрывистыми краями.

Еще в первый год, как воду спустили, люди стали свидетелями удивительного зрелища: вдоль оставшейся, вытянувшейся вдоль дна впадины почти правильной волнообразной синусоидой п р о т о к и, унизав узкие ее края двумя рядами крупных белых жемчужин, плотно, словно два ряда ожерелий, сидели невесть откуда здесь взявшиеся чайки. Они сидели между тем не праздно, а как бы, казалось, что сосредоточенно, не вспархивали, и не один день их там видели люди, проезжавшие по мосту в транспорте, и, заглядывая в окна, изумлялись и вслух делились соображениями: что бы это могло значить? Пока не высказана была догадка, что чайки, скорее всего, склевывают скопившуюся в протоке рыбешку, которая свободно раньше плавала в пруду. Догадка эта подтвердилась, когда на протоке появились люди; несколько мужчин, стоя по щиколотку в воде, закатав штаны, на довольно значительном расстоянии друг от друга вдоль протоки, время от времени нагибались к воде и что-то делали, должно быть, брали рыбу сачком или ведром, а может быть, просто руками. Чайки же по-прежнему сидели плотно; люди и птицы были заняты делом, людей было мало, и они не вспугивали и не мешали чайкам.

Когда кончилась в протоке рыба, не стало чаек. Они улетели в другие места. Прошли осень и зима, наступило лето, но уже не пестрел в жаркие дни купальниками высокий берег; исчезли пляжные тенты-грибки и деревянные лежаки, не работал тир, и киоски не торговали больше газетами, не было дымившихся шашлыков и пива по воскресеньям. Даже как-то не верилось, что все это совсем недавно б ы л о.

Летом во времена сильных дождей пруды иногда до середины заполняло водой, и люди с надеждой глядели… Но вода спадала, и вновь видны было внизу темно-коричневое, сочившееся влагой дно и волнообразная протока.

К концу второго или третьего лета спустили зачем-то туда, на дно, две землеройные машины, и они медленно и неровно, казалось, что неуверенно, ползали по обширной впади-

не, взрывая и разваливая там и сям валы вывороченного рыжего песка, оставляя кривые, уродливые борозды. Надолго, сиротливо замирали, простаивая иногда неделями. На следующее лето машин не стало, и было вовсе непонятно, что это делалось, зачем?

Неизменною оставалась одна протока и – тихо, верно, вечно струилась по развороченному, изуродованному дну все той же правильной синусоидой, слегка убывающей к западу, радуя глаз сторонников физики наглядной иллюстрацией волнообразного характера всего сущего.

И луна осталась, конечно. Только висела теперь она не над темным полем до самого горизонта, оканчивающимся дальним лесом, а над мешающими взгляду устремиться вверх, к темному небу, плоскими крышами высоких домов, утыканными трубами и антеннами. Ее, луну, можно было даже и не заметить, и вид у нее был теперь не такой, словно хочет что-то сказать, не доверчивый, а отстраненный и загадочно-замкнутый.

Знакомец

Он подошел ко мне в людном месте, запруженном людьми переходе от Кузнецкого к Мосторгу. Он начал свою речь так: "Вы не могли бы мне помочь?" Я взглянула на него. Это был мужчина среднего роста и неопределенного возраста, полноватый, скорее даже словно оплывший, с яйцевидной головой, гладко облепленной волосами. Казалось почему-то, что лицо его сливается с одеждой, и все было тускло, серо, неразличимо, словно нарочно рассчитано на то, чтобы не бросаться в глаза при случайной встрече. Того же цвета, что и все остальное, его глаза, довольно, впрочем, большие, скользили мимо моего лица и были, словно засвеченная пленка, по которой невозможно уже различить того, что называют: "зеркалом души". Хотя нельзя было сказать, что он собою был дурен, и в

одежде его, довольно поношенной, бедной, не замечалось явных признаков неряшливости.

Первым моим побуждением было отойти, не дослушав. Я подумала, что за этим обращением последует одно из предложений, которые слышишь иногда на улице и на которые, не отвечая, отходишь. Даже не знаю, почему, мгновение поколебавшись, все же я остановилась.

Должно быть, времени у меня тогда было достаточно. Мне было двадцать пять или двадцать шесть лет, и я была влюблена, это был самый пик моей влюбленности, не то чтобы несчастливой вовсе, но в то время складывалось не совсем удачно и привело потом, позже, к разрыву. Тогда я ходила, бродила много одна, в мечтах, как бы в красном тумане. По улицам бродила, по людным местам, магазинам, выбирая каждый раз маршрут. Я тогда уже работала, окончив институт; родители мои были обеспеченной довольно семьей; я с интересом осматривала и иногда покупала какую-нибудь безделку порадовать себя, но на самом деле мысли все мои заняты были одним, и, вытеснив ощущение себя самое, так мне казалось, внутри меня все было заполнено предметом моих чувств.

Вот о чем мне поведал остановивший меня незнакомец. Он доверчиво мне поведал, что сам он вообще-то из Тулы; в Москве лежал в больнице, недавно выписался, а денег ему не хватает на то, чтобы вернуться в родную Тулу. Короче, он просил пятнадцать рублей на билет. По тогдашним деньгам сумма была не пустячная. В общем, краткая его повесть столь же была проста, сколь прозрачна. В принципе, конечно надо было сразу отойти. Не знаю даже почему, несколько секунд помолчав, выждав, все ли он сказал, я раскрыла сумочку и… дала ему деньги, которые он просил, и, кивнув, быстро, не слушая, что он говорит, благодарности его, отошла.

Нет, ну я не имела вовсе привычки сорить деньгами. И не надо думать, что была безрассудно добра или, как дитя, доверчива. Ясно было, как дважды два: мелкий мошенник. Так просто, дала и все. Может быть, эта нерациональная и неуместная щедрость соотносилась каким-то образом с тогдашним моим

состоянием, не знаю. Еще одно маленькое обстоятельство: герой моих мечтаний, мой бывший однокурсник, был именно родом из Тулы! Точно знаю, что в тот момент подумала об этом, и это имело какой-то смутный, но, быть может, решающий смысл для той акции сомнительной добродеятельности.

Итак, мы разошлись в разные стороны, чтобы, надо думать, позабыть друг о друге навсегда.

Прошло несколько лет. Годы, за которые решилась, определилась моя судьба. У меня рос сын. Я его растила одна и теперь уже никак не могла пожаловаться ни на отсутствие забот, ни на избыток свободного времени. Его у меня теперь вовсе никогда не было, времени то есть. Я теперь не ходила, а бегала, и знакомые мне говорили: "Ты все бегаешь? Смотри, надорвешь сердце!"

А мне смешно было, я знала, ради чего я бегаю: ради своего сынули. Я полностью была занята, мое время, моя голова, мои руки, мои чувства – все было занято им и моей работой, той, которую я любила и могла делать. Накопившийся неизбежно за годы груз обид, горечи, разочарований, был еще не особенно тяжел и не испортил моего характера.

Человек, которого я любила и который пренебрег мной (отцом моего ребенка был не он), время от времени теперь, через годы, напоминал мне о себе тем или иным способом, звонил, с чем-то поздравлял… Я как-то пассивно воспринимала, мне было не до него, я даже потихоньку удивлялась, зачем он звонит, ищет встречи со мной, чувства мои к нему умерли, и я не понимала его так же, наверное, как раньше он не понимал меня.

Что вы думаете? Он снова подошел ко мне, знакомец мой, туляк; и опять на том же самом месте – переходе от Кузнецкого к Мосторгу! Он явно не узнал меня; но я-то его узнала! И на этот раз, как и в первый, скорее от изумления и неожиданности, я остановилась; хотя ни о каком тумане в моей голове и речи не могло быть, и время мое, как уже говорила, все распределено было по минутам, и бежала я, конечно,

по какому-то конкретному делу, скорее всего прикупить что-нибудь своему сынуле и остановилась в изумлении и даже возмущении, характер которого сейчас объясню, и не без любопытства пригляделась к нему. Он тоже изменился со времени нашей... последней... встречи. Постарел. Полысел. Подурнел. Не располнел, а оплыл еще больше, как сальная свеча.

Да, по всему судя, мои пятнадцать рублей не помогли ему за эти годы добраться до родной Тулы. Я, впрочем, приготовилась выслушать с несколько хмурым любопытством: не скажет ли на этот раз что-нибудь новенькое?

Увы, нет. Легенда была все та же. Слово в слово. Один лишь штрих: после неоднократных денежных реформ он просил теперь не полтора рубля, как можно было бы ожидать, а – два. Но и тут его можно было понять: жизнь вздорожала!

Однако ресурс времени у меня вышел, и я, не давая себе труда сколько-нибудь вежливого объяснения своему отказу, что-то односложно пробурчав, ушла.

Я досадовала. Досада перекрыла даже явный комизм ситуации. Я себя спрашивала: что же это такое было в моем лице, что человек этот через много лет, не узнав меня, среди массы лиц, бывших в ту минуту в поле охвата его взгляда и прошедших мгновенную, точную, тренированную проверку на пользу, какую можно из человека, оглядываемого, извлечь, – ибо это оглядывание и составляло, по всей видимости, каждодневное и основное его занятье, – безошибочно выбрал снова мое лицо?!

Ну я сейчас не помню, каким словом назвала тогда это свойство своего лица. Обидно мне было вот что: как это он с его натренированностью не узнал перемены во мне?! Ведь, черт побери, за эти годы я переменилась! Задумчивость, мечтательность, – этому просто не было места больше во мне, я стала трезвее и даже как бы злее?

Своим отказом я словно мстила ему за то, что не заметил во мне перемены! Я злорадничала. Но в то же время в каком-то срезе чувств мне было почти жаль, что так вышло. В каком-то срезе чувств я по-человечески понимала его и испытывала

нечто вроде сожаления при мысли о том, что вот ведь случайная его оплошность, скорее даже невезение (кто знает – встреть я его сегодня впервые, денег бы не дала, но по крайности облекла бы в сколько-нибудь достоверную, объективную форму свой отказ), заставят его усумниться в людях, в своем психологическом… умении?

Однако факт таков: мы разошлись с ним в разные стороны, на этот раз неудовлетворенные друг другом, и больше я своего… туляка… не встречала.

Стекляшка

В летний день в центре Москвы, случайно – голубь залетел в кафе-стекляшку, что стояло на широкой улице с мощным движением автомобилей, с узкими, оставшимися еще от старой Москвы, тротуарами, над которыми высились вперемешку современные и старинные здания. В "стекляшке", как всегда, много было народу. Кто еще стоял в очереди, вдыхая бесподобный запах жаренных в масле пирожков, счастливцы сидели уже за столиками, прихлебывая из чашек обжигающий бульон, заедая пирожком, поглядывая через безупречно прозрачные, толстые стеклянные стены кафе на двигавшуюся и шумевшую улицу.

Он не мог понять, почему он не может лететь, как только что летел, привольно и свободно, то взмывая вверх, то стремительно падая вниз, покачивая сильными крыльями в легком воздухе, хотя воздух этот оставался перед ним все так же прозрачен и ясен?! Преграда была невидима. Но она существовала!

Это было страшно. Птица, еще и напуганная видом многих людей, бросалась, разлетаясь, и через секунду ударялась со всего размаху о толстую прозрачную стену и падала с тяжелым стуком и шуршаньем сбившихся перьев. Тут же после паденья вновь взмывала неразумно и неразборчиво, бросалась в ту или другую сторону и снова падала.

Все происходило очень быстро и безостановочно. Люди растерялись и следили за этими отчаянными и страшными бросками, и, хотя кое-кто продолжал жевать, – находившийся в этом ограниченном невидимыми стенами пространстве человеческий разум – мгновенно пробегал невозможные возможности: как ему помочь?!

А как поможешь? Только – поймать. Но можно ли поймать даже и в ограниченном, но все же довольно большом пространстве – обезумевшую, рвущуюся на волю птицу?!

Ловких не находилось. Люди застыли и наблюдали, надеясь еще на простую удачу, что он сам случайно найдет выход (он существовал!) и вылетит на волю через открытый дверной проем.

Сбоку от стойки сквозь толстое стекло виден был маленький дворик с глухой стеной дома напротив и ярким куском свежей зелени перед ним, голубь ринулся туда и снова – удар.

С каждым ударом он, должно быть, все больше безумел от страха и боли.

– Убьется! – тихо сказал кто-то.

Тамара Дубина

Фаршированная рыба

Рыба удалась. В меру лука, соли, перца; юшка застыла туго, как хороший студень, и цвет у нее золотистый, потому что не забыла несколько ломтиков свеколки положить. Ну и секреты кое-какие, для особой сладости фарша. Просто сахару добавить можно, конечно, только будет не та сладость. Ну, может быть, есть один недостаток – чуть-чуть передала булки. Впрочем, это только на мой хозяйский придирчивый вкус, а так никто и не заметил. Ах, как красиво возлежала моя рыба на большом овальном блюде (тончайшего белого фарфора, с платиновым геометрическим рисунком по краю), словно живая, – широкая у головы, сужающаяся постепенно к хвосту, обложенная ярко-оранжевыми пятачками моркови и покрытая затейливым кружевом из репчатого томленого в юшке лука, когда я торжественно внесла ее из кухни и водрузила на праздничный стол! И горделиво обвела гостей глазами, наблюдая их восторженные взгляды и раздувающие ноздри, ибо запах заструился от рыбы такой аппетитный, такой острый – и такой волнующий и нежный одновременно, как запах детства, – что даже самые берегущие фигуру гостьи протянули свои тарелки: и мне, и мне положите! Триумф!

А ночью, перебирая подробности минувшего вечера Рош-ха-Шана, подумала я о своей свекрови, зихрона ливраха. Это у нее я научилась делать рыбу, да и не только рыбу.

Вот ведь странность – не у матери своей обучилась я всем поваренным премудростям, без которых дом не построишь, а у свекрови. И дочь моя, в свою очередь, у своей свекрови училась, не у меня. Не от того ли проистекает эта аномалия, что с матерью мы живем в детстве и юности, когда домашняя работа только тяготит; когда еда, в отличие от пищи духовной, в нашем мысленном списке предпочтений занимает чуть ли не последнее место; когда мы и ведать не ведаем, что это такое – желание вкусно накормить мужа, ребенка, гостей? Оно приходит к нам позднее, когда матери или уже нет в живых, или живет она где-то далеко, а свекровь – вот она, поблизости, а то и вместе с твоей семьей живет. Вот и берем уроки домоводства не у своей мамы, а у матери мужа.

Вообще-то считается большим несчастьем, когда приходится жить вместе со свекровью. Мне повезло. Я к своей свекрови никаких злых чувств, которые так отравляют существование, никогда не испытывала. Наоборот – только бесконечную благодарность за помощь и, может быть, даже любовь, с чуть снисходительным оттенком. И когда родители мужа стали беспомощными и переселились из своего благодатного южного города в нашу трехкомнатную квартиру в Эмске, моя жизнь не превратилась в ад, как часто бывает. Я ли такая хорошая, или старики сумели повести себя правильно, не знаю, только мы зажили очень даже мирно, при всех неудобствах и тесноте. И много полезных тонкостей в науке ведения дома я тогда от свекрови переняла. Но готовить рыбу я научилась у нее намного раньше.

– Дора, вот я тебе шикарную рыбу принес, – сказал свекор, рыжеватый, крепко скроенный и сильный не по возрасту мужчина, легко выжимавший пудовую гирю. Я слегка боялась его – по молодости лет; впрочем, мне казалось, что и свекровь тоже испытывает некоторую робость, компенсируя ее неожиданными вспышками неповиновения по пустяковым совершенно поводам.

Мы заглянули в плетеную соломенную корзину, именовавшуюся по-местному "кошелкой", и ахнули: огромный серебряный судак раскрывал рот, ловя воздух, двигал жабрами и бил хвостом! Когда я его, скользкого и трепещущего, брезгливо (мне не доводилось до того иметь дело с рыбой, тем более – с живой) вытаскивала из сумки, то уронила на пол, и он так стал изгибать свое сверкающее пружинистое тело поочередно то в одну, то в другую сторону, что казалось – вот-вот голова и хвост сомкнутся в круг. Это было похоже на пляску: он запрыгал, свиваясь и развиваясь, по всей кухне. Маленькая дочка моя испугалась и заплакала. Собравшиеся на кухне соседки одобрительно зацокали: ну, сильный, бандюга!

– Пусть уснет, – решила Дора Абрамовна, свекровь моя, и мы положили рыбину в огромный таз с водой на большой общественной веранде с черным ходом на тихий двор. Веранда когда-то, вероятно, служила для вечернего чаепития на открытом воздухе, о чем свидетельствовал оставшийся от тех времен большой дубовый стол с выцветшим оранжевым абажуром над ним. Ныне же веранда щетинилась велосипедами, корытами, бочками, ушатами, раскладушками и ножками стульев, составленных попарно сиденьями вместе. Молодые женщины и девицы – в квартире летом всегда у кого-нибудь были гости из хмурых безвитаминных северных городов – любили тут загорать на матрасиках и шезлонгах, подставляя свои бледные тела и лица с залепленными бумажкой носами под мощный поток южного ультрафиолета и поедая время от времени разную "фрукту" – клубнику, абрикосы, смородину.

В квартире, кроме родителей мужа, обитали еще семь семей. Восемь кнопок для звонка у входной двери, восемь лампочек в туалете, каждая со своим выключателем, восемь кухонных столиков. И расписание очередности мытья общественной площади, висевшее у окна на кухне... Мне все было в диковинку, я провела детство в плохонькой квартире "без удобств" на окраине Москвы, но – отдельной, и быт больших коммуналок знала только понаслышке. Еще и сатирических фильмов на эту тему не снимали: боялись. Шел 1952 год.

Я только две недели тому назад сдала последний госэкзамен и получила синенький университетский диплом. Назавтра

же после веселой вечеринки я отправилась поездом за нашей полуторагодовалой дочкой, которая на время последнего моего семестра была отвезена к родителям мужа в Ростов. Не тот Ростов, который Великий, а Ростов-на-Дону.

Тот Ростов, который "папа", темпераментные и веселожуликоватые жители которого имели свой особый неповторимый говорок: звук "г" с придыханием, а конец предложения как-то так выпевается, что не надо было быть профессором Хиггинсом или полковником Пикерингом, чтобы услышав этот говорок в любом месте необъятной страны, с ходу определить откуда родом его носитель. Тот Ростов, где бытовали свои особые словечки, где фанера называлась смешным словом "дикточка", а тапочки – уютным "чувяки".

Я сразу влюбилась в это шумное, жаркое, радостное торжество "простой" жизни. Мое до этого довольно аскетическое и строгое отношение к миру определялось тем, что я росла в очень бедной семье (но – интеллигентной, как непременно добавляет всегда мой сын, не без ехидной ухмылки), училась чересчур прилежно, а вынужденную синечулочность возводила в принцип. Рядом было столько примеров преуспевающего невежества; я привыкла презирать благополучие.

Ростов произвел переворот в моей душе. Как было не полюбить этот город, его летние вечера, кажущиеся после дневного пекла отрадой, когда нарядные жители (дамы – в пестрых крепдешинах и маркизетах, мужчины – в светлой чесуче, кто побогаче, или просто в полотняных костюмах) большими компаниями неспешно прогуливаются по главной улице. Гомон, смех. Магазины открыты допоздна. Покупают шампанское, едят мороженое, пьют газированную воду. "Вам с сиропом? Чистую?" – спрашивает дородная, но вполне "фигурная" ловкая тетя Шура, одной рукой наполняя граненый стакан пузырящейся влагой, другой отсчитывая сдачу. И моет, моет использованные стаканы, ставя их дном кверху над фонтанчиком с чистой водой и обмениваясь шутками-прибаутками со стоящими к ней в очереди. Такое впечатление, что она всех знает, и ее все знают, и что все тут – как бы один клан. Нынче мы пьем кока-колу, содовую, минеральную, каждый сам по себе, и это просто утоление жажды, а то было – действо, ритуал. Как же

назывались тогда эти тележки под балдахином, с которых продавали на улицах газировку? Забыла… Уходят детали прежнего быта, а с ними вымываются и слова. Прогресс!

Главная улица в Ростове носила имя Энгельса и шла параллельно Дону, отделенная от набережной еще несколькими улицами. Она тянулась через весь город, причем в направлении к вокзалу постепенно начинала сужаться и плошать и пересекала какую-то вонючую речку. Зато гуляя по Энгельса в другую сторону, можно было дойти до театра, построенного в стиле конструктивизма и имевшего форму трактора. Это было так необычно и по-новому красиво!

После недели жизни в Ростове изобилие перестало казаться мне "буржуазной отрыжкой", а воспринималось уже естественной и неотъемлемой чертой этого южного, смахивающего на постоянный праздник, быта.

Но вернемся к рыбе. Дора Абрамовна тогда, в свои пятьдесят с лишним, была женщиной очень еврейского типа – с красивым лицом, украшенным живыми и яркими карими глазами, унаследованными, кстати, и дочерью, и сыном ее. Но – с плоховатой фигурой: узкие плечи, покатая спина, полные бедра. А на фотографии двадцатых годов она выглядела совсем недурно сложенной красавицей, в модном белом платье "чарльстон" и белой же шляпке. В то время среди женщин ее среды спорт, утренняя гимнастика и всякие диеты, сберегающие фигуру, не были приняты, увы.

Свекровь моя не отличалась глубоким умом и тонким вкусом, образования не получила, но говорила по-русски правильно и без акцента, любила почитать что-нибудь, что посоветуют соседи, живо обсудить городские новости, нашумевший трофейный фильм. Телевизор тогда еще не был известен большинству населения; к нему она пристрастилась позднее. Бесхитростно-простодушная, открытая, приветливая – она вызывала приязнь и симпатию. К тому же была она гостеприимна, знала все про всех родных и знакомых, помнила, у кого когда день рождения, и в большой семье мужа считалась совершенно своей. Хотя по сравнению с деловыми и хваткими золовками казалась наивной и беспомощной. Да она и была такой, по существу, прожив всю жизнь за спиной мужа, кото-

рый не позволял ей работать и не очень распространялся на тему расходов-приходов и что почем. Хозяйство она вела экономно, хотя необходимости такой не было, отказывала себе во многом, приговаривая при этом "Купиш уехал в Париж". Не из скупости, а скорее из осторожности, чтобы не возбуждать зависть соседей. Впрочем, жизнь ее не всегда была такой уж безоблачной. Двое первых детей у нее умерли в младенчестве, и страх потерять следующих двух долго сводил ее с ума. Были и другие переживания.

В конце двадцатых годов свекра как удачливого нэпмана засудили и отправили в ссылку, имущество описали, и бедной Доре с двумя детьми на руках пришлось скитаться по родным-знакомым. Потом муж ее вернулся, но жить было негде, и они разместились в проходной комнате большой перенаселенной квартиры. Тогда случилась у нее операция по поводу внематочной беременности. Более оригинального объяснения происхождения этой патологии я никогда не слышала.

– Жили в проходной, всегда скорей-скорей, вот и загнали плод в трубу, – рассказывала она мне.

Но в конце концов жизнь устаканилась; семья получила две комнаты в коммунальной квартире в центре города, что по тем временам считалось немалым успехом, и зажила вполне благополучно – в смысле достатка. Была ли свекровь моя счастлива? Замуж Дора вышла не по любви, а уступив напору сильного и волевого молодого коммивояжера "из совсем простой семьи", влюбившегося в нее без памяти как раз в то время, когда она была в отчаянии. У нее до того был серьезный роман со студентом; но родители его посчитали брак "мальчика" с молоденькой продавщицей мезальянсом и увезли сына в другой город. Дора смирилась – и пошла под хупу.

Муж заботился о ней, и она всецело была предана ему и детям, но в душе все же считала себя предназначенной для более "возвышенной" жизни. Она любила читать романы, муж читал только газеты. Ей бы в театр хотелось иногда выходить, свекор же предпочитал футбол...

Позднее, когда появились внуки, она самозабвенно помогала их пестовать: приезжала на роды, брала к себе в Ростов на месяц-другой болезненного и "худого" малыша для по-

правки; сидела лето с внуками на подмосковной даче. Довести ребенка до нужного выгляда и веса она умела как никто, четко зная, что полезно, а что только "закладывает желудок".

Предметов ее гордости было три. Во-первых, место рождения – Дора родилась в Лондоне, куда ее отец, отличный портной, эмигрировал в начале 90-х годов XIX века, а затем, под натиском жены (как не вспомнить Шолом-Алейхема – "как можно жить в стране, где говорят "кичен" про кухню?!") вернулся в Ростов. Во-вторых, она гордилась своей дочерью и ее мужем, известным физиком, их "светскими" знакомствами (академики, профессора!) и любила даже во время своих наездов в Москву или Дубну встрять в разговор "за физику", чем раздражала дочь ужасно; зато, вернувшись в Ростов, Дора рассказывала родственникам, округлив глаза, новости "про Сахарова" или "про это несчастье с Ландау – подумать только, сам разбился, а ведро с яйцами, что вез для племянницы в Дубну, уцелело!", чем создавала у родственников эффект причастности к иной жизни.

Ну, и наконец, Дора очень вкусно готовила и повседневную еду, и праздничную, любила это дело, постоянно осваивая новые рецепты тортов, кексов, печенья и прочей выпечки. У меня до сих пор хранятся пожелтевшие записки ее, торопливо набросанные карандашом на половинках тетрадного листа в косую или в клеточку под диктовку хозяйки где-нибудь в гостях. Все собираюсь привести их в порядок, отпечатать... А таких соленых арбузиков, как она заготавливала на зиму в бочке, больше никогда я уже не пробовала.

Бывало, после очередного большого родственного приема (заканчивавшегося пулькой или игрой в лото, причем – на деньги, народ все был азартный) какая-нибудь из шести сестер ее мужа говорила:

– Дора, твой наполеон яблочный – бесподобный! Ты мне сделаешь его на мой день рождения!

И Дора делала, и несла, и выслушивала со скромным достоинством похвалы гостей...

Давно уже заметила я, что наше самоуважение проистекает не от истинных наших добродетелей и заслуг, а от того, что в чем-то мы превосходим окружающих. Но не буду отвлекаться, а вернусь к рыбе.

Впрочем, что же рыба – не рецепт же и порядок приготовления приводить? Да в тот мой приезд я еще ничего толком и не освоила, только приглядывалась да запоминала – как почистить, как осторожно – чтобы, не дай Бог, желчь не разлились! – вынуть внутренности, как разделать на куски, чем сдобрить рыбный фарш. И дома уже, на своей кухне, постепенно, раз от раза по крохам накапливая опыт, через позорные неудачи – то пересолю, то недосолю, то фарш не держится, – пришла к умению.

Ну, подумаешь, скажут иные, какое дело важное – рыба фаршированная! Можно ведь и готовую консервированную "Гефилте фиш" в стеклянной банке купить. А я скажу на это – профанация! Там, в банке, просто-напросто рыбные котлеты в жидкости плавают! А я, делающая настоящую рыбу, не только за вкусом и видом гонюсь – я сохраняю традицию. Да!

Тут уже, в Израиле, я имела удовольствие убедиться, что Фаршированная Рыба – это не так себе, а знаковое блюдо еврейской культуры. Однажды я выступала в раввинатском суде как свидетель еврейства дальней родственницы мужа, Ляли. Эта Ляля когда-то записалась в паспорте русской – из конъюнктурных соображений. Карьеры особенной она не сделала, а вот здесь, в Израиле, ее былая "ловкость" чуть не обернулась трагедией для внучки ее, Лерочки. Лерочка уже два года снимала квартиру вместе с хавером своим Шаем, и приняли они решение пожениться. Чего тянуть? – испытали друг друга при разных поворотах, родители с обеих сторон согласны, Шай на работе преуспевает, Лерочка курсы секретарш заканчивает. Вот тут-то и выплыло это несчастное обстоятельство с Лялей. Если Ляля – нееврейка, то и дочь ее Соня, и Сонина дочка Лерочка – тоже нееврейки. Такая вот цепочка протянулась от глупости, совершенной полвека назад.

Шай-то был согласен ехать заключать брак на Кипр, но вся его большая семья, происходившая из Туниса, воспротивилась. Не то, чтобы семья была очень религиозная, но – традиционная. Особенно Николь, мать Шая, возражала, а ослушаться мать Шай никак не мог. У тунисаев с этим строго.

Пришлось Соне с Лялей обращаться в суд, искать свидетелей. Позвонили всем родственникам. И тут выяснилось, что я была некогда знакома с матерью этой Ляли, Анной Захаров-

ной, и ее еврейство у меня сомнений не вызывало. Я поехала в назначенный день в Нетанию.

– Вы хорошо знали эту Анну-бат-Захаровну? – спросил меня строгий раввин, предварительно уверившись в моей собственной принадлежности к избранному народу (говорите на идиш? как звали мать? отца? деда по матери? бабку? в каком местечке они жили?).

– Да нет, я только один раз Анну Захаровну видела. – Я говорила все, как оно было.

– Почему же вы знаете, что она была еврейкой?

– Ну, выглядела она так... И свекровь моя, Дора Абрамовна, с ней дружила...

– Это еще ничего не значит – дружила! Что еще можете сказать?

И тут я вспомнила одну деталь. В тот мой приезд в Ростов пошли мы со свекровью и маленькой моей дочуркой в один из дней в гости – или по делу, уж не помню, кажется, что-то надо было отнести, – к этой самой Анне Захаровне. У нее на попечении тоже был оставлен на лето внук, чуть постарше моей дочки. Мы еще смеялись: жених! Дети игрались, а нас хозяйка угостила... фаршированной рыбой. И вот это я и сказала раву. Все заулыбались.

Дело было решено положительно.

У Шая и Валери – так зовут Лерочку на французский манер в семье ее мужа – растет прелестный бутуз.

Платье для Золушки

– Никогда не начинай пудриться с носа! Примета плохая – с носом останешься! – поучает меня Аня.

Я до этого вообще ни разу не пудрилась, но Анька убеждена, что без пудры никак нельзя. И терпеливо показывает, как набирают пудру на ватку и нежными касаниями наносят на лицо. Она даже отдает мне свою старую пудреницу и отсыпает туда розоватой приторно пахнущей пыльцы из большой

коробки. Затем, посмотрев на мои руки, она заявляет, что мне совершенно необходимо сделать маникюр. Я отнекиваюсь, но она взвивается:

– Ты что! В таких отношениях руки – все!

Я покорно соглашаюсь. На самом деле идти в парикмахерскую и разрешить чужой тетке резать кривыми ножницами заусеницы для меня равносильно добровольному восхождению на эшафот. И очередь еще высиживать...

Как необъезженная лошадь протестует против уздечки и седла, так все мое существо противится Анькиным требованиям наведения красоты. И теоретически я тоже не согласна с ней, ведь я исповедую "естественность и верность природе", в духе Жан-Жака Руссо.

Это удобная позиция – можно жить как живешь, не тратя времени на эту презренную суету с нарядами и прическами. Тем более, что денег на наряды и взять неоткуда.

Но сегодня я вынуждена подчиниться Ане. Роли наши поменялись. Это раньше, пока мы учились в школе, я была главной, потому что Анька в старших классах училась плохо, и я по долгу дружбы вечно подтягивала ее то по математике, то по русскому. И вот теперь она неожиданно получила власть надо мной. Упиваясь своим превосходством над моей неграмотностью в науке страсти нежной, она поучает, командует, приказывает. Я же, презирая себя в душе за измену принципам, принимаю ее наставления...

На карту поставлено слишком много.

Мы с Аней знакомы очень давно.

Анька Шерман была, конечно, самой красивой девочкой в. 4-м "Б", а может быть, и среди всех остальных четвертых и даже пятых классов.

Я увидела это сразу же, как только завуч привела меня – новенькую – в середине урока естествознания и представила учительнице и классу. Пока она говорила что-то такое про заботу партии и правительства – и лично товарища Сталина – о детях, повернув меня, одеревеневшую от смущения, лицом к партам, я несмело подняла глаза и в сплошном месиве сорока белобрысых голов и бледных невыразительных лиц над за-

мызганными пионерскими галстуками вдруг наткнулась взглядом на лицо особенное, яркое, – я еще не умела тогда определить его как "прекрасное" — в обрамлении черных кудрей. И не только лицо. Все в этой девочке поражало своей непохожестью на остальных.

Такие девочки просто не водились на нашей бедной московской окраине! У нас у всех волосы были расчесаны на прямой пробор и туго заплетены – у кого в толстые, у кого в жидкие, но – косы, а у нее были вьющиеся и свободно спускающиеся почти до плеч пышные волосы, без намека на обязательный пробор; надето на ней было не застиранное бумазеевое платье как на прочих девочках – и в этом классе, и в том, где я училась прежде, в том числе и на мне, – а платье из темно-красной бархатистой ткани в рубчик, да еще с белым кружевным воротничком, будто она пришла на елку в Дом техники или в театр! А лицо! То ли оно было подсвечено рефлексами от ее вельветового платья, то ли на щеках ее разлит был нежный румянец на фоне смуглой кожи, только оно и цветом резко выделялось среди прочих блеклых, с зеленоватым оттенком, лиц.

Мы подружились. Скоро, правда, выяснилось, что общих интересов у нас не так уж много. Книги, которыми я зачитывалась и давала ей прочесть, она держала так долго, что я не знала, что и подумать. На каток Аня не ходила, в Третьяковку тоже было ее не затащить. Но она была так красива, что мне было приятно глядеть на нее и лестно считаться ее подругой. К тому же мы обе тогда были влюблены в одних и тех же – сразу в двух – мальчиков из нашего 4-го "Б", обе не могли решить, какой из двух лучше, и это составляло предмет наших живых перешептываний на переменах и питало нашу дружбу.

Самое смешное, что нашу влюбленность инициировала классная Анна Григорьевна. Объясняя на уроке, какие бывают породы лошадей, она для наглядности привела примеры прямо "из жизни":

– Ну, вот Саша Леонидов – ведь он вылитый скакун! Интеллигентный, воспитанный, тонкий. А если поискать – и она обвела класс глазами – то и пример рысака найдем. Вот Гриша Полетаев – чем не рысак! Крепкий, выносливый, надежный!

Класс зашумел. Второгодника Васильева ребята определили в тяжеловозы... А мы с Анькой втрескались сразу и в "скакуна", и в "рысака". Наши шансы на ответное чувство были примерно одинаковыми: она была красавица, а я – круглая отличница. Мальчишки эти кружили возле нас, и тоже, кажется, не могли решить, кто в кого влюблен. Еще немного, и началась бы у нас замечательная дружба вчетвером. Но пришла война. Эвакуация разлучила нас с Аней на целых три года. А мальчики эти вообще исчезли из нашей округи и, следовательно, из нашей жизни.

– Губы красить не будем, – говорит Аня – так ты выглядишь нетронутой девочкой. А у вас уже было?

Она пытливо заглядывает мне в глаза. Я краснею, но молчу, как пленный партизан. Анька обижается. Она права, ведь дружба предполагает откровенность. Но я-то знаю, что если о чем-то сокровенном начать рассказывать, то его можно п е р е б о л т а т ь. А я не хочу!

У меня это впервые, когда не только я влюблена. Когда я чувствую, что тоже нравлюсь. Да и такая ли уж настоящая дружба у нас с Анькой, чтобы в с е м делиться? Выплывают старые обиды. Я вспоминаю тот несчастный бидон из-под молока, набитый трико... И перевожу разговор на прическу. Чтобы снять возникшую напряженность, я прошу совета:

– А как ты думаешь, мне оставить кок? Или заплести косы и выложить венком?

Это чистейшее лицемерие: я уверена, что она посоветует обрезать волосы, сделать шестимесячную завивку, и потом перед каждым "выходом" завивать волосы в локоны щипцами, а я знаю, что я для таких перемен не дозрела, и даже желание казаться в е г о глазах красивой не подвигнет меня к такому насилию над собой. Аньке-то хорошо – у нее волосы сами вьются, и как она их ни причешет, ей все идет. Хотя, конечно, она сейчас не так оглушительно красива, как была до войны. На мой взгляд.

Как только мы вернулись из эвакуации в военную еще Москву, я тут же побежала к Ане. Они, оказывается, эти годы провели в Ташкенте и вернулись месяца на три раньше, чем мы с мамой. И я, и Аня – обе мы обрадовались встрече, обнимались,

рассматривали и расспрашивали друг друга. Анька привела меня в свой восьмой класс. Это была другая школа, не та, где мы учились до войны. Количество школ тогда резко сократилось: одни были превращены в госпиталя, другие – в ремесленные училища, и учеников в старших классах тоже было мало. Многие наши сверстники после семилетки пошли работать.

С виду дружба наша продолжалась как ни в чем не бывало. Мы сидели за одной партой, домой после школы шли вместе – нам было по пути, делали вместе уроки, Но это только с виду. Анька сильно изменилась за эти три года, и многое в ней меня сперва огорчало, а потом стало раздражать. Да и красота ее, которая раньше так меня восхищала, стала какой-то грубоватой, что ли. У нее сделались слишком полные губы, и когда она забывалась, нижняя губа слегка выворачивалась, и становилась видна розовая слизистая. Лицо ее принимало от этого такое выражение, что мне неловко, стыдно было смотреть, как бывает, когда нечаянно увидишь писающего в кустах мужчину... Анька знала свой недостаток и губы подбирала, но это придавало ее лицу нелепую, неестественную значительность, что мне тоже не нравилось ужасно. И фигура у нее изменилась. Мы все тогда, в конце войны, были военными недокормышами, а Анька приехала из своего Ташкента вполне оформившейся девой – с грудью, бедрами, полными руками, белой шеей... И одета была – не чета нам. Тогда были в моде синие бостоновые пальто с серым каракулевым воротником и из этого же меха шапки, которые назывались кубанками. Из всего нашего класса только у Аньки и был такой невероятной красы комплект, пальто с кубанкой...

Как ни странно, но ни я, и никто из соучениц наших Аньке не завидовал: считалось естественным, что такой красивой девчонке и одеваться подобает особенно. Вообще-то она своими нарядами не кичилась, была доброй, с легким характером, и многие тянулись к ней. Одна девочка в классе, Таня, даже Аньку обожала, а меня – как признанную главную подругу своей пассии – ненавидела и всячески поносила.

Разумеется, не столько новые черты в облике Ани мешали моей с ней дружбе, сколько до отвращения повышенный интерес Аньки к делам любовным. Будто в жизни ничего друго-

го не существует! Я, конечно, тоже не осталась равнодушной к романтике любви: пристрастилась к операм, бегала в Большой чуть не каждую неделю, упивалась Байроном, Лермонтовым, романы толстые ночами читала... А ее интересовали совсем другие стороны любви, и в книгах ее занимали такие описания, от обсуждения которых я тогда предпочитала стыдливо уклоняться. Не то, чтобы меня э т о не волновало. Наоборот. Но предаваться подобным мечтаниям я себе не разрешала: потом болели спина, голова, появлялась разбитость, несобранность. Это мешало заниматься.

А Анька жила в своих фантасмагориях. У Мопассана она вычитывала все т е с а м ы е места, хотя вообще читала мало; какие-то малоизвестные рассказы Леонида Андреева раскопала – и мне подсовывала. Кто ее наставлял, я не спрашивала. Постепенно, видя, что я вяло откликаюсь на ее попытки втянуть меня в обсуждение этих жгучих проблем, она нашла себе в классе других собеседниц, ту же Таню.

Тогда у нас было раздельное обучение, и Анька тосковала в нашей девчачьей школе. В Ташкенте у нее были мальчики, с которыми она г у л я л а, и они дрались из-за нее, писали записки, назначали свидания. Вот это была жизнь! Она тягуче рассказывала: "Он сказал... я сказала... а он говорит..." Я томилась, злилась. Сядем, бывало, заниматься алгеброй, уже выявилось ее отставание, она простейших преобразований не умела сделать, а она снова про своих мальчиков... А время идет, опять ничего не успели. Сколько книг я не прочитала из-за этих моих чуть не ежевечерних занятий с тупой Анькой! Впрочем, я не уверена, такая ли уж она тупица. Лентяйка? Тоже нет, ведь она все в доме сейчас делает. Неинтересно ей просто было учиться, и я не сумела ей передать чуть-чуть своей души.

Анька бросила школу в середине десятого класса. Они в семье решили, что экзамены на аттестат зрелости лучше ей сдавать в вечерней школе рабочей молодежи. Я отговаривала, но в душе была рада. Я, как говорили учителя, "шла на медаль", и отвечать еще за Анину успеваемость, тянуть ее – у меня не было ни времени, ни желания.

И вот – я уже два года как студентка, на третий курс перешла, а Аня только-только этот свой аттестат зрелости получила.

– Ань, а когда мы платье-то примерим? – спрашиваю я. Ведь, собственно, "уроки обольщения", которыми меня Аня достает, свалились на меня как бесплатное приложение к обещанию дать мне на один-единственный вечер вожделенное штапельное платье, то ли трофейное, то ли из американских посылок. Война три года как кончилась, а в магазинах все равно ничего не купишь. Но у Аньки есть все.

– Да оно грязное валяется, вот выстираю, выглажу, тогда и примеришь. Еще сто раз успеем! – говорит Аня и неожиданно добавляет:

– Завидую я тебе! Меня бы кто пригласил! Может, найдешь и мне курсантика?

Шутит? Ведь у нее полно ухажеров, я знаю, и один даже считается женихом. Я смотрю на нее с изумлением. Она улыбается, а в глазах – смятение, и губы чуть-чуть дрожат. И ресницами своими длиннющими – хлоп, хлоп. Тут вдруг я начинаю что-то понимать про нее. И про себя.

Уйдя из школы, Анька, как говорили девчонки из класса, "сошла с катушек" – с головой нырнула в развеселую жизнь. Я тогда редко с ней виделась, но Таня у нее часто бывала, и я краем уха слышала ее восторженные рассказы на переменах: "У Ани-то нашей – толпы поклонников, она танцевать замечательно научилась, шикарное такое платье справила..."

Меня это все мало интересовало тогда, и только уже став студенткой-первокурсницей, я слегка познакомилась с этими "толпами". Однажды Аня уговорила меня пойти с ней на танцплощадку, считая диким, что я ни кем не "гуляю". Я слово это ненавидела, в нем для меня воплощалось все то пошлое и отталкивающее, что было – нет, не в любви, – а в разговорах о ней, с присвистом и особым блеском глаз. Но "дружить" и даже... страшно сказать... полюбить... ходить вместе в театры, в консерваторию, а то я все одна да одна – ах, как мне этого хотелось... На курсе какие-то невнятные отношения с двумя-тремя симпатичными ребятами начинались, но без продолжения, вот я и размечталась, что Аня меня познакомит с кем-то, кто тоже тоскует от одиночества, и окажется, что он – это Он...

Я с этой танцплощадки еле ноги унесла. Вся Анькина компания – и девушки, и ребята – показались мне и слиш-

ком взрослыми, и чересчур вульгарными, и слегка даже приблатненными; остроты их – вроде "насчет картошки дров поджарить", других не запомнила, – терзали мой слух. Скучно мне было, хотя танцевали они отлично, особенно лихо запрещенный тогда танец линдо "отрывали". Потом я у Ани полюбопытствовала, кто они такие, что за люди, где учатся. Она засмеялась:

– Учатся! Они и так умеют жить!

Хотелось мне в ответ злорадно спросить:

– Что, с бидончиками ходят? – но не посмела.

С этим бидончиком такая история была. Еще война не кончилась, мы в девятом классе учились, продукты по карточкам, а промтовары – по ордерам, и то не всякие и не всем. Я ужас как обносилась, и вот, по совету мамы обратилась к Ане с просьбой: помоги. Отец ее заведовал промтоварным магазинчиком на Таганке. Мы пошли к нему, а у Ани в руках – сумочка и бидончик небольшой, для молока. В магазине Аня велела мне подождать, зашла в кабинет отца, потом вышла и сунула мне бидон в руки: неси и ко мне не подходи.

Пришли к ней домой порознь, она открывает бидон, а там – туго свернутые голубые трико. Так в то время назывались трикотажные женские панталоны. Я удивилась:

– А зачем в бидоне?

А она в ответ:

– Ты что, не знаешь, что такое ОБХСС?

Я знала. Так назывался отдел по борьбе с хищениями и спекуляциями.

Мне неприятно было способствовать хищениям и спекуляциям, но и отказаться было невозможно, мое белье все штопано-перештопано, в бане раздеться стыдно. Я купила три пары, заплатила, сколько Анька сказала, а когда пришла домой и на этикетку взглянула – оскорбилась так, что заплакала. Она с меня тройную цену взяла! Значит, я с ней сижу по вечерам, то сочинение помогаю написать, то геометрию объясняю, и все бескорыстно, мы ведь подруги, как же иначе! А с меня – тройную цену! Без того, чтоб на мне заработать, они не могут! Ух,

как ненавидела я в тот момент и Аньку, и ее отца, и торгашей-спекулянтов – всех – заодно!

Недели две я к ней заниматься не ходила, какие-то предлоги находила, а вот прямо объясниться – гордость не позволяла. Потом злость прошла, и жизнь вернулось в свое русло. Я снова приходила с ней позаниматься, она так жалостно умела попросить...

Я смотрю на Аньку, которая пытается обратить свои слова насчет "курсантика" в шутку – напялила шляпку, танцует, трясет кудрями, хохочет, – и понимаю, что я должна ей помочь. Ведь ясно, ей необходимо из ее торгашеского мирка вырваться. А я – подруга называется! – за два года не догадалась ни разу ее на наши студенческие вечера позвать! Она не напрашивалась, а ведь ее надо было спасать, да!

И я принимаю решение. Я набираю е г о номер – он дома, он слушает.

– Это я. Послушай, вот Павлик твой, он с кем на выпускной вечер придет, не знаешь? Один? Тут вот со мной подруга... нет ты ее не знаешь, ну, школьная... Может, Павлик ее пригласит...

В ответ я слышу насмешливое:

– И давно ты сватовством начала заниматься?

Я смущаюсь, лепечу что-то. Но он вдруг говорит:

– Впрочем, почему бы и нет? Мы как раз сегодня вечером все идем в клуб трофейный фильм смотреть, вот и приходи со своей подругой, познакомимся. У Охотного, как всегда.

Выпускной вечер в военной Академии, на который я приглашена – это такое для меня необыкновенное событие, я так счастлива. Но и волнуюсь. Ведь я понимаю, все не просто. Меня п р е д с т а в л я ю т друзьям. И будут придирчиво отмечать все мои промахи и удачи.

Я загадала – если пойду в Анином платье, то все сложится хорошо.

С платьем вышло нежданно-негаданно. Это случилось неделю назад. Я как раз ломала голову – в чем идти на вечер? Хоть плачь, не в чем. Единственное более или менее прилич-

ное мое платьице из кашемира – оно ведь зимнее, а жара стоит страшная, не наденешь. Каникулы, все разъехались, не к кому за помощью обратиться. И вдруг – стук в дверь. Открываю – на пороге Анька, бледная, растерянная.

– Ты одна дома? – спрашивает.

– Одна, а что?

– На, спрячь, – и передает мне сумочку.

Я догадываюсь, что происходит. Это не впервые. Анька к нам то шубу, то отрезы какие-то приносила – на время. Вообще-то папа мой не разрешает ничего прятать, но мама не умеет устоять перед просьбой и тихонько всякий раз куда-нибудь засовывает.

– А что там, Ань?

– Ну, золото... украшения мои... деньги тоже.

Я прячу сумочку под свой матрас, и мы с Аней садимся поболтать. Мы не виделись давно, у меня весенняя сессия была трудная, и вообще теперь я часто вечерами не одна. А у нее – жених, и скоро свадьба. Она сделала операцию, удалила гланды, дышит носом, рот всегда закрыт, она похудела. Она потрясающе красива!

И тут меня осеняет. Я рассказываю про свою беду.

– Да какая беда! Золушка ты моя! Я тебе платье из штапеля на твой бал одолжу! – смеется Анька.

– А что это – штапель? – пугаюсь я.

– Ткань такая новая, очень модная. Пошли прямо сейчас ко мне, покажу.

Вот так и начался – под знаком "платья для Золушки" этот новый всплеск нашей странной, с перерывами, дружбы. Платье же действительно оказалось необыкновенным, из мягкой струящейся ткани, притом почти не мнущейся! А расцветка! Издали смотришь – оно все в крупных цветах, синих, белых, голубых. А вблизи – никаких цветов, только мазки небрежные. Чудо!

Я прикладываю платье к себе, бегу к зеркалу. О! Это ты ли, Маргарита?!

Но Анька так просто платье не дает. Только при условии, что она "приведет меня в порядок".

Вечером мы с Аней едем, как и договорились, на свиданье. Но увы – Павлик, на которого был расчет, пришел не один, а с девочкой, и весь мой план сорвался. Ну, посмотрели кино – ничего особенного, сентиментальность немецкая. Потом мой "курсантик" провожает домой нас с Аней. Сперва они меня доводят до дома, а потом он уходит с ней... Мне хочется кричать. "Дура, дура, что ты сделала!" – твержу я себе, ворочаясь с боку на бок всю ночь. Конечно, он влюбится теперь в Аньку. И не я, а она будет его дамой на выпускном балу... Под утро, после страшных мук, я смиряюсь. Видно, мне не суждено счастье. Ну, и ладно, я уйду в науку. С головой! И – никакой любви. Никогда. Я буду много работать, сделаю открытие, очень важное. Да. И он узнает об этом. И когда мы встретимся – случайно – он скажет... Но тут я впадаю в счастливый молодой крепкий сон, так и не узнав, что он скажет.

После замечательного выпускного вечера, где я была в Анькином дивном платье (оно не прошло незамеченным, один из новоиспеченных лейтенантов, пригласивший меня на танец, восхитился: "Ого! У вас платье расписано в манере импрессионизма!", чем поверг меня в страшное смущение, – про такой "изм" я еще ничего не знала, картины эти томились тогда в запасниках), было еще много других – не хуже – вечеров. И однажды я наконец решилась и осмелилась спросить, какое впечатление произвела на н е г о Анька. Он не сразу вспомнил ее. Или притворился? В конце концов, он сказал:

– А, Аня... Ну что, девочка с сучьим запахом.

– ???

– Это словечко из лексикона моей квартирной хозяйки. А Бунин бы сказал изящней – "легкое дыхание". А Пруст... Впрочем, не важно. Не понимаю только, что у вас за дружба.

– А что понимать? Мы со школы еще, с четвертого класса дружим. И она такая красивая! – закинула я зонд.

– Да скучно с ней, говорить не о чем.

Я обрадовалась, черное облачко ревности, которое все это время клубилось где-то на горизонте, вмиг рассеялось. Но возникла непонятная печаль. То ли Аньку стало жалко, то ли вообще Красоту.

Аня вышла замуж за того своего жениха, торгового человека – теперь бы сказали "за бизнесмена", – родила дочку, сделалась дамой, красивой, ухоженной, в бриллиантах. Года через два мужа посадили. Когда он вернулся, то стал ее ревновать, бил сильно. С трудом она развелась, вышла снова замуж за человека из окружения отца, много старше себя, состоятельного и положительного, так говорили. Потом я уехала из Москвы и Аню больше не видела.

Где-то ты теперь, Анька? В Америке? В Канаде? В Москве, за новым русским? Принесла ли тебе красота счастье? А я твои уроки, которые поначалу презирала, усвоила. В одежде я копирую тебя. И никогда не начинаю пудриться с носа.

Анька, Аня, Анечка, я тебя не спасла. Теперь-то я знаю, что спасти может только тот, кто сильно любит, и то это не всегда удается. Я же недостаточно тебя любила.

А может, это меня надо было спасать?

Лорина Дымова

Никодим и Фиолета

Много раз он задумывался: почему жизнь у него складывается совсем не так, как у его друзей, сослуживцев и даже вообще малознакомых людей?

Те всегда знали, чего хотят, шли в одном-единственном выбранном направлении и, добившись желаемого, успокаивались на время, чтобы по прошествии определенного срока снова поставить перед собой цель и снова упорно ее добиваться. С ним же, увы, ничего подобного не происходило, он никогда не мог точно сказать, чего хочет: того или этого, а может быть, вообще ни того, ни другого. Скорее всего, это объяснялось его двойственной натурой: в нем как бы жило два разных человека, и частенько он всерьез из-за этого огорчался – ведь никогда не мог он предвидеть, какая именно его половина взыграет в том или ином случае.

Он размышлял и приходил к выводу, что начало этому необъяснимому явлению положил не кто иной, как его собственная родная мамаша вкупе с папашей, когда сам он был, так сказать, еще только в проекте. Отец желал, чтобы его намечающийся сын звался Николаем, как гордость их заводской команды хоккеист Николай Позабылкин, забивший в историческом матче с районной сборной четыре шайбы, хотя судья был подкуплен и одну не засчитал. Мать же еще до того, как

вышла замуж, ни минуты не сомневалась, что у нее будет сынок Димочка – черноглазенький, со светленькими колечками на лбу. В результате долгих и изнурительных споров, чуть не разрушивших семью, молодые романтики в конце концов все-таки пришли к компромиссу: сына назвали Никодимом – и надо отдать им должное: более нелепого имени в наше время придумать было невозможно.

С этого все и пошло: в Никодиме прочно обосновались два человека, совершенно непохожих, с разными характерами и вкусами, причем одному из них, веселому и кудрявому Димке, везло удивительно, а мрачному и подозрительному Николаю – как утопленнику. Конечно, если бы Никодиму удалось приноровиться к такому положению вещей, он вполне мог бы извлекать из него пользу, даже иметь кое-какой навар, выпуская на сцену то одного, то другого. Например, пытаясь понравиться какой-нибудь девушке, надо было задвинуть Николая куда подальше или вообще отправить на соседнюю улицу пить пиво, а с девушкой разговаривал бы исключительно Дима. Об Алле Пугачевой, например, или о том, как одинокому мужчине бывает тоскливо вечерами, – у него это получалось отлично, без дураков, и женщинам нравилось. Но в том-то все и дело, что Николай не желал никуда уходить, а хмуро сидел с ними на скамейке и время от времени очень некстати встревал в разговор. "Может, пойдем ко мне? – ни с того ни с сего перебивал он девушку, рассказывающую о вчерашнем телевизоре. – Чего зря резину-то тянуть?"

Вот тебе и Алла Пугачева.

Девушка, конечно, обижалась, начинала возмущаться, говорить, что она "не такая", что и он ей казался не похожим на других, а оказывается… тут девушка делала паузу, а потом храбро заканчивала мысль: "А оказывается вы такой же хамоватый, как все!" В итоге рыбка срывалась с крючка, и Никодим плелся в одиночестве к ларьку пить пиво, слушая по дороге взаимные обвинения Димки и Николая и даже не пытаясь их рассудить.

Классическим же примером того, как раскачивали в разные стороны Никодимову жизнь два поселившихся в нем непохожих и неуживчивых человека, могла служить та история с

самолетом, которая случилась года два назад и которую Никодим до сих пор не мог забыть. А как такое забудешь?

Его срочным порядком послали в Челябинск, и шеф подписал командировку в день, когда надо было вылетать. Тонька, которая ведала командировками, только пожала плечами, дескать, сегодня улететь и не думай, где я тебе билет возьму? Да и на завтра вряд ли получится. Бронь в гостиницу есть, а билет – уж извини!

Никодим, которому до зарезу завтра вечером надо было оказаться перед телевизором, хоть дома, хоть в Челябинске – смотреть финальный матч Франция – Германия, рванул на моторе в билетную кассу и уперся в громадную очередь, отстояв которую, увидел через стекло удивленно вскинувшиеся ниточки бровей и насмешливо скривившийся накрашенный злой рот:

– Эка, молодой человек, очнулись! На неделю раньше стоило побеспокоиться!

– Как это на неделю раньше? – взревела та половина Никодима, что звалась Николаем, отодвинув в сторону Дмитрия. – Знаю я вашу лавочку! Билетов нет, а самолет пустой полетит? Не в Сочи прошу – в Челябинск! Червонец, небось, хочешь, стерва?

И, сшибая всех попадающихся на пути горемык с подрезанными крыльями, жаждущих улететь, он, пропуская ступеньки, взмыл на второй этаж, где находился кабинет начальника билетной кассы – тучного румяного мужика с бабьим голосом и лживыми глазами. Никодим пару раз уже имел с ним дело и знал, что это дохлый номер: "Голубчик, – блеял жалобно начальник и разводил руками, – ну что я могу поделать, если людям не сидится на месте? Летают, летают. Я вас, голубчик, конечно, запишу в мой личный списочек, постараюсь что-нибудь найти, специально для вас, но твердо обещать не могу. Звоните, вот телефончик!" И, часто моргая и отводя рыжий взгляд, протягивал заранее заготовленный ровненький бумажный квадратик с номером телефона, который в дальнейшем всегда оказывался занят, и Никодиму ни разу так и не удалось услышать по нему ласкового бабьего голоса.

Буквально на пороге кабинета, Никодим резко затормозил.

– Купи цветы и жди обеда, – твердо скомандовал Дима.

– Еще чего! – взъярился Николай и выругался, правда, про себя, одними губами.

– Я сказал! – угрожающе процедил Дима. – Футбол смотреть хочешь? Или в аэропорту в это время будем толкаться?

– Ладно, – сдался Никодим и, показав Николаю кулак, направился к метро за цветами.

– Вот этот бери, – показал Николай на метелку не только без цветов, но почти и без листьев. – Рупь всё удовольствие.

– Если улететь хочешь, не жмись, – строго сказал Дима и остановился у букета за трешку.

Никодим покорно вынул кошелек и с сожалением проследил, как его командировочная трешка исчезает в бабкиных ловких руках.

С букетом позавчерашних гвоздик он дождался обеда, когда билетная команда заперла дверь в кассу, и, дав аэрофлотским красавицам десять минут на утоление первого голода, постучался в дверь служебного входа.

– Вам кого? – недовольно спросила в приоткрывшуюся щель рыжая кассирша, которую Никодим видел в одном из окошек.

– Мне Светлану, – наобум сказал Никодим, справедливо рассудив, что если каждая вторая из его знакомых – Светлана, то и среди кассирш должна найтись хоть одна.

– Свет, это к тебе, – сообщила рыжая своей товарке, скрытой пока от взора, и ушла, оставив дверь приоткрытой.

– Кто это еще? – удивился женский голос, и Никодим увидел, как из-за стола поднимается и направляется к нему длинная, как мачта, подстриженная под мальчика женщина. Нос у нее тоже был длинный, и вообще она невероятно смахивала на Буратино.

"Ну и уродина!" – ахнул Николай.

"Не жениться!" – отрезал Дима.

– Светик, привет! – весело сказал Никодим. – Это тебе! – И протянул гвоздики.

– Вы кто? – изумилась Света.

– Не узнаешь? – укоризненно покачал головой Никодим. – Мы во вторник в метро вместе ехали.

– Во вторник? В метро? – еще больше удивилась девушка. – Да я во вторник отгул брала, отсыпалась.

– Значит, в понедельник, – не растерялся Никодим. – Не упомнишь. Дни мелькают знаешь как?..

– Ну и что, в метро ехали? – вернула разговор в прежнее русло Света. – А откуда вы узнали, где я работаю?

– Так я ж за тобой от метро шел! До самой кассы.

– Зачем это? Билет нужен был? – кокетливо предположила девушка.

– Понравилась… – смущенно признался Никодим и уставился на собственные ботинки.

Девушка зарделась:

– А откуда узнали, как меня звать?

– Так я приходил потом смотреть на тебя, слышал, как тебя подруги называли.

Девушка недоверчиво покачала головой. Она хорошела прямо на глазах. Сутулость ее куда-то исчезла, и даже нос стал вполне приемлемых размеров.

– Ну и что же вы хотите? – спросила она, и голос ее слегка задребезжал.

– Встретиться… – признался Никодим и снова посмотрел на ботинки.

– Сегодня?

– Нет, сегодня я улетаю в Челябинск. Когда прилечу.

– Каким вы улетаете, десятичасовым? – профессионально поинтересовалась Света.

– Да еще не знаю… – замялся Никодим. – Мне друг обещал билет достать, да что-то заело. Сейчас звонить ему буду.

– Зачем это ему звонить? – вспыхнула Света. – Я вам сделаю билет на Челябинск. Прямо сейчас. Давайте паспорт и подождите здесь.

"Клюнула!" – возликовал Димка.

"Жулье!" – восхищенно выругался Николай.

Ожидание длилось недолго, каких-нибудь пять минут.

– С вас двадцать пять сорок, – сказала Света, протягивая паспорт и билет, и добавила задумчиво: – Имя у вас странное – Никодим.

– Да нет… Никакой я не Никодим, я вообще-то Дима, – заторопился Никодим, решительно задвигая в самый дальний угол Николая: по его разумению, веселый и культурный Димка должен был понравиться Буратино куда больше, чем это хамло Николай.

– Да нет, Никодим тоже хорошо! – горячо запротестовала Света. – Лично мне нравится! – И мельком взглянув на собеседника, как бы между прочим, протянула бумажку: – Вот мой телефон. Это рабочий, а это домашний. Как вернетесь, позвоните, ладно?

– Да я еще из Челябинска позвоню! – пообещал Никодим.

– Разве ж я утерплю! – добавил для верности Дима.

Света благодарно улыбнулась, показав редкие зубы, кивнула, и дверь захлопнулась.

– Та-ак! – сказал Никодим и удовлетворенно потер руки.

Времени до самолета был вагон, и, купив с командировочных бутылку "Московской" и четыре пива, он позвонил Витьку, что в пять будет у него, – пусть смотается с работы пораньше. Заскочив домой и привычно покидав в сумку вещи, ровно в пять ноль-ноль он звонил в дверь Витька.

Конечно, водки им не хватило. Водки оказалось мало, а денег как раз было много: командировка только начиналась, и Витёк пару раз бегал в гастроном. Добавили. Когда Никодим посмотрел на часы, было без пяти девять.

– Опоздал! – ахнул он. – Что же это ты со мной делаешь, зараза?

Витек с усилием поднял голову, лежащую на столе, и осоловело посмотрел на товарища:

– Почему это я з-зараза?

– А кто же ты? – поинтересовался Никодим с неприязнью. И, вскочив, завопил: – Еще можно успеть!

Он схватил сумку, с треском распахнул дверь и, одолев лестницу в несколько прыжков, перемахнул, как спортсмен по

бегу с препятствиями, через невысокий забор. Он выпрыгнул на проезжую часть дороги, и вид у него был такой отчаянный, что почти сразу же возле него притормозил "Жигуль".

– Спасибо, друг, – от души сказал Никодим, вламываясь в машину и усаживаясь рядом с водителем. – Гони в аэропорт! Самолет через час.

Водитель, старый колобок в очках, несомненно в прошлом бухгалтер, неодобрительно покачал головой:

– Ну, знаете, гнать я не могу. Милиция. И вообще опасно…

– Ладно, езжай! – нетерпеливо махнул рукой Никодим.

Крепко держась за руль и благоразумно притормаживая у каждого светофора, водитель наконец выбрался из города, выехал на прямую, гладкую, без сучка без задоринки трассу и теперь, казалось бы, мог наверстать упущенное время, однако продолжал аккуратно сбрасывать скорость там, где призывал его к этому дорожный знак, и лишь в единственном случае решился на обгон – когда перед ними возник тарахтящий бульдозер. Никодим чувствовал, как набычился в нем Николай, и изо всех сил пытался его сдерживать, буквально, зажимая ему глотку, поскольку понимал, что если между ним и этим фраером возникнет конфликт, то ничем хорошим он не кончится.

– Поднажми, друг, – несколько раз просил он, но колобок, даже не взглянув в его сторону, поджимал губы и продолжал ехать со скоростью шестьдесят километров в час.

Когда на совершенно пустом отрезке их обогнал допотопный грузовичок, Николай, несмотря на все старания Никодима, не выдержал:

– Гони же, козел! – взорвался он. – Любая телега тебя обгоняет!

– Это кто козел? – возмущенно воскликнул бывший бухгалтер и, наконец, оторвал взгляд от дороги. – Это я козел?! Говоришь, я козел?! – распалялся он все больше и больше. На последнем "козле" он пустил петуха и решительно остановил машину. – Ему оказывают услугу, его выручают, а он, видишь ли, – "козел"! А ну, выходи из машины!

– Да ты что, отец!.. – забормотал Никодим. – Ну, вырвалось, не обижайся!.. Ну, извини! Поехали, самолет улетит…

– Вон из моей машины! – взвизгнул пенсионер. – А то милицию позову!

Сидя на водительском месте, непостижимым образом он ухитрился затопать ногами, и Никодим понял, что нужно выходить, тем более что как раз в это мгновение впереди засверкала милицейская мигалка. Он тяжело вылез и что есть силы хлопнул дверцей.

– Будь ты проклят, – с чувством выругался Николай, и даже Дима на этот раз ему не возразил.

Когда Никодим добрался все же на попутной машине до аэропорта, самолет уже полчаса как находился в воздухе, и он поплелся сдавать или, вернее, менять билет.

– Завтра на этот же рейс, – предложила кассирша.

– Завтра так завтра, – обречено согласился Никодим, смирившись с тем, что французам с немцами придется играть без него.

Он долго ждал автобуса, потом всю дорогу спал и где-то уже после двенадцати оказался наконец дома.

Утром он позвонил Витьку.

– Ты?! – закричал Витек. – Это ты?!

– Я, – удивился Никодим. – А чего ты орешь?

– Ты где?! – в голосе Витька явственно звучало изумление и счастье.

– Дома… – оторопело сказал Никодим. – Я вчера все-таки опоздал на самолет. Сел в машину к одному фраеру…

Последовала длительная пауза.

– А ты знаешь, что твой самолет разбился? – тихо сказал Витёк. – Мне звонила Тонька с твоей работы, спрашивала, может, я в курсе, улетел ты или нет…

– Ну!.. – только и вымолвил Никодим.

Это был, пожалуй, единственный случай, когда он не проклял, а благословил в себе хама Николая, и ангелоподобный Димка был полностью с ним согласен, поскольку ангелам и на земле живется не так уж плохо. Ведь если бы в тот вечер выступал не Колька, а он, Дмитрий, обаятельный, способный уговорить кого угодно про что угодно, они, чего доброго, успели бы на самолет.

С тех пор Никодим не очень-то встревал в разборки между Николаем и Димой, бесповоротно решив, что там, на небе-

сах, виднее, кому и что надо делать. И, тем не менее, не далее как вчера вечером, он снова почувствовал необходимость попридержать в себе Кольку и дать полную волю Диме.

А дело было в том, что на свадьбе у двоюродного брата Никодим познакомился с женщиной по имени Виолетта. Ему сначала послышалось Фиолета, и он подумал, что это из-за своего имени она носит фиолетовое платье и мажет вокруг глаз фиолетовым. Честно говоря, эта индейская боевая раскраска ей не очень-то и шла, но зато принципиально отличала от других женщин. Он не без труда оттер мужика, который откровенно к ней клеился, и постарался сесть за столом рядом с ней. Накладывая ей в тарелку всевозможные салаты, он несколько раз назвал ее Фиолетой, чем вызвал у нее явное неудовольствие. Пришлось Виолетте растолковывать своему новому знакомому, что назвали ее так в честь дамы с камелиями – есть такой фильм – и ни к какому фиолетовому цвету, хотя он ей и идет, имя ее не имеет ни малейшего отношения. Однако Никодим про себя все равно стал называть ее Фиолетой, и ничего уже тут нельзя было поделать. У них завязался занятный разговор о мистике и гороскопах, и, уж конечно, Кольке в этой беседе делать было нечего. Николай скучал и поглядывал на соседку слева – жизнерадостную сиплую блондинку, требующую от всех за столом "пить до дна", и Никодим был рад, что его худшая половина не мешает ему наблюдать, как трогательно Фиолета отставляет мизинчик и складывает фиолетовые губки трубочкой, опустошая мелкими глоточками рюмку с крымским мускатом. Он никогда не встречал таких женщин, а если и видел их, то издалека, где-нибудь в метро или в троллейбусе. А вот чтобы сидеть с такой рядом за столом да еще и беседовать – такого с ним не бывало сроду. Он даже пошел с ней танцевать, хотя давно со всякими танцами-шманцами завязал – еще с выпускного вечера в школе, когда под влиянием не слишком тогда привычного портвейна он сплясал им самим придуманный танец, не имеющий названия, но имеющий последствия в виде вывихнутой ноги. Однако это было так давно, что не стоило и вспоминать. Сейчас же, видя, что оттертый мужик направляется к Фиолете с явным намере-

нием умыкнуть ее под видом танца, Никодим проворно вскочил и потянул свою даму в круг.

– А как вас зовут, – поинтересовалась Фиолета, поднимая голову с его плеча.

– Дима, – не моргнув глазом, ответил он, что в общем-то было правдой, хотя и неполной.

– А мне как раз очень нравится это имя, – призналась Фиолета. – Только я всех Дим Митями зову. Можно?

– Зовите! – великодушно разрешил Никодим, думая о том, что с этого дня, похоже, в нем поселится еще и третий постоялец, предназначенный специально для этой женщины. Три человека в одной комнате, конечно, многовато, но ради Фиолеты!..

Он отправил Николая к веселой блондинке, в которой с каждой минутой все опаснее проявлялся массовик-затейник из южного дома отдыха, а сам вместе со своим фиолетовым чудом вышел на балкон "подышать свежим воздухом". Николай насмешливо посмотрел ему вслед, но Никодим послал его, тоже взглядом, к чертовой матери.

После пятисот граммов "Столичной" город показался ему с девятого этажа странным и незнакомым, а может быть, он просто никогда раньше, выпив, не смотрел на него? Впервые он увидел, что, оказывается, над ночной Москвой есть звезды и они крупны, как яблоки, а внизу, вдали, оказывается, несет свои воды невидимая черная река, по руслу которой текут навстречу друг другу, мерцая и подмигивая, желтые и красные огоньки – он даже не сразу догадался, что это всего-навсего автомашины. "Смотри, какая красота! – удивился он. – Это все она, Фиолета… Без нее ничего такого не было..."

Он находился в затруднении и не понимал, что должен делать. Руки, конечно, тянулись к ее плечам, и если бы Колька был с ними, он непременно облапил бы ее – крепко и смачно, и, насколько он знал женщин, вряд ли она была бы этим недовольна. Но Димка вместе с новеньким в их компании Митей растерянно смотрели то на замершую у перил Фиолету, то на огоньки внизу, складывающиеся в невиданные доселе узоры, и жалели, что Никодим два года назад бросил курить – по крайней мере, было бы куда девать руки.

– Мне нравится, что вы не нахал, – сказала Фиолета возле своего подъезда, когда он, проводив ее и даже не попросившись в гости, стал прощаться. – Можете позвонить мне завтра вечером… Конечно, если хотите… – игриво добавила она.

– Конечно, хочу!.. Конечно, позвоню!.. – с несвойственным ему жаром воскликнул Никодим, удивляясь сам себе.

Он шел по ночному городу и недоуменно озирался по сторонам. Никакой мерцающей огоньками речки, а тем более звезд, похожих на яблоки, не было вокруг и в помине.

– Ну и чего хорошего? – насмешливо спросил Николай, догнавший его квартала через два. – Лучше б у нее заночевали. Теперь до дому пешком переться – денег-то на такси нет!

– Это-то как раз ничего. Прогуляться перед сном даже полезно, – вмешался Дима, присоединяясь к ним, но голос у него был какой-то неуверенный. Похоже, и он изрядно устал, и ночная прогулка его не вдохновляла.

– Слушай, а на что нам эта цаца? – снова выступил Николай. – "Ах, созвездие Близнецов!", "Ах, предназначенные друг для друга души!" А обо мне ты подумал? Что я-то с ней делать буду? И слова человеческого при ней не скажи! Так ведь и окочуриться недолго!

– И выпили совсем чуть-чуть!.. – уныло добавил Димка, и Никодим, усталый, как черт, мрачно отметил, что впервые его постояльцы нашли общий язык.

Продрав утром глаза, Никодим долго смотрел в потолок, удивляясь, какая чушь может спьяну присниться человеку. Какая-то фиолетовая девушка с оттопыренным мизинчиком. Удивлялся он двум вещам: во-первых, как это можно увидеть во сне женщину, которой никогда не видел наяву и каких, строго говоря, вообще не бывает на свете, а во-вторых, он не знал и нигде не читал, даже в "Технике – молодежи", что сны бывают цветные.

Примерно через полчаса проснулись Колька и Димка.

– А все-таки Фиолета была ничего!.. – мечтательно проговорил Дима.

– Нашел о ком вспоминать! – обозлился Николай. – Нам что, забот не хватает? Та белая кобылка, что слева от нас сидела, ничуть не хуже… Дурак ты, дурак! – обратился он к Никодиму. – Не за той увязался! Весь город пешком пройти! У тебя что, ноги казенные?

"Выходит, не приснилось, – подумал Никодим. – Но, действительно, на кой мне такая?.. Разве только жениться?"

– Еще чего не хватало! – возмутился Николай.

– Давно пора, – снова взялся за старое выспавшийся и отдохнувший Дима.

– Да идите вы оба к черту! – громко сказал Никодим и спустил ноги с кровати. – Хоть бы раз договорились, а то только душу мотаете.

Оба собеседника умолкли, а Никодим сунулся в холодильник посмотреть, не затерялись ли там чудом остатки какой-нибудь выпивки – опохмелиться было необходимо. Хоть в это трудно, а может быть, и невозможно поверить, но остатки нашлись, Никодим был спасен. Выходной день начинался не так уж и плохо. Тем более что бумажка с телефоном Фиолеты из кармана брюк исчезла, и что-либо решать и предпринимать, слава тебе, Господи, было не нужно. Он сварил вкрутую два яйца, открыл банку с кильками и славно позавтракал, ни о чем, ну абсолютно ни о чем не думая. После завтрака он вынул из почтового ящика "Технику – молодежи" и прилег на диван, размышляя о том, что надо бы позвонить Витьку и пойти с ним на футбол.

Закрыв глаза, он стал вспоминать, как блондинка, что сидела слева, пробовала оттирать от него Фиолету – точно так же, как он от Фиолеты того мужика, а когда глаза открыл, то не понял, где находится, что происходит и какое сегодня число, месяц и год. В комнате было темно, в прихожей разрывался телефон.

– Ну? Чего надо? – хмуро выдавил из себя Никодим, с трудом отыскав в темноте трубку и сбив по дороге стул.

– Это Митя? – с надеждой вопросил милый женский голосок. – Мне нужно Митю.

– Скажи, что никаких Мить тут нет, – посоветовал Колька из темноты и неприлично выругался.

– Это я, – сказал Никодим, затыкая Николаю рот и удивляясь, как это Фиолета его нашла. Может быть, это он дал ей телефон, а не она ему? Может, ее записка ему померещилась?

– Я ждала, что вы мне позвоните, как договаривались, но потом подумала: а вдруг вы потеряли мой телефон?

– Потерял, – признался Никодим, смутно догадываясь, что Фиолета принадлежит как раз к той части человечества, которая твердо знает, чего хочет и как этого добиться. – А как вы меня нашли?

– А я позвонила Мусе… – почувствовав недоумение на другом конце провода, она тут же пояснила: – Это вчерашняя невеста… Ну, ваша новая родственница… Она узнала у мужа ваш телефон и сказала мне. А я его тут же записала в блокнотик. Чтобы тоже не потерять...

– Хочет замуж! – прорвался Николай.

– И что в этом плохого? – поинтересовался Дима.

– Ну и что мы будем делать? – совсем не галантно спросил Никодим.

– Может быть, пойдем погуляем? – нерешительно предложила Фиолета.

– Этого еще не хватало! – голосом Николая пробормотал Никодим.

– Что?! – не поверила своим ушам Фиолета.

– С удовольствием! – поспешно выкрикнул Дима, завладевая трубкой. – Пойдемте!

– Прямо сейчас? – расцвела девушка.

– Через час жду вас у метро "Площадь Революции", – твердо сказал Никодим, обретая свою обычную боевую форму.

– Я буду в фиолетовом плаще, – счастливо прощебетала Фиолета и кокетливо добавила: – Это на случай, если вы меня успели забыть.

– Ну что вы! – не обманул ее ожиданий Никодим. – Это невозможно!

Положив трубку, он отправился в ванную бриться.

– И охота тебе тащиться к ней на ночь глядя? – спросил его провокатор Николай.

Никодим продолжал угрюмо намыливать подбородок.

– Позвонил бы Витьку, – не унимался Николай. – У него пиво с копчеными лещами. Больше недели не виделись!

– Не слушай его, – вмешался Димка. – Жениться тебе давно пора, а лучшей бабы для этого ты не найдешь!

Повязав парадный галстук, который ему когда-то привезла из Чехословакии сослуживица, Никодим вышел из дома. Он удивился, увидев лужи и мокрые тротуары. Похоже, все время, пока он спал, шел дождь. Да и сейчас погода была не ахти: моросило, дул холодный ветер.

"Да в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит, а она – гулять!.. – проворчал Никодим. – Хоть бы предупредила, что на улице дождь!"

– А я что говорил! – торжествующе воскликнул Колька. – Поворачивай оглобли и – к Витьку!

– Да… Не самая подходящая погода для прогулок… – неохотно согласился Дима. – У Витька тепло. И есть что выпить…

"Смотри-ка, и Димка туда же! – удивился Никодим. – А что я могу один против двоих?"

И решительно повернул к остановке пятого троллейбуса, который шел прямехонько к другу.

"А будет звонить, скажу, что такой тут не живет – и дело с концом! Пусть ищет себе другого. Такого же, как она… Фиолетового…"

И на душе у него, невзирая на стужу, стало тепло и спокойно.

Нина
Елина

Яша Додзин – чекист

…И там, где нет людей,
постарайся быть человеком.
Поучения отцов, 2

— Скажите, пожалуйста, где здесь сидит приёмная комиссия?

– А она не сидит, а бегает.

– Да ну, хватит хохмить.

– Девушка! Я вам объясняю. Приёмная комиссия это два парня – Яша и Ваня. Они вправду не сидят, а бегают по коридору.

– А как же их найти?

– Увидите: оба небольшого роста, Ваня в белой рубашке, Яша в гимнастёрке. Шныряют туда-сюда с папками подмышкой.

Через несколько шагов я увидела обоих. У Вани лицо круглое, как копейка, волосы коротко острижены, торчат ёжиком. У Яши лицо длинноватое, нос тоже, волосы тёмные, зачёсаны назад. Оба раздают анкеты. На другой день я уже сразу нашла "комиссию". Только вот кому отдать заявление и анкету, первую в моей жизни?

– Ты кому отдала? – спрашиваю у знакомой девчонки.

– Я – Ване. Да всё равно, они ведь студенты истфака, свои ребята.

– Я тоже лучше Ване, он подобрее.

Прошли вступительные экзамены, внушавшие мне почти мистический ужас. Закончились тягостные дни ожидания заветных списков и долгие часы их постепенного появления на большой доске, промелькнули и лихорадочные минуты поисков своей фамилии. И, наконец, в одном из последних списков я её обнаружила. С этого момента приёмная комиссия перестала меня интересовать. Я лишь заметила, что Ваня вскоре исчез с нашего коридорного горизонта. Кто-то сказал, что он учится на очном отделении истфака и был техническим работником в комиссии, помогал Яше.

Яша же и теперь пробегал по коридорам. Он учился на заочном отделении и одновременно работал в нашем недавно открытом Институте философии, литературы, истории. А кем он работал, как называется его должность я понятия не имела. И почему-то не удивлялась, что он как будто знает всех в лицо, все с ним здороваются и со всеми он, кроме преподавателей, на "ты". Меня это не занимало. Он был чужой, как все партийные и комсомольские деятели, внушавшие мне смутные опасения.

Но в середине второго курса чуть не произошло из ряда вон выходящее событие. И тогда Яша занял определённое место в моих мыслях. Мне и ещё одной студентке-первокурснице после тщательного отбора предложили поехать в Париж на Всемирную выставку в роли переводчиц в советском павильоне. "Париж – весна фиалок…" – несбыточная мечта и вдруг она сбудется… И путь к этой мечте пролегал через Яшину резиденцию – комнату под самой крышей, где стоял большой стол и два шкафа, забитых какими-то папками. Там я взяла анкету, где были вопросы, каких не было в той анкете, которую мы заполняли при поступлении, и туда на другой день я её принесла.

"Зайдёшь недели через две", – деловито сказал Яша. Через две недели я зашла. "Пока ещё ответ не получен", – кратко сказал он, не дожидаясь моего вопроса. Откуда должен прийти ответ, я не очень хорошо себе представляла, и ещё через

две недели опять зашла, и опять он был неразговорчив, не улыбался, отвечал как-то нехотя. Зашла в третий, четвёртый раз, и он снова что-то мямлил. Я даже рассердилась: "Слушай, что ж это так долго тянется? И выставку так пропустим". Он промолчал. "Какой-то он неповоротливый, – ворчали мы со второй избранницей, – может, он не хочет, чтобы мы поехали, так бы и сказал". А потом махнули рукой на эту затею и начали готовиться к экзаменам. Лишь впоследствии до нас каким-то образом дошло, что не Яша помешал нам поехать в Париж, а наша директриса Анна Самойловна Карпова. Времена были уже тревожные, и она лучше, чем мы, это понимала и не решилась дать за нас необходимое поручительство. Узнав в чем, было дело и отчего растаяла наша мечта, посетовали: и чего старушке было бояться? А надо бы поблагодарить Анну Самойловну: от скольких возможных неприятностей в будущем она нас избавила.

– Слушай, – спросила после моих хождений к Яше моя ближайшая подруга, – ты заметила, что у Яши на правой руке нет большого пальца?

– Да, а что?

Подруга многозначительно посмотрела на меня и подчёркнуто произнесла:

– Кулаки отстрелили. Он в коллективизации участвовал, в раскулачивании.

Я промолчала. Коллективизация, раскулачивание и вообще деревня были от меня не ближе, чем кофейные плантации в Бразилии. Кулаков я себе представляла по "Поднятой целине" Шолохова и драматической истории легендарного Павлика Морозова. Страшные люди с обрезами и ножами, настоящие враги Советской власти и обыкновенных горожан. "А смелый он – Яша", – подумала я и в то же время опять ощутила то чувство напряжённости и отчуждения, которое несколько ослабело, когда я с ним непосредственно столкнулась.

После неудачной попытки заглянуть в далёкий заманчивый мир заходить в Яшину голубятню желания не было. Не то чтобы я испытывала к нему неприязнь, но и симпатии никакой. Как-то года два спустя я увидела, что его окружили студенты и весело поздравляют с рождением тройни. Я прошла

совсем рядом, кивнула, но не подошла. Только заметила, что он застенчиво улыбается, видны ровные частые белые зубы, и нижние по самой серёдке немножко раздвинуты, и от этого лицо выглядит мягче и домашнее. Кто была его жена, мы не знали и вообще казалось, что у него нет дома, нет семьи, – так он прирос к Институту. Особенно это стало ощущаться с осени 37 года. Он проходил по коридору озабоченный, хмурый, а по маленькой лесенке к нему то и дело кто-то поднимался. О чём там толкуют Яша и его посетители, я не знала, никого ни о чём не спрашивала, и вообще в тот год я мало с кем разговаривала, больше ходила в библиотеку, занималась и хорошо сдавала экзамены.

И всё же не могла не почувствовать, что Яша в жизни Института играет всё более важную роль. Говорили, что Карпова ни одного вопроса без него не решает. А вот какую он играл роль, я узнала гораздо позднее.

Утро, но Яша уже давно на месте, просматривает какие-то папки. Помощников у него нет, он один: и начальник отдела, и секретарь. Звонит местный телефон.

– Яша?

– Да, Анна Самойловна.

– Можешь сейчас ко мне зайти?

– Да, конечно.

Что-то случилось, чем-то она взволнована.

– Яша, вот какое дело: мне только что позвонили из ЦК и просили срочно зайти в комнату… в комнату … – она смотрит в блокнот – номер 366.

– Анна Самойловна! Кто вам звонил? Он назвал себя?

– Какой-то Иванов.

– Из какого отдела?

– Он не сказал, только номер комнаты дал, а я… я не спросила. Он очень настаивал, чтобы я пришла.

– Анна Самойловна! Не ходите.

– Как не ходить? Ведь это же из ЦК!

– Ну и что. В какой отдел – вы не знаете. Кто этот Иванов? Непонятно. Не ходите и всё. Нужно будет, ещё раз позвонят.

– Так ты думаешь, не надо мне идти?

– Ни в коем случае. Если что, скажете, не поняли, куда именно вызывают.

– Ну хорошо, если ты так считаешь…

– Я уверен. Сидите спокойно, обойдётся. Тут вам какую-то бумагу из Наркомпроса прислали. Посмотрите, чего они хотят. А я, пожалуй, пойду. В случае чего, сразу позвоните мне.

Анна Самойловна не пошла. Яша оказался прав. Больше ей не звонили. И она спокойно дожила свой век, хотя от высоких должностей её в какой-то момент отстранили.

Большая перемена. В светлом коридоре литфака толпятся студентки. Их большинство, мужчин гораздо меньше. Несколько девушек с театроведческого цикла горячо обсуждают новую театральную постановку. Подходит Яша.

– Здорово, Яша!

– О чём вы это так шумите?

– Новая постановка у Вахтангова. Слушай, сходи! Мы тебе контрамарку достанем!

– Спасибо. У меня экзамен на носу.

– Какой экзамен? До зимней сессии ещё далеко.

– Да, но у меня ещё хвосты с лета.

– Слушайте, девчонки, я пошла. Мне в литкабинет успеть надо.

– А у меня деловое свидание.

Кружок распадается. Яша задерживает высокую черноглазую девушку.

– Слушай, Мирра, зайди ко мне минут через пять-десять.

Мирре, собственно нечего бояться, но зайти в Яшину голубятню… Чуточку тревожно… Через пять минут она стучит в дверь.

– Войдите. А, это ты. Подожди меня, я минуты через две вернусь.

Мирра остаётся одна. Озирает голубятню, смотрит на большой Яшин стол. На столе лежит развёрнутый тетрадный листок. Из любопытства подходит и читает: "Как честный гражданин нашей Родины, считаю своим долгом заявить, что студентка 3-го курса театроведческого цикла М. Ашкинезер рассказывает во всеуслышание антисоветские анекдоты" и т. д.

Боже мой! Знакомая подпись! Никогда в жизни не подумала бы… Входит Яша.

– Ну что, прочла? Поимей это в виду.

Он рвёт донос на мелкие квадратики и аккуратно складывает их в металлическую пепельницу… Месяца через два Мирра случайно оказывается с Яшей в одном вагоне метро. Выходят вместе у Дворца Советов.

– Тебе куда? – спрашивает она.

– На Метростроевскую, надо к знакомому студенту зайти.

– И я там живу.

Доходят до Мирриного дома.

– Вот мой подъезд, квартира номер 8. Ты надолго к этому студенту?

– Нет, конспект взять.

– На обратном пути заходи к нам.

– А мама что скажет?

– Мама будет очень рада, она всем моим ребятам рада.

И он зашёл. И Миррина мать, полная приветливая пожилая женщина, усадила его за стол и накормила обедом. Он с удовольствием уплетал домашний (а не жидкий столовский) борщ и котлеты (в которых было больше мяса, чем хлеба). С того раза он время от времени заходил к Анне Григорьевне, была ли Мирра дома или нет. Его это не смущало. Они сидели с Анной Григорьевной вдвоём и беседовали. О чём? Конечно не о политике. О жизни. И вот как-то Анна Григорьевна вставила в своё рассуждение фразу на идише и остановилась.

– Яша, а вы идиш немножко знаете? – ей показалось, будто что-то в лице его дрогнуло.

– Знал когда-то, – глухо ответил он.

– Наверное, от родителей. Живы они?

– Нет.

Оба помолчали.

– Давно? – не договорила она.

– Убили их в 19-м, – также глухо выговорил он. Опять помолчали. А потом он медленно, глядя куда-то поверх её головы, рассказал историю своего детства, отрочества, юности, историю которую он, кроме как очень кратко должностным лицам, никому не рассказывал.

Жили они – отец, мать, старшая сестра, он, маленький братишка – в захолустном украинском местечке. Отец сапож-

ничал, был огородик, держали козу, кое-как перебивались. Не хуже, чем другие. Яша учился в хедере, в тёмном, закопченном домишке. Сестра училась шить. Где-то вдали гремела революция. До них еле-еле доносились её раскаты. Но вот однажды в местечко на полном скаку влетели всадники в папахах, с берданками на боку. Спешились и пошли по домам. Грабили, насиловали, убивали. Ворвались и в их домишко. Мать только успела шепнуть: "Беги". Худенький мальчик вылез через заднее окошко, побежал к речке и спрятался в лозняке. Слышал выстрелы, крики, видел на другом конце местечка пламя. Когда стихло, пришёл домой. Через распахнутую, сорванную с петель дверь увидел неподвижные, окровавленные тела. Вокруг стояла тишина. Он не стал искать, есть ли кто живой из соседей, а в чём был, босой, ушёл из местечка и больше туда не возвращался. Бродил по окрестным сёлам и уцелевшим местечкам, грязный, оборванный, голодный. Где подавали краюху хлеба, где подворовывал. А потом пристал к кучке таких же чумазых пацанов, и они уже вместе бродяжничали по Украине. Забредали не только в сёла и местечки, но и в города побольше, куда по воскресеньям на базар съезжались окрестные крестьяне. Там легче было стащить что-нибудь с прилавка, с расстеленной рогожки или залезть в карман зазевавшейся покупательницы. Так прошло года три. И вдруг в жаркий летний день в городе Кременчуге – облава. Молодые парни в гимнастёрках, в фуражках, с наганами в кобуре, сновали по рядам и вылавливали тех, кого стали называть беспризорниками. Но ребята были проворными, и маленькому отряду чекистов удалось захватить только его, да и то потому, что он накануне подвернул ногу. Привели к командиру. Тот стал спрашивать кто он, откуда. Отвечал кратко, по-украински. На вопрос: "Читать, писать умеешь?" – замялся – "Читати можу, тильки не дуже добре, писати – ни". На самом деле читать и писать он умел, хоть и начал забывать, но на другом языке, который он учил в хедере. Однако об этом он не захотел сказать. Это было из той прошлой жизни, которую он старался вычеркнуть из памяти. "Слушай, парень, ты видать толковый. Зачем тебе шляться, голодать, холодать, в чужие карманы залезать? Кончится ведь всё это кичманом. Идём с нами. Сыт,

одет будешь. Читать-писать выучишься. Ну, давай!" Он кивнул. Его накормили, сводили в баню, одели в гимнастёрку, брюки не по росту ("Ничего, подрастёшь – в самый раз будет"). Даже поношенные сапоги купили. И стал Яша Додзин членом отряда, юным чекистом.

Когда в каком-нибудь большом городе задерживались, его сразу определяли в школу, и он, не обращая внимания на малышню ("Вон какой дядя выискался, читать не умеет!"), жадно учился. Одолел не только русскую грамоту и арифметику, но даже начатки алгебры и геометрии и что-то из географии. Учиться учился, но и в "операциях" приходилось участвовать (об этом Яша только упомянул, рассказывать не стал). В начале 30-х. годов взмолился к начальству: "Пошлите учиться. А то еле-еле семилетку закончил". Начальство вняло его слёзным просьбам и послало на рабфак. Два с половиной года учился. После классных занятий из читальни не вылезал. Хорошее было время! Увлёкся историей: не зная прошлого, настоящего не поймёшь. Но кончилась учёба на рабфаке, и опять его затребовали органы, менявшие время от времени своё название.

Но тут ему повезло: открылся новый институт гуманитарных наук – философии, литературы, истории. Его вызвал начальник: "Вот что, Додзин. Мы тут поговорили, посоветовались и надумали. Пошлём тебя в новый институт, будешь там начальником нашего отдела. Работа серьёзная, трудная, ответственная, ты один за всё отвечать будешь. Но ты парень надёжный, мы в тебе уверены, не подведёшь. Если что, поможем… Там же и учиться сможешь, на вечернем или заочном. Что скажешь?" От радости сердце забилось, но ответил спокойно: "Если доверяете, я согласен. Постараюсь оправдать доверие". Вот так Яша Додзин, сирота из захолустного местечка, член давно расформированного чекистского отряда, стал единовластным начальником отдела, именуемого впоследствии первым, в важнейшем идеологическом институте страны.

Очень скоро он понял, что принесла ему его ответственная должность. Но отступать было поздно и некуда. И звонить вскоре стало некому. Начальство сменилось, те кого он знал, исчезли… Борьба с врагами народа захватывала всё новые и новые круги. В Институте подавляющее большинство аресто-

ванных были партийные преподаватели: политэкономы и историки. Их с головой накрывала чёрная, мутная волна. До студентов она докатывалась гораздо реже, их черёд был ещё впереди. Но у них были родители и вот беда – нечеловеческая сила стучалась в их двери. А Яша, хоть и не отдавал приказов об арестах и не по его докладам хватали людей, но, так или иначе, был частицей этой силы…

Осеннее, зимнее, весеннее утро… Яша, как всегда, на месте.

– Войдите!

Входит девочка, бледная, глаза провалились.

– Садись.

– Яша! Ночью отца забрали. Что делать?

Он молчит. Потом спрашивает:

– Ты комсомолка?

– Да.

– Придётся в комсомольскую организацию сообщить.

– Исключат?

– Возможно.

– А из института? – голос девочки прерывается.

– Из института нет. Сдавай как следует сессию.

Девочка уходит. За ней мальчик. Хоть он и храбрится, но так же, если не больше, растерян. Из института детей "врагов народа" действительно не исключали, лишь тех, кого настигала та же волна…

1 мая 1938 года. В Советской державе уже сложилась славная традиция проводить массовые аресты в канун революционных праздников или (если не успели) в праздничные дни 7 ноября и 1 мая. Яша знает, что 30 апреля арестовали студентку 3-го курса литературного факультета Юлю Муралову. Он знает то, что неизвестно ей: её отца, замнаркома земледелия Александра Ивановича, брата Николая Муралова, возглавившего московское восстание 1917 года, уже несколько месяцев как расстреляли. А сегодня придут за её подругой Ханкой Ганецкой, та тоже не знает, что её отца польского социал-демократа, старого большевика, помогшего Ленину приехать в 17-м году в Петроград, мать – старую большевичку, брата-альпиниста тоже расстреляли. Он знает, что на Лубянке подготовили дело детей "врагов народа" под кодовым названием "Осколки", и знает, кто помог его "оформить". Ме-

жду тем студенты ИФЛИ празднуют великий пролетарский праздник. Дирекция не пожалела никаких затрат: для утренника сняли Большой зал Консерватории.

Он вошёл в зал, когда исполнялся какой-то весёлый эстрадный номер. Десять, пятнадцать, двадцать шагов по широкому проходу, и он увидел её, маленькую девушку в голубом шерстяном платье... Он поманил её пальцем. Она заметила его, поняла, встала и пошла за ним. Личико под копной курчавых волос побледнело, напряглось, но шла она твёрдо. Внизу в гардеробе их уже ждали двое в штатском. "Сядь, дай мне свой номерок, я тебе принесу пальто". Он принёс ей пальто и ботики (на улице было ещё грязно). Она было протянула за ними руку. Но он встал перед ней на колени и обул её. Потом подал пальто...

Она вспомнила об этом лет через двадцать, когда пришла на концерт Бетховена в Большой зал Консерватории.

А тогда, после ареста девушек, "на голубятню" стали вызывать их подруг, незадолго до этого хлопотавших, чтобы дочерей "врагов народа" восстановили в рядах комсомола. Их и ещё кое-кого из однокурсников допрашивал Яша и пришедший для этого случая "товарищ" из НКВД. "О чём разговаривали с Ганецкой и Мураловой? Антисоветские высказывания Ганецкая и Муралова допускали?" На этот вопрос все отвечали отрицательно, что было истинной правдой. Но проявить свою верность советской власти и подчеркнуть отсутствие настоящей дружеской близости с арестованными старались. Не знали с кем Муралова и Ганецкая встречались вне стен института, кажется, в их кругу были ещё дети репрессированных. Кое-кто добавлял нелестные отзывы о своих бывших однокурсницах. Ганецкая высокомерна, оторвалась от коллектива. Муралова искала дешёвую популярность. Никаких серьёзных последствий эти допросы не имели. После публичного покаяния в недостатке бдительности были вынесены выговоры по комсомольской линии, которые потом были сняты.

Только одну, ближайшую подругу Мураловой – Марию Вильнер, исключили из комсомола. Впрочем, через два с половиной месяца её восстановили и никаких взысканий не наложили.

После бурной весны наступает спокойное лето. В институте тихо и пусто. Только в одной комнате слышны голоса. Там трудится приёмная комиссия. Начинается приём будущих студентов. Яша, как всегда, председатель приёмной комиссии. Ему нужны помощники, не из преподавателей, те появятся позднее, после экзаменов, а те, кто вместе с ним будет выполнять всю техническую работу. Он выбирает из студентов третьего-четвёртого курсов тех, кому трудно живётся и нужно подработать: Нёму, парня из общежития, – кроме стипендии у него никаких доходов; Иру – тоже бездоходную. Отца у неё арестовали, мать – хорошенькая, беспомощная женщина, двое старых дедушек, бабушка и больной братишка. Ира – глава семьи. Очень некрасивая девушка. Но аккуратная, старательная. Охотно выполняет любую общественную работу, самую незаметную. Печатает статьи для стенной газеты. Навещает больных однокурсниц. Помогает тем, у кого французский язык хромает. Помощница она первоклассная, на неё можно положиться, как на каменную стену. Ничего не перепутает, все бумаги, все папки сложит в порядке, знает, что где лежит.

– Вот что, ребята, – обращается Яша как-то к своим помощникам, – тут начальственная комиссия может нас посетить. Так вот, эти папки от греха подальше я кладу отдельно в этот ящик. Чтобы на глаза комиссии не попадались.

И он засовывает несколько папок в нижний ящик своего стола. Ира и Нёма кивают. В этих папках – заявления и анкеты абитуриентов, у которых родители сидят. Экзамены они будут сдавать со всеми вместе. Никто и знать не будет, что анкеты у них не в порядке. Ира и Нёма промолчат. Но Ира не всегда молчит.

Однажды, оставшись с Яшей наедине, она подходит к нему и таинственно полушёпотом сообщает:

– Яша, вот какое дело, у нас женщина одна ночует, у неё мужа арестовали. Она ушла из дома и ночует у знакомых, то у одних, то у других. Сейчас у нас. От НКВД спасается.

Она замолкает, смотрит на Яшу, что он скажет? Он сперва молчит, потом:

– Ну и что?

– Как что? Надо, наверное, сообщить…

Он пожимает плечами:

– Зачем? Надо будет, найдут её.

Ира успокаивается. Раз Яша сказал…

В июне 1940 года мы кончили ИФЛИ, а в июне 1941 года началась война. ИФЛИ осенью эвакуировали из Москвы, и на этом завершилось его существование. После реэвакуации его расформировали и слили с Московским университетом. Литфак превратился в филфак. Преподаватели частично остались те же, уцелевшие студенты тоже, появились аспиранты, среди них первой оказалась я. Весной 1942 года перевелась из Ленинградского университета в Московский на второй курс.

А Яша? На фронт его не взяли, несмотря на неоднократные заявления, – врачи забраковали. Он остался в кадрах высокого ведомства. Должность его упразднилась, в МГУ были свои начальники соответствующих отделов, но ему нашли место. Жил он по-прежнему в общежитии на Усачёвке. Соседнюю комнату с конца 30-х годов занимал молодой доцент Леонид Ефимович Пинский.

Был Леонид Ефимович родом из Белоруссии из местечка Брагина недалеко от Могилёва. Учился он в хедере, затем в иешиве, а когда пришла советская власть – в трудовой семилетней школе. А сверх того, в невидимой школе, где учатся не по программам, где знания ловят на лету, без всякого порядка, жаждущие открыть мир в разных его измерениях неутомимые ученики. Но был он не только учеником, очень рано стал и учителем. В 18 лет преподавал в сельской школе. Из школы вёл прямой путь в Киевский институт народного образования, который он закончил в 30-м, когда ему минуло 24 года. А затем скачок. Москва, аспирантура в Педагогическом институте им. Бубнова, в 1936 году защита кандидатской диссертации о реализме Рабле. И то, о чём только мог мечтать молодой провинциальный еврей, – чтение курса западноевропейской литературы в столичном институте, единственном в своём роде.

Ифлийская аудитория приняла его сдержанно. Молодой человек небольшого роста, не толстый, держится прямо, но изящества никакого. Руки короткопалые, одет мешковато, голова не по росту большая. Лицо некрасивое, широкое, нос тоже широкий, рот большой, а серо-голубые глазки глубоко

спрятались в глазницах, только высокий и широкий лоб под тёмными волнистыми волосами скрашивали его. Никаких ораторских, лекторских приёмов, смотрит куда-то мимо аудитории. Говорит правильно, не картавит, "не хакает", но нет живой интонации, нет той выразительности и звучности, которая свойственна русской речи. А когда приходится вставлять французские или английские слова слышится произношение самоучки. Студенты переглянулись, кто-то слегка пожал плечами и собрался заняться своим делом. Но через несколько минут отложил начатое письмо и стал слушать. И стала слушать вся аудитория. А затем вытащили тетради и начали быстро записывать. Это были особые лекции, казалось, они не подготовлены заранее, мысли оригинальные, глубокие рождаются здесь в аудитории. И мы присутствуем при их рождении. Мы боялись пропустить хоть одно слово.

В 1941 году Леонид Ефимович пошёл в ополчение. Случайно уцелел. Ополчение потом расформировали. В феврале оказался в опустевшей Москве. Пришёл в университет на филфак, за него ухватились, там возобновились занятия, и преподавателей не хватало. Ему дали бронь, и он вернулся в поредевшую аудиторию, которая так же жадно его слушала. Но публичного общения с молодёжью было недостаточно. С немногочисленными коллегами отношения были прохладные: один из них – профессор из Института красной профессуры, знавший из всей мировой литературы лишь Гейне и Фейхтвангера, другой – доцент, вполне интеллигентный москвич, скромный ученик академической школы. Оба считали Пинского выскочкой и втайне завидовали его популярности. Поэтому он охотно стал бывать у нас дома, где его рассуждения с интересом слушали вчерашние студенты. А в комнате на Усачёвке было тоскливо. Жена и маленькая дочка были в эвакуации. Что с родными, с матерью, оставшимися на оккупированной территории, он не знал …

А рядом, здесь, на Усачевке, человек тоже одинокий, и его семья в эвакуации. Они стали коротать вместе долгие зимние вечера. Еврейский мальчик из украинского местечка, волей судеб ставший винтиком сложной махины государственной безопасности огромной державы. И еврейский мальчик из бе-

лорусского местечка, поднявшийся до университетской кафедры в столице этой державы. Беспартийный доцент Пинский, проникающий в глубины творений высокого человеческого духа, и недоучившийся студент – коммунист Додзин, различающий глубины чёрной ямы ГУЛАГа…

Горит тусклая настольная лампа (эра коптилок недавно кончилась). Рядом шахматная доска. Над ней склонились две еврейские головы. Молчат, напряжённо думают. И вдруг Яша нарушает молчание:

– Леонид Ефимович, вот что я вам хотел сказать. Вы как-то упомянули, что встречаетесь с девушками из ИФЛИ. Так вот передайте кому-нибудь из них, понадёжнее, что с одной из их однокурсниц, Мусей Вильнер, встречаться не надо, и уж во всяком случае, доверять ей нельзя. Она предала свою лучшую подругу Ёлку Муралову.

Леонид Ефимович кивает: "Да, конечно", а сам думает: "Парень ведь рискует головой. Но предупредить надо". И он передаёт мне через общего друга Яшино предупреждение, а я… Я не верю! Не может быть! Что-нибудь он не так понял?! Тут какое-то недоразумение! Близкая подруга Муся не может быть предательницей!

Только в 1946 году, когда в Москве на короткий срок появляется Ханка и рассказывает, кто был главный осведомитель, "помогший следствию", я наконец убеждаюсь, что Яша не ошибся…

…Проходит лет десять-двенадцать. Позади XX съезд. Эпоха "реабилитанса" достигла высшей точки. Возникают из небытия живые и мёртвые, реабилитируют и тех, и других. Имена сексотов, раньше неизвестные или передававшиеся друг другу шёпотом, теперь произносятся вслух, полным голосом. Кому-то не подают руки, кого-то бьют по физиономии. Но главное, главное – пусть далеко, далеко не все, но кто-то возвращается к родным и друзьям. И мы наконец узнаём, что происходило в огромной закрытой зоне, отгороженной от нас колючей проволокой из железа, страха и незнания.

Июнь. Предвечернее время. Не спеша иду домой по тихому Пречистенскому переулку. Кто-то окликает. Оборачива-

юсь: Яша! Яша Додзин! Он радостно жмёт мне руку своей беспалой рукой.

– Ну как ты? Что ты делаешь? Преподаёшь в Ин-язе? Вот это здорово! Ты молодец! – он широко улыбается.

Зубы в порядке, а вот волосы… Он бел как лунь, ни одного тёмного волоска.

– А ты где работаешь? – нерешительно спрашиваю я.

– Я… я теперь в цензуре, – отвечает он, немного смущённо.

– Ну это хорошо, – вырывается у меня.

– Да, конечно. – Теперь мы оба улыбаемся.

Но вдруг сразу улыбка его пропадает, он как будто набирается духа:

– А ты не знаешь, как Ёлка и Ханка? Живы они?

– Да! Да, живы! Я с ними встречаюсь. Они здесь, в Москве!

– Слава Богу! – Он облегчённо вздыхает. – Слава Богу! – повторяет он. Лицо сияет. Мы прощаемся.

– Всего тебе хорошего и успехов!

Крепкое рукопожатие, и мы расходимся в разные стороны. Больше Яшу я не видела. Вскоре после нашей встречи он умер. Как говорили в старину, от разрыва сердца. И до пятидесяти не дожил. "Сердце у него было слабое, – сказал кто-то, – не выдержало".

Евгения Завельская

* * *

препоясанные тысячью верст
чувствуют
себя
младенцами
когда туман стелется вдоль реки

они
говорят
этот туман из наших рукавов
но
его вкус незнаком холодным губам

* * *

окрест
туман одиночества его рассеянные лохмотья

медленная вода поцелуя переливается
из
губ в губы

эта душа коростель эта душа куща

иссушенные любовью губы не иссушают
источник

* * *

раскосая
память смеется и плачет
не дает забыться

проливший реки слез
являет
имена рекам

они плачут они смеются
блуждая
по синим долинам

вдоль воды вдоль мокрого ила
снуют
дикие гуси

и
ил
ласкает животы их и животы их младенцев

* * *

он
отпустил простоволосую жизнь свою
на
четыре стороны света

с
четырех сторон света
она звала его

затяжная игра в догадки
измученное чело
оставила

за
желтыми туманами за рощами
желтые туманы рощи
солнце бездорожия сухой ветр бездорожия
сопровождали
его
триумфальное шествие

* * *

не
в
пустыне но сам пустыня

я
буду петь песни моего бесславья

у
меня нет другой дудки кроме дудки моего горла

ты
взойдешь
на эту твердь на эту воду

ты
будешь смотреть на дневное светило

ты
простишь моему сердцу то что я не прощал моему сердцу

* * *

его
жизнь
подражание ветру

он
распахивает руки

в руках его
ничего
ничего
свищет ускользая сквозь пальцы
и
гуляет по равнинам подернутым снегом

его
жизнь
подражание цапле

он
стоит по колено
в
реке тростников

гнездо ничего
плывет по воде кренясь
птенец ничего
поднимается над тростниками

влекомые
к
подножью его жизни

идут по камням окрашенным закатом
они
смотрят
на его распахнутые руки

не зная что это его брачный танец

* * *

хотевший
целовать землю ее пыль ее горечь

сотворил
землю

целовал
синие реки вен на запястьях

шел
по окраине молочая

и
жаворонок пел ему

* * *

за
белыми туманами за буковыми рощами
обнимемся

помнишь
хотели вкусить соль белого света

водою
скатились
по
собственным скулам

помнишь

тяжелы были наши лона

и
легки
отпуская

голую рощу птичью стаю
склонную к движенью
за
рощу за реку

отпечаток

не
прощального поцелуя

и
сего дня
на губах тлеет

* * *

не единожды вошедший в реку
ты
выйдешь из воды

длинные дни треплют волосы
ты
этого хотел

на краю дождя кукушка кричит падает лист ольхи
ты
взял с собою все

ты
произносишь
протяжные прежние имена

и
слышишь
откликаются на прежние имена

Злата Зарецкая

Чайка над Израилем
(портрет актрисы)

"Я чувствовала себя, как Моше у границ Израиля. Я видела прекрасную обетованную землю и не могла войти... "

При взгляде на эту женщину с ее гордым, каменным лицом с полумесяцами бровей и горящими глазами, элегантную и привлекательную, мелькающую в модных телесериалах и не сходящую со сцены вот уже сорок пять лет, трудно предположить, что у нее есть проблемы... Автор и героиня спектакля и фильма "Лето Авии", получившего призы престижных фестивалей; увенчанная мировой славой актриса театра и кино, писательница, чьи книги переведены на восемнадцать языков... Казалось бы, чего же больше? Красавица в свои всего лишь шестьдесят три, счастливая жена и бабушка, она тем не менее и сейчас осознает свой путь к вершинам, как вечную борьбу за совершенство, возможное для нее, однако, только здесь, в Израиле. Ее психологический код – чеховская Чайка, истекающая кровью над землей Израиля.

Гила Александрович, она же Альмагор, родилась 22 июня 1939 г. Ее отец Макс Александрович бежал в 1933 г. из немецкого города Айзенах наутро после "Хрустальной ночи". Он

был очень талантлив: играл на духовых инструментах, руководил оркестром и по приезде в Хайфу продолжил свою музыкальную деятельность. Создал оркестр "Тизморет Хапоэль" и хор. Кроме музыки, он был сведущ в литературе, писал, свободно владел латынью, ивритом, арабским, французским, русским, древнегреческим, немецким... Из Германии он захватил только две книги: стихи Шиллера и "Ад" Данте – свою душу, свой романтизм и картину ада, который он увидел воочию. Эти книги всю жизнь хранила его жена...

Мать, Хая Тилес, была родом из Польши, выросла в многодетной семье ортодоксального раввина. В 1939 году старший брат, "безумно любивший сестру", предупредил ее, что надо бежать. "Тут живых не останется. Мы уходим. Невозможно взять всех". Ночью, как и было оговорено, она вышла из туалета и увидела незнакомого человека, без пейсов, с чемоданом в руке... Как они добрались до Израиля, неизвестно.

Вскоре в хоре Александровича появилась "красавица, похожая на Белоснежку, – высокая, с большими глазами". Макс и Хая влюбились почти сразу и поженились. Они не успели прожить вместе даже года. Она была на пятом месяце беременности, когда арабский снайпер из засады расстрелял 13 еврейских полицейских. ("Время было похоже на нынешнее".) Среди них был и Макс Александрович.

– Моя мама осталась одна в двадцать три года. Брат жил в Петах-Тикве. В 1940-м стало известно, что в Польше убита вся семья. И тогда мама потеряла самообладание – сошла с ума. Когда я родилась, она была уже невменяемая. Болезнь уходила и возвращалась. Мама умерла в 1987-м в психиатрической лечебнице, которую не покидала тридцать лет. Она всю жизнь обвиняла себя в смерти мужа и семьи: "Почему я спасла только себя?" Душой она была с ними в концлагере и в газовой камере. Она исписывала свои запястья лагерными номерами. Я часто спрашивала ее об отце, но она молчала – не могла касаться боли. Я росла внутри ее тоски.

Я была очень везучая девочка с низким голосом, который был моей визитной карточкой. Читала наизусть ТАНАХ и участвовала в школьных постановках. Однажды мама приеха-

ла в школу "Адасим", где я училась, и пригласила меня в театр, это был первый спектакль, который я видела – "Пигмалион" Бернарда Шоу с Ханой Марон в главной роли. Я помню ее до сих пор: я почувствовала тогда, что хочу быть там, что это мое место, я почувствовала магию – магнит сцены, я почувствовала, что могу быть там счастливой.

Мне было четырнадцать, и кроме театра меня уже больше ничего не интересовало. В школе меня стали называть Элизой Дулитл. Я стала молиться – мне важно было уйти от мамы. "Господи, забери меня отсюда!" Я хотела убежать, хотя любила мать больше всего на свете. Я боялась, что сумасшествие ждет и меня. Из-за ее молчания я стала думать, что мой отец – наци, плохой немец – поэтому она не отвечает. Но однажды тетя мне сказала: "Ты – дочь героя".

И я стала искать. Однажды я нашла в ее простынях зашитый документ: "Макс Александрович. Хайфа. Кайбич". Я взяла тремп и поехала. Шофер спросил: куда? Я сказала, что ищу в Хайфе человека по имени Кайбич. Он сказал: "Это хайфское кладбище – Кают-бич". Он привез меня туда, и среди еврейских могил 1939 года я нашла отцовскую. Я убрала могилу. И успокоилась: нечего больше искать – его не существует. Но он – еврей, а потому в духовном смысле – еще как существует!

Я стала искать детали. Позже съездила в Германию и поняла: я, Гила Александрович, похожа на своего отца. И если у меня есть талант – это от него...

Гила Альмагор, Шмуэль Виложный, Одед Теоми – все эти звезды израильского театра ведомы своими погибшими отцами. Меир Теоми погиб в 1948 году от арабской пули у порога своей сцены в парке Ха-Яркон. Виложный-старший прошел через гетто. Актерские удачи их детей во многом объясняются постоянным отцовским присутствием. Из-за смертной черты они сопровождают своих звездных "ингелэх", гуляющих по райскому саду искусства.

– Отец... все, что я делаю, я делаю для него. Для него хочу быть самой лучшей, чтобы он гордился мною. Его отсутствие я превратила в наследие – в богатство: я говорю с ним, как с живым. Я чувствую, что он хранит меня, что ему не безраз-

лична моя судьба. Когда я выхожу на сцену, я говорю ему: "Дай мне силы быть самой лучшей, какой я могу быть. Не лучше других, а именно такой, какой я могу быть благодаря тебе. И я обещаю, что не разочарую тебя... "

Так и произошло. Ее путь к славе – тому доказательство. Дитя своего поколения, она всего добилась сама, ощущая огромное духовное наследие предков и судьбоносность каждого своего самостоятельного шага.

Услышав, что открывается школа драматического искусства в "Габиме", она бросила школу и одна, без копейки, без каких-либо знакомств, приехала в Тель-Авив.

– Я начала с нуля. Центральная автостанция, шум, грязь, а я стою одна, с длинной косой и в закрытом платье... Но я преодолела шок. Я знала, что мне нужен хлеб и крыша. Нашла какую-то контору, там было несколько человек. "Девочка, что ты умеешь делать? " – "Я умею выращивать цветы". Они засмеялись. "Но я могу научиться всему!"

Один из них принял меня в магазин сантехники. Все заказы я доставляла бегом. Когда он узнал, ему стало плохо: "Я думал, у тебя есть велосипед! Ты же сказала "Офанаим!" – "Нет, вы не расслышали, я сказала, у меня есть ноги – раглаим!".

Мой хозяин помог найти комнату рядом с "Габимой". Я сразу поняла, что это перст Божий. Хозяйка дала мне кровать и один стул за 25 лир в месяц. Я тут же согласилась и побежала в Драматическую школу. Шел 1954 год – мне было пятнадцать с половиной. Секретарша отказалась записать меня на прослушивание: "Иди домой!" – "Мой дом – здесь. Запиши меня на экзамен".

"Только после армии".

Две недели я осаждала ее. Однажды написала большими буквами: "Гила Александрович" – и положила перед ней: "Посмотри внимательно. Если прочтешь в газете, что со мной что-то случилось, знай, что это ты виновата. И если я однажды стану актрисой, ты будешь жалеть, что не помогла мне..."

И она сдалась.

Я была принята немедленно. Хана Ровина, Аарон Мескин, Йошуа Бертонов были в комиссии – у меня дрожали коленки.

Но когда я прочла монолог Лауренсии из "Овечьего источника", все было решено... Биньомин Цемах был моим первым учителем, и это было счастьем. Рядом в группе были Алекс Пелег, Шломо Бар-Шавит, Амнон Мескин...

Уже в первом учебном спектакле я получила главную роль. Это была революция для театра, где девочек играли пятидесятилетние актрисы. Цемах отстоял меня. И с первого курса меня взяли в "Габиму". Я получала те же пятьдесят лир, что и в магазине. Я питалась водой и фалафелем – и была сыта энергией искусства.

И вдруг после генеральной репетиции, спектакль снимают. Это был удар. Я чувствовала себя, как Моше у границ Израиля. Я уже видела прекрасную обетованную землю – и не могла войти! Элишева Михаэли, Шмулик Сегаль, Амнон Мескин успокаивали меня. И было решено, что я останусь в театре как статистка.

В израильской комедии "I like Mike!" мне дали роль полицейской, которая важно проходила по сцене и произносила всего одну фразу: "Здесь живет Тамар Ариэли?" И все! Но этого было достаточно, чтобы жить дальше!

Театр стал для меня главным делом. Я всегда думала, что должна быть точной на сцене – привнести в образ то, что Господь дал мне. Так было с Анной Франк. Это была прекрасная возможность самовыражения ума, души, таланта, юности – всего, чем я была одарена. Я начала получать незначительные роли, но обо мне заговорили.

И вдруг через два года выгнали на улицу, как собаку. Не только старики, но и молодые стали опасаться моей популярности. Я мешала всем. И когда меня уволили, я хотела только одного – умереть...

Еще до того Камерный несколько раз приглашал меня на главные роли, но я говорила, что не могу предать "Габиму"! На следующий день после увольнения все театры обратились ко мне с предложениями работы. И тогда я отложила свое самоубийство и согласилась на Камерный. Это был 1959 год.

В руководители театра пришел Яков Агмон (в будущем – муж Гилы. – *З. З.*). Начало складывалось удачно. В "Мариусе"

мне дали главную, прекрасно написанную роль Фани. Но я пришла на "Фани" с белыми волосами и молодая… И больше серьезных ролей я не получала. Я стала играть у них всех сексуальных дур и поняла, что пришла не туда. Я чувствовала, что у меня есть кровь, кишки, живот. Я уже знала, что такое боль, я уже прикасалась к настоящей жизни! А ко мне относились, как к кукле... И так десять лет. Пока однажды они не взялись ставить "Кинерет, Кинерет" по Натану Альтерману. Там была трудная роль с мелодекламацией – центральная роль Тани. Я требовала, чтобы меня прослушали, стучала кулаком.

"Ну, Гилуш... "

"Не говорите со мной так сладко – попробуйте меня!"

Семь раз они меня экзаменовали, и когда я услышала, что роль моя, то чуть не упала. Однако имидж куклы я разбила.

На одном из спектаклей появился режиссер из Дании Сэм Бейсиков. Он приехал ставить "Галилео Галилей". Эта станция – самая важная в моей карьере. Он появился в театре, не зная, кто я и что я. И вот – пришел за кулисы и предложил мне главную роль Вирджинии. "Подожди, – говорили ему, – осмотрись. Ей всего двадцать три. Она слишком красива и не сможет сыграть такое!" (Там героиня сначала девочка, потом женщина, потом столетняя старуха.)

Но он настоял на своем! И когда на генеральной репетиции я вышла сначала согнутой седой старухой, в мешковине и мужских шлепанцах, а потом играла ее женщиной и девочкой, критики сказали, что спектакль надо назвать не "Галилео", а "Гилалео"...

После премьеры, ночью, он улетал в Данию. На прощанье все пили за него. Он был настоящий еврей-интеллектуал и режиссер прекрасный. И он сказал мне: "Поговорим?" Моя артистическая была рядом с местом, где шло веселье. И под весь этот шум Сэм вдруг сказал: "Возьми чемодан и уходи отсюда – чем подальше. И никогда не возвращайся сюда – в Тель-Авив, в Израиль, в театр – до тех пор, пока у тебя не появятся глубокие морщины. И чем больше, тем лучше. Ты будешь великая актриса. Послушай меня и не слушай больше никого. Они не знают, кто ты и чего ты стоишь".

С этого момента я разослала во все учебные театральные заведения Нью-Йорка свои бумаги и начала искать пути к совершенству.

...Ее приняли в свой класс Ута Хаген и Ли Страссберг, исповедовавшие принципы К.С.Станиславского.

– Я человек амбициозный. Я знала, что все зависит только от меня. Я ехала не за карьерой. Я уже снялась в нескольких фильмах. В Израиле всем казалось, что я уже всего достигла. Однако я решила учиться с нуля. Ута Хаген запретила мне играть в английских пьесах. "С сегодняшнего дня ты работаешь у меня только Чехова. Ты рождена, чтобы сыграть его. Я хочу, чтобы ты сыграла Соню, Елену, Машу. А когда сыграешь женщин, переходи на мужчин: сыграй дядю Ваню, Астрова..."

Из Израиля звонили и спрашивали, когда у меня отпуск, чтобы сняться в очередном фильме или сыграть кассовый спектакль, а я училась по четырнадцать часов в день, училась всему, включая даже классический балет. Я должна была владеть своим телом. Меня не хотели брать в балетный класс – как-никак двадцать три года. Но Ута Хаген помогла мне попасть в школу Анны Соколовой, и я училась с маленькими девочками, которые надо мной смеялись. В конце года я танцевала с ними Королеву Цветов.

Ута Хаген спрашивала новых учеников из Израиля: "Вы знаете сумасшедшую Гилу Альмагор?" Она прямо говорила, что у нее никогда не было такой тронутой, яростной, амбициозной ученицы. Четыре года назад по ТВ сделали фильм обо мне "Эта особенная жизнь". Ута Хаген говорит там: "Ты заслужила то место, где сейчас находишься. Ты работала, как собака. Тебе все это – положено".

В 1965-м я вернулась и сыграла в "Камерном" Мэрилин Монро по пьесе Артура Миллера "После падения". Это был важнейший момент в моей биографии. После Нью-Йорка я смотрела на себя уверенно и говорила себе: "Только сейчас ты – действительно актриса, потому что вложила в это столько, сколько надо вкладывать в искусство: и деньги, и время, и адскую работу, и лучших учителей".

У Биньомина Цемаха я училась только год. В течение десяти лет бывали провалы – не только успех. Все было случай-

но – выигрышным был только возраст. Теперь меня ничто не могло поколебать. Я почувствовала себя профессионалом – актрисой, готовой бросить себя всю режиссеру. Я люблю совместную работу. Но часто я не получаю ответы на свои вопросы и работаю сама.

Леонард Шах, ставивший "После падения", был идеальным собеседником. У нас было много общего. Он много знал об унижении женщины, он хотел понять меня и как актрису, и как человека. Мерилин тоже начинала как наивная девочка, которая мечтала быть артисткой. Огромным трудом она достигла вершин, а кончила наркотиками и самоубийством. Даже если ее убили – я исследовала ее жизнь, – она все равно была обречена на трагедию. Это многогранный прекрасный драматический образ, очень трудный для воплощения. Но я была готова. И пришел успех. Я почувствовала себя абсолютно свободной и ушла из Камерного. Шел 1965 год.

Америка научила меня быть хозяйкой своей судьбы. В Камерном меня хотели заманить Чеховым. Играть Чехова – это великий шанс в жизни. Но его надо использовать только с очень достойным режиссером. И когда мне сказали, кто будет ставить, я преодолела свое желание и ушла в свободное плавание.

У Агмона уже был свой театр "Бимот". Туда Нисим Алони принес пьесу, написанную специально для Йоси Баная и меня, – "Невеста и ловец бабочек". Тогда это был авангард, опережающий время. Мы думали, что на спектакль никто не придет. Но ставил сам Алони. И вдруг – кассовый успех и замечательная критика. Играли без конца.

Нисим уловил ритм моей актерской души. Я могу делать лирические и гротескные образы одновременно – от королев до живых женщин, упавших на дно. У меня феноменальная память, я могу говорить на сцене часами. Но для меня важна и абсолютно бессловесная роль. Так это было в спектакле "Ночь в мае" по Алеф-Бет Йеошуа, написанной по следам Шестидневной войны. Я играла мать, которая все время на сцене и – молчит. Я была убеждена, что она все видит своими усталыми глазами. У нее младенец, она не спит по ночам, и муж исчез. У меня было всего восемь реплик. Но получилась целостная жизнь, которую я сама построила изнутри. Это был точечный

выплеск энергии сквозь внешнюю пассивность. Я очень быстро говорю, и в моем слове есть сила. А тут я заставила себя молчать, выдохнуть воздух. Это была одна из самых неожиданных моих ролей, построенная на контрасте. И я сделала это сама – постановщик Израэли мне просто "не мешал".

Идеальный режиссер для меня – Ханан Снир (с Г.А. он поставил "Духи" Ибсена и "Кадиш по Наоми". – *З. З.*) Ты выходишь с ним в путь, он дает тебе руку, идет с тобой, охраняя и приводит к самым глубоким колодцам...

Мне важен масштаб роли, какой у меня был в "Жанне д'Арк" по Шоу. И хотя тогда был провал, это не привело меня в отчаяние. Ибо одновременно меня пригласил на главную роль в чеховской "Чайке" Леопольд Линдберг – в Камерный. Мне было тридцать шесть.

Нина Заречная – не моя роль. Я не могу играть розовую юность. Но во второй части, когда она уже и как актриса, и как женщина получила от жизни удары, когда она появляется на сцене как истекающая кровью чайка, тогда это мое. Играть было трудно. Даже когда закрывался занавес, я продолжала искать в себе Нину с ее озером и мечтами и не могла найти. Я всегда знала только, как играть тяжелый итог. Я уже заработала тогда и морщины, и жизненный опыт.

Я стала актрисой еще в Америке и могла не возвращаться. Но я чувствовала, что должна быть здесь. Это вопрос внутренней принадлежности. Все мои ассоциации, весь мой духовный мир связан с ивритом. У меня тысяча причин быть здесь: соотнесенность с местом, языком, климатом. Тут я начала строить свою семью...

Несколько лет назад в Швейцарии я встретила менеджера Ольгу Острик, которой меня представил Пьер Брассар. Он думал, что открыл во мне новую Анну Маньяни и привел к той, кто вела дела Анни Жирардо, Джейн Фонды, Бриджит Бардо. В свое время я отказалась с ней работать. Она узнала меня: "Ты маленькая Альмагор из Израиля? " – "Да". – "Никто в жизни не разговаривал со мной так дерзко, как ты. Ты не жалеешь? Ты могла стать мировой звездой – не только израильской..."

Что ей ответить? Может быть, что-то я и потеряла в смысле театра. Но я построила нечто более важное – семью.

Без нее я не могла бы делать то, что сейчас делаю. Я играю в Израиле такие роли, которые на Западе не могут делать даже самые большие актрисы. Я думаю, что здесь я выиграла по-настоящему – свою актерскую самодостаточность, положение в обществе, уважение людей. У меня здесь друзья, семья, дети, внуки. Это воплощение многих моих надежд. Я могу быть недовольна только самой собой.

Я могу рассказать и о своих провалах, и о периоде молчания, когда на вершине славы вообще не звонил телефон (1980-1987), и о предательстве режиссеров, когда я дошла до предела унижения... Ради моей дочери я начала писать о том самом тяжелом лете, о котором не говорила никогда, о своей сумасшедшей матери. "Лето Авии". Через полгода книга была на полках магазинов. Критика прекрасная, потом моноспектакль, фильм... И мир открылся снова.

Я начала получать международные призы, ездить на фестивали: Рим, Мадрид, Берлин, Белград... Всюду пишут: "Королева". А в Израиле фильм осмеяли: "У нее же польский акцент!" А что же – говорить на наречии улицы Шенкин? У нас тут особый национальный спорт – бить ближнего, неотъемлемый атрибут провинциализма. Ничего! За эти семь лет молчания я прошла целые университеты и открыла для себя писательство. Сейчас выходит четвертая моя книга...

После 1987 года я сыграла Мать по пьесе Миллера "Все мои сыновья" в Беэр-Шеве, Любимую в "Дуэте для одного" в Бейт-Лесине, Медею и Марию Каллас в "Габиме". Хотя была и неудавшаяся "Бернарда Альба" – просто текст, с которым нужно было справиться.

А Наоми – это роль, к которой я готовилась всю жизнь. Это самое потрясающее, что я когда-либо создала. В ней – вся биография моей души. Ради этой роли я изуродовала себя – растолстела специально. Так требовала пьеса. Я хотела, как там написано, быть тяжелой. Я совсем потеряла голову ради Наоми. Я хотела сыграть нечто совершенно себе противоположное.

...Я видела один из последних спектаклей "Кадиш по Наоми" в Мерказ Дуэл, что за шуком Ха-Тиква – в одном из беднейших районов Тель-Авива. Среди гомона женщин, спорив-

ших о приготовлении блюд прямо на улице, развешанного белья, мужчин с фалафелем, обсуждавших последние финансовые новости, вдруг неожиданно вырос современный каменный театральный гигант с пустой площадью, на которой единственным памятником были многочисленные литые орлиные крылья – символ мощного взлета, ассоциировавшегося у скульптора с возрождением Израиля... "И будете вы легки, как орлы... " – надпись на постаменте.

И когда я увидела Наоми Гилы Альмагор, я услышала шум литых крыльев! Это был настоящий полет, от которого захватывало дух у онемевшего зала. Красавица и умница, она играла женщину, не способную думать, – открытое любящее раненое сердце. Она играла женщину без кожи, пережившую все социальные катаклизмы XX века: погромы, революции, войны, – и сошедшую с ума, превратившуюся в чудовище. Все менялось в ней – звенящий голос переходил в скрипучее дребезжание, а походка из танцующей и тревожно мятущейся в осторожное переступание через половицы. И только глаза – глубокие, темные как омут, продолжали жить и тревожить потрясенный зал. Это было больше чем профессионализм – это была ее собственная трагедия, ее сведение счетов с прошлым и настоящим, взлет раненной человеческим горем Чайки!..

– Однажды мне приснился сон. Я иду по улице. Вижу знакомого актера и пытаюсь скрыться в подъезде. И слышу за своей спиной: "Как ее имя?" – "Не знаю. Кажется, когда-то она была прекрасной актрисой..." – и я с ужасом открыла глаза...

Ее лучшие роли убеждают нас в том, что то был лишь сон. Мастер продолжает свой тяжкий путь к совершенству.

Лиора Кнастер

* * *

Ведь всё это было воспето:
О встрече на самом краю.
Но если мне грезится это
В моем облетевшем Раю?

Летели по самому краю,
Ну вот мы и падаем вниз,
Хотели познанья, и знаю,
Что мы не разбились – срослись

Я больше сказать не посмею,
Что даже и в этой стране
Ни мне, ни вчерашнему Змею
Не выпало счастья во сне.

Мы всё просчитали, как надо,
Почти безо всяких затей.
В тумане вселенского сада
Ты всё же исчез, Прометей.

Заново

В этом городе, имя которому –
воздух и свет,
я могла бы родиться,
но это случилось не так.
Я должна появиться
опять через тысячу лет
только здесь,
а не там,
где морозного инея
знак.

Здесь своё наказанье
оставят огонь и вода,
только воздух, колеблемый духом,
схвачу и найду.
И покинут меня
Уриэль с Люцифером – тогда
Я по шаткому мостику
К лестнице вечной взойду.

* * *

Неужели закончилось чудо –
На подмёрзшем пути, как слюда,
Не ведет в никуда ниоткуда
И уже не зовёт никуда.

…Лоскутки разноцветные сшила,
По своим возвращаясь следам,
Неужели я всё совершила
И харизму другим передам?

В каждом месте всегда я, как дома,
Позади затворились пути,
Неужели душа не ведома,
А сама начинает вести?

Обретя за открытьем открытье,
Воплощаюсь в пустые слова –
Им достаточно только наитья
И не надо уже мастерства.

Перед тем, как исчезнуть во мраке,
Раствориться в серебряной мгле,
Я оставлю надменные знаки
На печальной и яркой земле.

Где разбился мой дух, как посуда,
Где истаял мой пламень, как лед.
Неужели закончилось чудо
И обычная жизнь настаёт?

* * *

"Я вернусь через тысячи лет
Без меча, без ключа, без луча,
Даже узкой полоской рассвет
Моего не расцветит плеча".

Мы забыли Твои имена,
Отягченные долгой зимой,
Уводила в изгнанье Шхина,
А весна приводила домой.

Столько осеней, вёсен и зим,
Столько лет, что не время для встреч,
У Твоих сыновей, Элоим,
Только ключ, только луч, только меч.

* * *

Если тебя я встречу,
Небо взлетит на воздух,
Будут гореть, как свечи,
Души святых на звёздах –
Станут для нас предтечи…
Будут враги разбиты,
Если тебя я встречу,
Солнце сойдет с орбиты! –
Чтоб зазвенели речи
Вязью огня в эфире…
Вот оттого и встречи
Нам не дается в мире.

* * *

Наступили волшебные дни,
На себя не похожи они.

Дрожь и трепет, подъём и печаль –
Но размеренной жизни не жаль.

В пору времени Гар-Мегидо
Не бывает ни после, ни до.

Ведь сама же молитву о них
Я вплетала в провидческий стих.

И забыла, что тьма, а не свет
Этот день – эта тысяча лет.

Но спасибо, что в этой стране
Умереть предназначено мне.

Воплощение

"Всё то, что возможно, приемлю
Из песен и чисел и слов,
Когда опускаюсь на землю
С прозрачных жилых облаков.

Приветствую даже глубины
И снежные конусы гор!
Но что ж я одна, без мужчины,
Которым была до сих пор?"

…– Куда подевалась преграда,
Что встанет меж мною и "я"?
Тебе ж я особенно рада,
Душа неземная моя!

С тобой я восстала из гроба.
Тобой изумленно дыша,
Приветствую всё, но особо,
Тебя, нежилая душа!
Ну вот, ты вернулась из странствий:
"Встречай на пороге волну
Мечты, что погасла в пространстве!"
…И душу я телу верну.

* * *

Я жду тебя, как слой бессмертных душ,
Когда скользит по скату облаков
В юдоль для написания стихов,
Я жду тебя, как грешники в Аду
Раскаянья – прощения грехов.
И ты придёшь. Я знаю.
– Я приду.

Шестой псалом

Наказанье лишилось размаха,
Словно было оно не всерьёз:
Больше кости не чувствуют страха,
Больше нет механических слёз.

От души отслоилась обида,
И ушло основанье огня –
Ты меня поразил, как Давида!
…Лишь одежды – не греют меня.

* * *

Какой ответ я дам Тебе, когда…
Скажу, что я жила в Йерусалиме
И дней моих тянулась череда
В невольном одиночестве и в дыме,

Как в облачном столпе средь бела дня…
Так я жила – без чуждого огня.

Я часто просыпалась на заре,
Своё чуть-чуть меняя естество…
И всё ж сидела я в Твоём шатре,
В одном из двух – хоть не было его.

Так промелькнуло десять лет и зим,
Ты стал моим закатом и рассветом,
Твой воздух умудрил, Йерусалим,
В тебе одном я сделалась поэтом.

Хоть целый год мелькнул, как ложный блик,
Но я сама в самой себе нашлась –
Здесь не прилип к гортани мой язык
И правая рука не отнялась.

Леонид Левинзон

Санитар

Я не мог пройти мимо, чтобы не пожелать ей смерти. Но она уже не могла умереть. Вытянутая в струну, неподвижная, бессловесная, ещё такая молодая, она была обречена валяться здесь, в вонючих простынях, и только еле теплившиеся глаза выдавали, что в этой разрушенной оболочке ещё есть душа.

История лежачей была предельно проста: её вытолкнули замуж за такого же, как она, ортодокса и, выполняя заветы, эта женщина начала без перерыва одного за другим приводить в мир детей. Пока... пока что-то не разладилось в её организме, и во время очередных родов она превратилась в напряжённый кусок дерева.

Муж, быстро оценив ситуацию, с разрешения раввинов женился на другой, а детям, чтобы не было лишних проблем, сказали, что мать умерла.

Единственный человек приходивший к поверженной, раскинувшей на подушке с клеймом больницы чёрные, неувядающие косы, была маленькая, скромная старушка с вечным узелком в руках. Но что старушка? Поплачет и уходит. Поплачет и уходит.

Сейчас ночь. Но такая ночь не приносит облегчения, эта ночь, как лицо нездорового человека, и её разрывают перебои – кашель, вздохи и судорожные всхлипы сквозь сон.

Рядом со мной "везунчик" с красивыми, пышными усами. И чтобы скоротать время перед рассветом, он рассказывает поучительные сказки, как надо жить.

– Вялый ты, – говорит он мне даже не насмешливо, а участливо и сожалеюще, – ничего не умеешь, нет у тебя вкуса этого... Вот смотри, был у меня парень: умница, из профессорской семьи, отец знаком с Чазовым, после института сразу в исследовательский центр, оттуда в Швецию учиться, возвращается и делает кандидатскую, впереди докторская. А он – раз кульбит и в совместное предприятие. А почему? – Жить хочет. И не потом, а сейчас, немедленно. Понимаешь? – "Везунчик" потягивается и продолжает покровительственно. – Я вот тоже после института ничего не знал, но обращался с больными очень-очень внимательно. И да – имел парнасу.

Я слушаю его, опустив голову, я ведь в принципе согласен: что за бестолковость такая быть бедным.

Но вот, слава имени Божьему, за окнами, наконец, бледнеет, и мы, зажигая резкий, почти обжигающий с утра свет, идём поднимать больных.

Сначала толстенного Ханоха с болезнью Дауна, потом крошечную, дерущуюся спросонья старушку Малку, ещё тридцать молчащих стариков, барина Реувена без рук, без ног в его отдельной палате, и напоследок живой кошмар из фильмов ужасов – огромную, безумную женщину, привязанную к кровати. Как пропасть, открывается её рот при виде человека, и ты окатываешься неостановимым жутким криком.

После подъёма кормление, и я кормлю толстого Ханоха, а чтобы было веселее, рассказываю ему случай:

– Понимаешь, Ханох, – говорю, – вчера в квартале Ромема иду через детскую площадку, а там, в песке возится мальчик лет пяти: бритая голова, пейсы, кипа на бритой голове. Вдруг он поднимает глаза и смотрит. А я на его папу ведь совершенно не похож... и без чёрного костюма, и без бороды, пейсов... И он спрашивает: Скажи, ты гой? Гой, да? – Я не знал, что ответить. Просто растерялся. Понимаешь, я ведь и сейчас не знаю, что ответить... А, может, ты знаешь?

Но Ханох не знает и сладко улыбается, глотая кашу.

– Ладно, не важно, – прощаю я его тугодумие, – главное, чтобы ты поел хорошо, – и от доброты душевной предлагаю, – я тебе ещё расскажу, у меня припасено... но, правда, только завтра, а то сегодня я устал.

Встаю, оставляя сытого Ханоха, и перехожу к недавно поступившей Лизе родом из России. Но когда подношу ложку к её рту, закрываясь ладошкой, она спрашивает шепотом:

– Скажите, мы случайно не в Германии?

– Нет.

С облегчением:

– А где?

– В Израиле.

– В Израиле? Точно?

– Да.

– Ну ладно... – и когда я прекращаю давать еду, она всё ещё в недоумении поджимает губы.

Смена заканчивается, я переодеваюсь и с удовольствием выхожу в привычную жизнь. Везунчик быстро лезет в свою машину: он должен спать, а потом учиться, чтобы, вернув себе звание, опять брать взятки. А я после бессонной ночи бреду по проснувшейся земле, впитывая в себя утро.

Десять лет назад я работал чиновником в зоне для уголовников, и ко мне подошёл один, жёлтое лицо, бритый... Спрашивает:

– Ты еврей?

– Еврей.

– Я тоже. Ты не смотри, я не какой-нибудь, я не убийца, – и с гордостью, – я был директором универмага, всё через мои руки, так что сам понимаешь...

– Понимаю.

И тут его позвали:

– Жид, эй, жид, тебе говорят! Иди сюда быстро!

– Да иду, иду, – огрызнулся он, провёл понимающим взглядом и больше не подходил.

А теперь "везунчик" говорит мне, как надо жить...

Кроме "везунчика" я ещё имею честь работать с бывшим директором Невского рынка в Ленинграде. Я вообще жил в Ленинграде, но на Невском рынке не бывал, и он говорит мне

теперь, что это очень интересное и приятное место. Вдвоём с женой они сняли в Иерусалиме и забили вещами на продажу пятикомнатную квартиру, плюс что-то ещё плывёт на пароходе, и он достаёт меня, не хочу ли я купить пианино? Я отбрыкиваюсь и злюсь.

– Ханох, – начинаю на следующий день, – в России, так получилось, я был проверяющим. Так вот, послали меня проверить стоматологическую поликлинику в районе. И там, в одном из кабинетов, вдруг вижу, что один из местных стоматологов, не меняя и не стерилизуя, одним и тем же грязным инструментарием лезет из одного рта в другой.

Сажусь писать акт, и тут меня просят выйти. Выхожу... Стоит этот самый стоматолог и спрашивает:

– Ты еврей?

– Да

– Собираешься в Израиль?

– Собираюсь

– И я тоже. Не пиши ничего. Эти гои всегда будут нас ненавидеть. А нам-то делить нечего...

– Скажи, – интересуюсь, – ты там, в Израиле, будешь работать опять стоматологом?

– Конечно...

– И что, собака, этой мерзостью, когда я приду на приём, ты ко мне в рот полезешь? Да я тебя тут закопаю... чтоб не доехал.

При этих словах Ханох резко дёргает головой, и с него слетает кипа. Я поднимаю её и водружаю обратно: у Ханоха есть заботливый брат, который очень строго следит, чтобы милый Ханох всегда был в кипе.

Вы знаете, я ведь ничего не забыл и ни к чему не привык. Во мне очень много злости. Я за всеми записываю, не собираясь ничего прощать.

Шабат. Двойная оплата. Двойная оплата для меня, везунчика и бывшего директора, которым эмиграция списала всё. Они нашли общий язык и шлёпают карты об стол, когда есть перерывы. А ещё двойная оплата для одной медсестры, которая, чтобы включить-выключить свет, с хитрым видом зовёт меня – что ж, я выключаю. Я тоже боюсь бога, но позволяю

себе вольности, одновременно так же позволяя себе ещё роскошь и не мучаться от этого.

Работая здесь санитаром, я усвоил два правила:

Первое – нет ничего грязного.

Второе – человек имеет право на старость. На любую старость. Даже на такую.

Со временем больные старики перестают говорить. Едят, спят, механически делают, что от них просишь, но не говорят. Отгораживаются от мира, который им больше не интересен. А если и вымолвят слово, то только на том языке, который подарила мать. Всё остальное уходит. Ухает в пропасть. И человек возвращается к началу голый.

... Малка потухает. Местное её прозвище – "Свадьба". Раньше, услышав это слово, задорная старушка начинала смеяться и танцевать. А когда один идиот однажды спросил её, подмигивая окружающим:

– Малка, выйдешь ли ты за меня замуж?

Та, как бы внезапно обретя обратно разум, неожиданно ответила:

– Тебе только на моей бабушке жениться...

Но теперь Малка больше не танцует. Она сидит, вялая и безучастная... Дело в том, что она упала. Вроде ничего не случилось, ничего не сломала, но она потеряла жизненную силу – внутри поселился страх, и теперь этот страх ест её поедом, даже не давая ей ходить. Кровать Малки находится как раз напротив лежачей больной, в который раз вынужденной наблюдать чужую смерть.

Скоро Йом Кипур... Двойная оплата. Время божественной подписи под твоей судьбой. В эту звёздную, необычную ночь я подойду к лежачей с чёрными косами и лягу на неё – пусть вспомнит. Пусть загорятся её глаза, да даже и ненавистью, это будет питать её душу.

А утром – утром я уволюсь.

В период между Новым Годом и Йом Кипуром люди делают друг другу разные хорошести. Нищим подают, улыбаются при встречах, даже могут временно подождать с долгами.

Я глотаю это, как банан.

Провальное дело

У меня не получался рассказ. Я подождал: героиня рассказа умерла, муж её умер, приёмный сын выкинул старую мебель и продал (обычное дело) квартиру. Так что всё – они на бульваре Герцля, дом 35 в Иерусалиме больше не живут.

Лет десять назад, когда я только приехал, я ходил учить к ней язык, а когда вообразил себя писателем, попросил рассказать о своей жизни.

В тихой квартире с книгами седая, больная женщина, подперев кулачком левой руки лицо, удивлёнными карими глазами всматривалась в меня.

– Но зачем? – спросила, – зачем?

– Я, я… я хочу написать!

Покачала головой:

– Я не герой, да если бы и была, не думаю, что нужно.

Но, увидев умоляющий взгляд, согласилась:

– Ладно. Приходите. В четверг.

А когда пришёл, сделала кофе и пододвинула чашку:

– Слушайте, – сказала.

В 1933 году одно за другим случилось три события: первое – учительница английского языка, милая маленькая женщина, придя в очередной раз, сама не своя, вдруг расплакалась. Оказывается, её муж-немец и собственные сыновья сказали, что если она будет ещё ходить в еврейские дома, и учить еврейских детей, они её убьют. Второе – отец остался без работы. Уже пять лет он состоял коммивояжёром одной немецкой фирмы, продающей муку. И вот, из Германии, пришло письмо, где было написано, что в еврейских услугах они, немцы, больше не нуждаются. И третье – в этом году Тамаре исполнилось 13 лет. В 13 лет она должна была учиться в последнем классе так называемой основной школы, где преподавание велось на немецком. Но отец позвал, посадил дочь напротив себя на жёсткий деревянный стул и сказал с силой:

– Девочка моя, я больше ничего не хочу знать о немецком языке.

И, взяв за руку, отвёл её в еврейскую гимназию. Так Тамара начала учиться читать странные, бегущие справа налево буквы, и говорить на гортанном языке своих предков.

А время было – начало грозы. Жили в Риге, старой столице маленькой Латвии. Евреи, понимая нестабильность положения, в Либаве, ближе к Германии, учились и говорили на немецком. А в Двинске, ближе к России, на русском. Это было также время, когда идеи социализма захватили умы людей, и тоненькая упрямая девочка-подросток не избежала их притягательного влияния. И поступила в скаутскую, конечно сионистскую, конечно социалистическую организацию молодёжи. Папа был не в восторге, а они ходили в походы, пели песни, собирались вечерами, спорили до хрипоты. Всё как в пятнадцать лет.

Тамара всем сердцем восприняла изумительную идею равенства, и когда приехал Шаляпин, не пошла на его концерт.

– Как же, сколько есть людей лучше меня, но менее обеспеченных, они не могут себе позволить, а я пойду?! Нет!

Но все остальные скауты, позабыв бурные социалистические дебаты, не пошли, а побежали в оперу. И в этот вечер не было споров, в этот вечер пел Шаляпин.

В дверь постучали, и в комнату заглянул седой человек с тёплыми глазами:

– Тамарка, ты занята?

Я попрощался и вышел:

– Ведь жил в Союзе, – подумал, – и ни разу не был в Риге, Таллинне… Да ладно, мало ли где не был.

Светило солнце, ходили красные, тогда ещё не взрываемые автобусы, на базаре весь коричневый и горбоносый кричал счастливо:

– Папа, папа, твой сын сошёл с ума! Посмотри, как дёшево он продаёт апельсины!

Мы встретились через неделю:

– Что будете? Чай, кофе?

– Пожалуй, кофе.

…Они попрощались в конце октября 1938 года. Отец, претворяя в жизнь свои идеи, купил на выплату десять дунамов земли около Тель-Авива и достал сертификат для дочери.

Господи, как плакали.... И ведь мыслей никаких, ну побудет дочка одна ну полгода, ну максимум год, пока не соберутся родители. А плакали... и не могли остановиться.

Утром Судного дня отец уходил в синагогу, а вечером, когда в Риге становилось холодно, мама брала пальто, и они шли ему навстречу. Папа надевает пальто, кладёт руку в карман, и находит там большое, уже тёплое яблоко (он страдал язвой, а мама беспокоилась). Какой же был скандал! Первый после Йом Кипура. И так повторялось каждый год: молитвы, тёплое яблоко, игрушечный скандал – и всё на своих местах. Пока не отняли жизнь.

А Тамара ехала в Палестину. Поездом до румынской Констанцы, дальше на старом польском теплоходе "Полония" в Хайфу. На берегу встретили таможня с англичанами, потом доктор с прививками. Из Хайфы в Тель-Авив автобусом. Холодно, мерзко, дождь. Кругом всё маленькое, кривое. Ночь переночевали в палатке, утром её сорвало ветром.

Через неделю она подала документы в университет.

Тут моя героиня вздохнула и прервалась:

– Так поздно, заговорились мы сегодня.

В комнате давно стемнело, и не было в ней ни теней прошлого, ни будущего, только на столе стакан с забытым, холодным кофе и пустая тарелка из под бутербродов. Да какая-то странная усталость.

– А что с купленной землёй?

– Папа не успел выплатить. Меня нашли и прислали бумагу: договор аннулирован.

На третий раз у неё не было особого настроения.

...Дальше? Дальше вся жизнь. Встретила Сеню. Как он чудесно играл на скрипке... Только поженились, он ушёл на войну с фашистами. Страшные времена были – террор, с шести вечера комендантский час. Выходила за водой и боялась зажечь свечку, чтоб осветить дорогу – англичане стреляли на огонь. После решения ООН – бомбёжки Иерусалима. Сеня опять на войне, теперь с арабами. Кстати, была возможность позвонить по телефону, узнать, муж есть, или уже нет, – помолчала, – страна полна могил.

Что ещё? После войны за независимость Сеня потерял место в оркестре. Пошёл оббивать мебель. Одолжили денег и взяли под ключевые развалюху около Бэйт-а-Керем. Потом ещё война. Потом ещё. А 15 лет назад купили эту квартиру.

– Тамара, а вы могли бы уехать?

– Зачем?

– Ну, жить более спокойно.

Раздражённо отодвинула чашку:

– Это моя страна.

А теперь объясните мне! Я ничего не понимаю в жизни…

Отец Тамары погиб, и сионисты, утирая слёзы, аннулируют договор на землю, оставляя его дочь нищей.

Муж Тамары воюет за страну, но автомат не скрипка, его выгоняют из оркестра.

Сама Тамара после болезней, вызванных холодом и неустроенностью, не может иметь детей.

Под конец жизни они молят только об одном – умереть вместе, но и это не получается. Причём Семён постепенно теряет разум.

Где же награда? Где сдержанные аплодисменты? И ведь не надо ничего особенного – здоровье, достаток, дети. Это любой бог может дать! Так в чём же дело? Я требую, я просто требую объяснений!

Нет ответа.

Прошло десять лет. За это время была всего одна война, но коротенькая. Я родил сына. Взял ссуду, купил у сионистов малюсенькую квартиру и выплачиваю деньги. Меня три раза выгоняли с работы. Недавно пришлось продать машину. Но я-таки провалился с рассказом. Ничего не смог выдумать.

Куда всё делось? Я сегодня отпрошусь с милуима пораньше, придут друзья, и моя жена вместе с остальной едой, по давнему рецепту Тамары, приготовит гостям маленькие бутербродики с зелёной петрушкой на кусочке белого хлеба с чуть растопленным маслицем и солёным огурчиком сверху. И мы запьём их горькой водкой.

Как звёздочки во тьме...

Жизнь – штука прикладная. Учишься, учишься, выучился и бежишь по прямой что есть силы. И длинное дыхание твоё в точности заканчивается на финише.

У дальней к кровати стены аквариум. Там живёт краб Вася. Иногда он умудряется зацепиться клешнёй за выступающий из воды термометр и висит так, висит. Глазами на стебельках смотрит. Потом шлёп – бултыхнулся.

Девушка приподнимается на локте и придвигается ближе к лежащему мужчине. Смотрит в его глаза, наклоняет голову, и они соприкасаются губами.

Луна светит. Машины едут. Дыхание в такт. Так просто.

– Знаешь, мой начальник – он умный. В жизни умный. Вон сколько физиков понаехало, и сколько сильнее его, а полы метёт не он. Добиться профессорской ставки в Университете, это очень серьёзно! Студенты, лекции, заседания, выбивание грантов, стипендий – текучка. Посреди текучки глядь – статейка совместная. Потом ещё одна. И ещё. Да, конечно, не достижение, а так, взяли шесть параметров, построили кривую, результаты циферками. Но на такой лафе 90% живут, и ещё как живут, на конференции ездят. Повесил у себя в кабинете портрет Эйнштейна, и Эйнштейн из рамочки наблюдает, как наш чернобородый с быстрыми глазами деятель устраивает себе жизнь.

– Олечка, что-то ты разбушевалась.

– Устала я, милый, просто устала, наверное... Будем спать, ладно? А то мне завтра ещё статью, статью... – прижалась, закрыла глаза.

Над аквариумом наклеены звёздочки, создающие небо. Светятся... Около окна стол тоже задремал, на нём будильник через раз тикает, учебники. Журнал с открытыми страницами, графики начерчены.

А утром быстрый сбор – кофе второпях, поцелуй второпях. Он к машине, она к машине.

И следующая ночь:

– Краб Вася, котёнок Кузя и мужчины всегда царапаются, – смеётся девушка.

– Как твоя статья?

– О... моя статья... – сдала. Ты знаешь, я всё думаю, может это ошибка?

– Что ошибка?

– Ну физика... То что я не Нильс Бор, я давно поняла, а вот... всё бегу. Статьи, рефераты, сидение по двенадцать часов в лаборатории...

– Оля, ну мне даже странно – а положение в обществе, зарплата? Доктор физики Ольга Гроссман? Звучит?!

– Ну, звучит, звучит! На бумаге да, звучит. А на деле буду горбатиться на такого дядю. Если ещё найду его... Лёшенька, знаешь... вот сейчас скажу! Только дай мне слово не смеяться!

– Даю, любимая...

– Я сказала, не смейся! Тоже мне...

– Да я не смеюсь, не смеюсь, – защищается от брошенной подушки.

– Понимаешь, – скрестила ноги, – я раньше не говорила, но я пишу стихи. Это лично моё. И когда мне очень плохо, ну очень-очень, я открываю свою тетрадку и читаю их для себя. Смешно?

– Нет.

– Честно-честно?

– Честно-честно.

– Я почитаю?

– Да.

Девушка вскакивает и возвращается с тетрадкой. Устраивается. Испытующий взгляд, ещё один... читает.

Он морщится.

– А почему ты уши трёшь?

– Да нет, нет, – торопливо, – слушаю.

Оля кладёт тетрадку, говорит задумчиво:

– Знаешь, для меня стихи, как... как звёздочки во тьме. Искорками светятся. И иногда я думаю – вот бы бросить всё и писать стихи. Только писать и ничего более.

Вздыхает:

– Какая всё-таки чертовски сложная жизнь.

Ночь. Все спят. За аквариумом, пониже звёздочек, спрятанный печальный портрет Эйнштейна. Вася зацепился клешнёй за термометр и смотрит на него, смотрит... Шлёп – бултыхнулся.

По старой дороге

В ночной тьме, такой близкой от странных, кривых мест Эйн-Керема, я вёл машину по старой дороге. Рыженькая девушка младше меня на 15 лет сидела рядом на переднем сиденье и заворожено смотрела, как синхронно посылающие свет фары выхватывают из ночи пространство. Мгновение – и всё проносится. И только лишь упрямые, фосфоресцирующие полосы ограждения непрерывной линией справа существуют всегда. Сгущённый отдающейся теплотой воздух разрезается открытым окном и уходит потоком. Девушка курит. Глубоко затягивается – курит. А когда стряхивает наружу пепел, сигарета зажигает свою красную безумную самопожирающую точку ярче.

– Долго же ты меня ждал, Миша... Вот так ждал и ждал?

– Да.

– Что, действительно?

– Да.

Ещё одна затяжка:

– Мой первый муж меня очень любил. Мы жили тогда в Киеве и вместе на Андреевском спуске оформляли начинающийся музей Булгакова. Мы не получали денег, просто хотелось сделать что-то стоящее. Просто стоящее... – помолчала, затянулась, – и второй муж меня очень любил. Ну, про него ты знаешь. Меня, вообще-то, все любили. А вот ты? Скажи, вот ты? Мне почему-то кажется, что ты, наверное, будешь первый, кто меня, – пропела, – любить не будет.

Машина дёрнулась.

– Ну зачем? Зачем?

Лёгкие пальцы прикоснулись ко мне:

– Извини. Это я с дури. Глупая корова... Сколько времени, интересно? Нам ещё долго?

– Ты спешишь?

– Нет. Даже совсем нет.

Через десять минут мы съехали на обочину и осторожно, включив дальний свет, углубились.

– Я думаю – здесь. Ч-чёрт, заняли!

В нашем свете мило наблюдалась с выключенными фарами ещё одна машина и чуть покачивалась на месте.

В-з-з-з, – задним ходом, по сухим листьям и мягкой земле закарабкались обратно. Девушка ойкнула – мимо прошумело что-то большое, освещённое. Загудело предупреждающе. Поехали. Тихо поехали, всматриваясь по сторонам.

– Всё равно найдём место, – сказал я смущённо, – я точно знаю, – и ляпнул, – не волнуйся.

Фыркнула:

– С чего бы мне волноваться.

И опять пошла полоса-зебра, и редкие указатели, и молчание сгустилось и стало ощутимо, и девушка потерялась в темноте рядом, затаилась в лёгком запахе духов едва уловимой чувственной волной накатывающим.

И вдруг сзади замигали. Я посмотрел – вынырнувшая из поворотов машина, вместо того, чтобы обогнать еле поворачивающиеся колёса, как приклеилась к бамперу.

– Чего вдруг? – я крепче схватился за руль, – чего они хотят?

Девушка пожала плечами.

– Может всё-таки обогнать? – я поехал совсем медленно. Замахал приглашающе рукой, – мол, мешать не буду...

Машина опять ударила дальним светом.

– Вот твари! – я увеличил скорость. Те тоже. Я ещё. Они опять. И нажав на клаксон издевательски загудели, загудели и зарябили светом.

Меня кинуло в пот.

– Арабы? – прошептала девушка.

– Да кто бы ни был! – я нажал на газ изо всех сил, и чужая машина, крича и разбрасывая свет по дороге, осталась сзади. А мы, визжа всем плохо смазанным и отставшим, залетая на встречную полосу, что б не влепиться в бордюр на повороте, понеслись, как никогда никто не ездит.

– Тише, тише, хватит, прошу тебя, – закричала девушка, – мы разобьёмся!

Я снизил скорость и глубоко вздохнул:

– Кажется, никого нет...

Но тут проявившаяся опять машина, беспрерывно завывая, длинным мгновенным прыжком обогнала нас и резко развернулась, перегородив дорогу.

Мы остановились. Девушка сжалась на сиденье. Я открыл дверь и вышел – как краб, пригнувшись. Сжал отвёртку в руке. Справа лес, слева лес – свобода для манёвра обеспечена.

И тут из машины спросили:

– Простите, вы не знаете дорогу на Бейт-Шемеш? Мы вам мигали, мигали, уже отчаялись. Ради бога, покажите дорогу на Бейт-Шемеш, а то мы совсем заблудились.

Меня бросило в жар, я откашлялся и ответил, – прямо, – и опять откашлялся, голос остался хриплым, – прямо. Потом развилка – направо.

– Спасибо, – они умчались в темноту.

А мы медленно, почти не соприкасаясь с грубым, потрескавшимся асфальтным покрытием, покатились в неслышном воздухе.

– Чёрт, – сказал я, – бывает же такое.

– Чёрт, – сказала девушка.

Мы свернули. Остановились. Девушка была маленькая, она приподнялась со своего места и села ко мне на колени. Обняла. Я потянулся к её губам.

И вдруг свет фонаря, усатый человек сбоку, голос с арабским акцентом чуть дрожит:

– Кто вы такие? Что вам здесь надо?! Это строительная площадка! Частная территория!

Скользнул фонарём по прищурившимся лицам, успокоился:

– Туда, туда... – показал направление, – туда все едут.

И вот, в том месте, куда все едут и все останавливаются, мы, наконец, увидели звёзды. На мгновение – пока пересаживались назад.

Трещат открываемые застёжки, снимаются ботинки и остальное и ты голой кожей чувствуешь желанное тело.

– Ну, ну, Мишенька, ну!?

– Сейчас Оля, сейчас...

Она вздыхает и, освобождаясь, вытягивается на сиденье, кладёт голову на колени. Ножки её полностью не помещаются и свешиваются наружу, раскрываясь в другое пространство.

– Ты, наверное, действительно очень долго ждал, – говорит задумчиво, – слишком долго, – и капельки пота остывают на ней, – а скажи, скажи, ты был уверен, ты был уверен, что у тебя рано или поздно получится?

Я не отвечаю, потому что в это мгновение мне помогает бог, мне становится некогда, и она, разом возбуждаясь, целует, обнимает, и стонет, стонет подо мной, господи, стонет наконец-то, как я ждал!

Совершенно мокрые в этом хамсине мы раздвигаемся и я запоздало шепчу:

– Я люблю тебя.

– А вот ты скажи, – она чуть задыхается, она шепчет, она берёт свои груди и чуть приподнимает, – правда немножко большие для моего роста? – рассмеялась, – нет, нет, не это, – и капризно приказывает, – лучше скажи, вот что такое... что такое любовь? – глазки лукавые заблестели, – ответь, может я и пойму, люблю я тебя, или нет?

Я чувствую себя странно голым, я начинаю чувствовать ветер и какое небо.

– Ну, если ты сама не знаешь...

Но девушка меня не оставила, её рука касается моих волос на груди, идёт вниз, и я понимаю, что все её мужья и мужчины не прошли для неё бесследно.

– Так люблю я тебя или нет? – шепчет, – люблю или нет?

– Любишь, любишь... Любишь!

– А что такое любовь?

– Это когда я не могу без тебя.

– Не могу, не могу, не могу, – со стоном качается машина.

Запел кузнечик. Или ещё там кто... Она тихо одевается. А я выхожу под звёзды – какая огромная пустота. И моё тоже пустое тело никак не может засунуться в брюки.

Мы едем обратно. Веки слипаются. Оля зевает и говорит рядом:

– Вот, теперь надо к гинекологу пойти.

– Зачем?

– Ну как... спиральку вставить. Теперь же мы всё время будем этим заниматься.

Навстречу летит запоздавшая, дебильная машина с фарами по глазам, я вздрагиваю, поправляю руль, трясу головой. Чтобы не задремать, включаю магнитофон. И на всю ночь странного кривого места Эйн-Керем, где молятся и совокупляются, разухабисто орёт голос русских Черёмушек:

– Атас! Веселись рабочий класс! Танцуйте мальчики, любите девочек! Атас! Малина-ягода! Атас!

И выпал снег

Нет, ничего. Просто в мире всё время что-то происходит. Земля было укрылась холодным чистым покрывалом, но снег превратился в град, рассыпавший свою дробь по белым дорожкам, потом в дождь – немножко поплакали, и опять в снег, густо бросаемый ветром в лобовое стекло заблудившейся в дороге машины. Снегом занесло входы Яффских, Львиных и Дамасских ворот, улочки Старого города, улочки нового города, беззлобное чудище Кирьят-Ювеля, дурацкую корову Армон-ха-Нацив, закрывшиеся монастыри Эйн-Керем. В изнеженной солнцем стране прекратили ходить поезда и автобусы, люди остались дома, и бульдозеры, мигая друг другу жёлтыми огнями, начали кропотливо расчищать дороги на завтра. И вот, в такое тяжёлое февральское время из аэропорта Бен-Гуриона вышел на пронизывающий холод молодой не молодой, старый не старый, но в очках и вытащил за собой чемодан с наклейками. Почти сразу он увидел маршрутку до родного Иерусалима – рядом переминающийся тёмный силуэт человека, и обрадовано подошёл к ней. Забросил чемодан. Стоящий, с его почти летящей по ветру сухой чёрно-седой бородой, заметил взгляд, и сказал раздражённо:

– Не холодно!

– О, десятый! – обрадовался появившийся шофёр и весело приказал бородатому. – Садись, душа моя, пора! – так же ве-

село устроился на своём месте и доложил в шипяще-кряхтящий микрофон. – Моти, Моти, выезжаю.

– Давай, надо ещё к трёхчасовому успеть.

Шофёр хмыкнул и включил зажигание. Машина в своей внутренней наполненности тяжело тронулась, и за ней потянулась полоса чёрного, мокрого асфальта. Устроенный впереди бородатый достал из кармана маленькую гранёную бутылочку, свинтил маленькую пробочку, опрокинул в рот жидкий градусный янтарь.

– Мы с женой доедем до Маале-Адумим? – спросил шофёра старый человек в плаще.

– Думаю, да.

– Вообще, большое легкомыслие, – быстро проговорила дама справа, – брать людей в снег, ведь никакой ответственности, а если застрянем?

– Застрянем, пойдём пешком.

– Вы смеётесь!

– О чём они говорят? – высокий английский голос очень чужого, бережно кутающего шею в цветной шарфик.

– Израильский спор об ответственности, – ответила особа в кокетливой шапочке.

– Бьютифул.

– Знаете, я только что из Канады. Там столько снега.

– О-кей.

– И никто не пугается.

– О-кей.

– А у нас всё проблемы.

– О-кей.

Машина замедлила ход. На выходе из Бен-Гуриона резко освещён автоматчик – чёрное небо, белый снег, царапнул взглядом, поднял провожающе руку.

– Теперь главное не останавливаться, – объяснил шофёр, – душа моя, – полюбопытствовал у соседа, – а что ты пьёшь?

– Коньяк.

– Поделись. В такую погоду-то…

– Маленькие кончились, – тихо ответил тот.

– Так дай из большой!

Бородач замялся, но вдруг, решительно встряхнувшись, открыл лежащий на коленях портфель, и достал оттуда угольную литровую бутыль:

– Я лардж! Куда?

– Какое легкомыслие, – ужаснулась дама.

– Немножко не страшно, – успокоил шофёр и осторожно отнял наполовину наполненный пластиковый стаканчик, – хватит, хватит.

– Ещё кому? –спросил бородатый, обратившись назад и поднял бутыль. – Я могу. Видите, я не жадный.

Огни Бен-Гуриона ушли назад, и ночь затопила дорогу. Ни встречных машин, ни обгоняющих, только фары безостановочно освещают идущий безмолвный снег. Люди притихли, пригрелись, и тут проснулся Моти в шипящем передатчике:

– Ну, где вы?

– Едем!

– В Иерусалиме возьмёшь моего племянника, он в пабе застрял.

Осторожное продвижение по узкой, расчищенной полосе, вращающиеся огни редких трудно работающих бульдозеров. их равномерные всполохи внезапно тревожно освещают жёлтым быстрым окружающее и мгновенно гаснут, оставаясь позади. Неожиданно застучал по стёклам град и опять сменился снегом, торжественно как борода патриарха, закрывшим видимое пространство. "Дворники" заработали сильнее, и послышался их чуть слышный натужный скрип.

– Ой-йо-ой! – вздохнул шофёр.

– А где-то потепление, – сказал кто-то невпопад.

– Понимаете ведь что? – пробудился бородач. – Сверху если посмотреть мы все, все шесть миллиардов кажемся единым телом с одними и теми же не меняющимися качествами – корысть, эгоизм, жадность. Казалось бы, что стоит открыть бутылку, дать ближнему двадцать капель, так ведь скупишься, думаешь. Переделывать себя надо, трудиться.

– О чём он? – опять спросил англичанин.

– Рассуждает, – особа сняла шапочку, и рассыпала русые, кудрявившиеся снизу волосы по плечам.

Снег идёт плотно, густо, и уже не видна дорожка асфальта, фары меланхолично вырывают из темноты и так же не торопясь отпускают обратно то озябшее одинокое дерево, то брошенную на обочине заглохшую машину, то чу! Мелькнула прыгучая тень. Заяц? Мгновенная вспышка, ещё одна – один из сидящих принялся фотографировать через голову шофёра снег и ночь.

– Что вы делаете! – воскликнула дама. – Вы же напугаете шофёра!

– Уже напугал, – сообщил шофёр.

Моти через свист и кряхтение заявил обижено:

– Племяннику пришлось взять такси.

– Моти, иерусалимский коридор в снегу, я только заправку проехал.

– Ладно, подберёшь меня на Бецалель.

– Господа, – проговорил до того молчавший, – я думаю, правильно будет заплатить водителю сверх обычного.

– Очень верно! – откликнулся шофёр.

– Шекелей десять, не больше.

Въехали в Мевасерет Цион, выехали и по длинному, как лассо, кругу стали медленно подниматься. Слева провал, туда, в заброшенные в глубине дома, сжимаясь, как масло, уходит днём ночевать ночь. Справа нависло над душой кладбище, сейчас обвалится краями. А после мигающего светофора уже не свернуть, не спрыгнуть, не остановиться: с закрывшими под снегом глаза зданиями надменно вырастает Иерусалим.

– Кто хотел в гостиницу?

– Подъедьте ближе.

– Душа моя, я застряну. И со мной все люди.

"Душа моя" недовольно спрыгнул, открыл зачем-то зонтик, и с чемоданом пошёл прочь, оставляя на нетронутом чёткие следы.

– По воде, аки по суху, – сказал очкарик с фотоаппаратом. Нацелился щёлкнуть, но не успел.

– Следующий!

– Подъедьте ближе.

– Не могу.

– И я должен платить? Вы обязаны…

Бамц – снежок влепился в окно, бамц – ещё.

– Вам что, в два часа ночи делать нечего!? – закричал наружу шофёр – две нелепые фигуры маются, замахали руками. И сам себе ответил. – Видимо, нечего.

От крика проснулся бородач:

– О, Иерусалим! Добрались.

Запрыгнул внутрь кряжистый Моти:

– Наконец-то!

Завозился, отряхиваясь, задышал в красные, озябшие руки.

– Кирьят Моше, какая улица?

– Сюда, правее.

– Уважаемая…

– Уважаемая, туда проехать невозможно, – вмешался Моти, – это я говорю, водитель с тридцатилетним стажем!

– Что значит невозможно, когда мне надо?

Шофёр посмотрел искоса, свернул правее, потом медленно ещё правее. Дама торжествующе слезла.

– Может, кто хочет коньяк? – грустно спросил бородач. Помолчал. – Вы знаете, души праведников для окончательного исправления должны спуститься в рыб.

– О чём он говорит? – опять спросил англичанин.

Но девушка уже сошла, и ему не ответили.

– … Так вот, вкушая рыбу, человек совершает богоугодное дело, освобождая эти души. – Вздохнул. – А я люблю рыбу с коньяком.

И опять пошёл снег.

Рина Левинзон

* * *

Фрэдди Зорину

Печальтесь о своем,
о будничном,
о птичьем,
о зернах в закромах,
о жарком очаге.
Все чудеса чудес сбываются в обычном,
всё расписал Господь на радуге-дуге.

Заботьтесь о своем –
о городе, о мире.
Пусть чистое окно горит голубизной.
И солнечный ковер становится всё шире.
Волнуйтесь о своем – о музыке земной.

Прошли бы стороной и войны, и разрухи!
Молитесь о дождях в разгар сухой зимы,
молитесь о своем –
о космосе, о Духе,
о праведных словах,
о свете в море тьмы.

* * *

Время собирать и собираться,
нет, не уходить, а оставаться,
даже если ангелы скупы.
Слов не оставлять, не расставаться,
нет, не остывать и не сдаваться.
Нет, не умирать, а растворяться
в драгоценном воздухе судьбы

Улица Бен-Иегуда

Яше и Фиме Шапиро

Ни жара не бойся, ни студа,
ни ветра, слепящего нас.
На улице Бен-Иегуда
таинственный ангел – откуда? –
чего только нам не припас.
Колдуя над корочкой хлебной,
вздыхая над жизнью земной,
зажег он фонарик волшебный,
раскрыл он словарик целебный,
с тобой говоря и со мной.
И мне среди этого чуда
которого не отнять,
на улице Бен-Иегуда,
средь шепота, гула и гуда,
счастливый конец сочинять!

* * *

Как сложится – так сладится,
как сможется – так сгладится
нескладица моя.
Беда ли, неурядица,
всё как-нибудь уладится
в просторах бытия.
Как слюбится – так сбудется,
как вспыхнет – так остудится
и станет жаром вновь.
Как кликнет – так аукнется
разлучница и спутница,
сестра моя – любовь.

* * *

Да вот и вся она – росой мелькнула,
и закатилась за вороний скат,
как не бывало, так, рукой махнула,
моя смешная жизнь –
восход – закат.
Так коротко, так невозможно мало,
ни счастья не оставила, ни слез.
Да вот и вся – по травам пробежала,
отряхивая дождь с густых волос.

* * *

Останется навеки ремесло –
осенняя полоска золотая.
И кто-то, книгу старую листая,
поймет, что слово верное спасло.
Звенит струна, над вымыслом летая,
и ничего в той лире не старо –
ни Лермонтова чистое перо,
ни пушкинская строфика литая.

* * *

И тянется вверх, и становится шире
счастливое золото раннего дня,
и всё в этот час проясняется в мире,
от боли и страха спасая меня.

И вдруг поднимается в небо высоко
и всё заполняет – вблизи и вдали –
сиянье с востока, с востока, с востока,
над воздухом сонным, над сутью земли.

* * *

Испания,
холмы твои, сады,
воспетые поэзией Галеви...
Земле, и королю, и королеве
служили мы до черной той беды...
Испания, горьки твои плоды!
Германия,
добры твои леса,
волшебные, как музыка ночная...
Мы верили в тебя, и в чудеса,
твоих поэтов знали голоса,
своей судьбы трагической не зная.
О, Украина,
свет твоих озер,
твоих лугов, и слов славянских милость.
Как верилось, как пелось, как любилось!
Ну, а потом погром, резня, позор...
Прощай и ты, чтоб всё не повторилось.
Как мы любили силу стран чужих!
Как верно им служили. Воевали.
На языках заемных воспевали.
А нас потом соседи убивали,
Закапывали в ров детей живых.

Израиль мой,
земля твоя суха,
но к нам твоя любовь неизмерима.
И наша жизнь навек тобой хранима!
А нас опять волнует призрак Рима,
чужой надел и рабская соха...

* * *

По другую сторону часов
время запредельно и лениво,
отдыхает вечное огниво,
замкнут мир на солнечный засов.

По другую сторону любви
мы с тобой в зеркальном отраженьи.
Подожди – скажу я – позови
сквозь века, сквозь век моих смеженье.

Боже мой, пусть будет жизнь светла,
Боже мой, пусть повторится снова –
холодом скрепленная основа
по другую сторону тепла.

* * *

Пройдет печаль, и грусть перегорит,
Растают дни в тени тысячелетий.
Но жизнь мою никто не повторит,
Никто и никогда на целом свете.

И надо жить до самого конца
Всей силой духа и свободой зренья,
Чтоб всё сошлось –
единственность Творца
С единственностью
Божьего творенья.

* * *

Генриху Горчакову

Как за соломинку, держусь
за певчую строку.
Я не про музыку – про грусть,
про птицу на току.
Про слов спасительный запас,
про рифмы колдовство...
Я не про музыку – про нас,
про горе и вдовство.
Про то, где силы зачерпнуть,
про сон, про Третий храм...
Я не про музыку – про суть,
неведомую нам.

* * *

Уж как судьба ни гневалась –
Пусть не мытьем, так катаньем,
Но все равно я нежилась
В своей надежде латаной.
И как бы жизнь ни маяла,
Ни мучила, ни жалила,
Но горя было мало мне –
Не плакала, не жалилась.
Ах, жизнь моя… Да только бы
Горели свечи вечером…
Суровой или шелковой
Пусть длится веки вечные.
И стерто, и застирано,
И трижды перелатано,
И все равно красивое –
Житье мое крылатое.

* * *

Лиле Горчаковой

Какой январь – любви предтеча,
Холмов янтарных торжество,
Зима моей российской речи,
Весна иврита моего.
Двойной словарь судьбы единой,
Неразделимых азбук круг.
То лепет слышу лебединый,
То дразнит тайною старинной
Гортанный непокорный звук.
Своей дороге не переча
И злого не боясь огня,
Живу.
И вечно два наречья –
Два ангела –
хранят меня.

* * *

Ночное молчанье тревожит.
Сонно стучит состав.
Господи, милый Боже,
Маму мою не оставь.
Укрой её ветром теплым,
От горестей заслони,
Молитву прочти ей шепотом,
И не гаси огни.
Зябко-то как, туманно,
Век поднимает копье…
Боже, ты дал мне маму –
Не отнимай её!

* * *

На серебряной лодочке нашей,
ветер южный – нам с ним по пути.
Уплываем всё дальше и дальше,
помоги нам, луна, посвети.
Снова вместе – судьбе неподвластны,
лишь бы лунная речка текла…
И неважно совсем, и не ясно –
ты ли жив, или я умерла.

Нина Локшина

Вечер в Меа-Шеарим

Как Эстер Шлиссер славно говорит,
Объединяя идиш и иврит
Нарядной речью,
И ветер затихает не спеша,
И вечер опускается, дыша
Горячей печью.

И все мне отдает свое тепло –
Всех окон разноцветное стекло
И двери вида
Стальных ворот, где ветры всех времен
Не стерли надпись гордую "Сион"
И щит Давида.

И все, о чем мой дед, идя ко сну,
Создателя молил, и что в вину
Вменялось папе,
Досталось мне, когда стояла я
В мой поздний час у старого жилья,
Спокойная, среди своих своя,
И дело в шляпе!

* * *

Там, где отмель пуста,
Там, где дом у моста
Притулился спиною к оврагу,
Это – наши места, и меня неспроста
Снова тянет в еврейскую Прагу.

В старом Пражском подградье
Давида звезда
Украшает фасад и ограду –
Среди ночи и дня, лишь окликни меня,
Полечу в несравненную Прагу.

Там, где Голем бродил,
Отгоняя громил,
Что опились забористой брагой,
Слышу гул громовой – это он головой
Небеса подпирает над Прагой.

Я не помню, когда,
Я не знаю, куда
Я отсюда брела, бедолага...
Но с тех пор и до сих – на подошвах моих
Пыль твоих мостовых, моя Прага.

* * *

В этой горной Галилее,
В этой гордой Галилее
Виды, словно в галерее
Щедрой кисти полотно.
Но не рамой, не багетом –
Ярко-синим неба цветом
Ограничено оно.

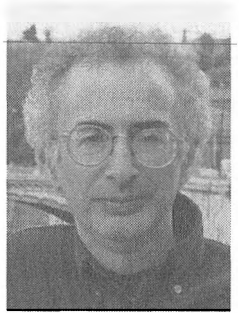
А за перекрестком Веред
Открывается Кинерет –
Божий дар в осенний зной,
Миг, которого не стою –
Наслажденье красотою,
Не заслуженное мной.

А трава кругом гудела –
"Габриэлла... Габриэлла..." –
Над мелиссой медоносной
Шумных ос кружился рой...
Габриэлла, Габриэлла,
Девочка из Галилеи,
Все – твое. Иди смелее
И не бойся – я с тобой.

* * *

Я вернулась туда, где в осенней темени
Деревья уже облетели,
Куда нельзя возвращаться
ни в мыслях, ни во времени,
Ни, тем более, на самом деле.

Ни в тоске душевной, ни в дружеском рвении,
Ни по делу, ни по воле случая,
Потому что все, унесенное временем –
Это и было лучшее.



Александр Любинский

Улица Невиим

Улица Невиим начинается у Старого города и завершается Площадью Давидки. Золотой купол Кипат ха-Села и точеный прочерк стен с прихотливым абрисом мечетей и храмов – в начале ее, шумная, запруженная со всех сторон машинами площадь на дальних подступах к рынку – в ее конце. Площадь, в центре которой на белом бетонном постаменте – черное дуло миномета: памятник Войны за независимость. Да и сама площадь наречена именем миномета, которого называли бойцы тех дней ласковой кличкой "Давидка".

Улица Невиим расположена на пересечении Старого и Нового города, религиозного квартала Меа Шеарим – со светскими кварталами. Православные монашки с бледными рыхлыми лицами движутся по ней отрешенно и чинно черными, пугливыми тенями. Им наперерез из всех переулков и закоулков выскакивают харедим с развевающимися от избытка энергии фалдами лапсердаков; арабки, посетив больных в одном из многочисленных лечебных заведений, расположенных на этой улице, мерно покачивая бедрами под загадочно-бесформенными платьями, скрыв тонкие лица, словно серп полумесяца, за пеленой непроницаемых

платков, плывут в направлении Старого города; эфиопские монахи в тяжелых высоких клобуках, высокомерно-недоступные, сворачивают в проулок, где расположена их церковь. Францисканцы в коричневых рясах с лицами гарвардских профессоров направляются на лекции в "Коллеж Франсе", находящийся за высокой белой стеной – такой высокой, что его крыша едва проглядывает из-за нее.

А между ними как не слишком обязательное добавление к этой почти театральной красочности ликов мировых религий и вер, лавируют остальные жители города: визгливые марокканки, усыпанные оспой золотых украшений, кипастые бодрячки в рубашках навыпуск и сандалиях на босу ногу; "русские", узнаваемые сразу по безликой стандартно-европейской одежде; волосатые чудовища в цветастых расстегнутых на груди рубашках и шортах, напоминающих огромные трусы. Они исходят жаром фалафельных, похотью "Мифаль ха-паис", торговым, зазывным, грязновато-масляным азартом. Они наползают на улицу Невиим со стороны площади Давидки, с рынка Махане Иегуда, с гудящей сотнями лавочек и магазинов Яффо, а Невиим принимает и примиряет – всех…

Она возникла во второй половине девятнадцатого века, и уже на рубеже веков вытянулась во всю свою длину. Как зарождается неповторимость, уникальность места? Из каких составляющих складывается она? Ни у кого нет ответа на этот вопрос, как нельзя угадать широкие воды реки по роднику, скрытому в лесном мхе. Из смешения архитектуры, одежды, стилей жизни возникла улица Невиим. Но вместо того, чтобы раствориться в их кричащей пестроте, она свела их к строгим очертаниям белых стен на фоне ослепительно синего неба, вензелям оград, изящной удлиненности узких окон за зелеными решетками, балконам с гроздьями свешивающихся вниз, пылающих, как гроздья салюта, алых, желтых, ярко-сиреневых цветов.

Может быть, дело в этом камне: тяжелом на вес, а на вид как пушинка легком? Камне, прохладном даже в самый жаркий день…

Из него стали строить дома с толстыми стенами и низкими потолками, с широкими комнатами, крытыми известкой, окнами-бойницами и железными дверями за витой чугунной

решеткой. Эти дома теснятся в проулочках вокруг Невиим, скрытые от взоров прохожих то запущенным, разросшимся садом, то высокой каменной стеной, а то выставляют напоказ свою нищету: ржавую решетку окна, покривившиеся щербатые ступени, палисадник, в центре которого, как памятник рачительности хозяев – прохудившаяся бочка с известкой или остатки труб, завезенные сюда лет пятьдесят назад.

Но не хотите ли побывать в средневековой Флоренции, например? Улица Невиим может предоставить вам такую возможность: почти в самом ее начале, возле оживленного перекрестка, высится продолговатое прямоугольное палаццо, радующее глаз классической завершенностью форм, а рядом с ним – баптистерий с восьмигранной крышей и огромная башня: такой высокой башни и в самой Флоренции не сыскать! Этот дворец был создан на средства итальянских монахинь и служил с начала прошлого века странноприимным домом, а в наши дни здесь размещается министерство образования. Министерству оказался тесен итальянский дворец, и возвели рядом с палаццо на той же мощеной камнем площади бетонно-стеклянный, огромный полукруг нового здания министерства – воплощение промышленно-бюрократического стиля. Но в том-то вся прелесть и загадка улицы Невиим, что здание министерства никак не противоречит флорентийской башне, словно окружая ее бережной стеной, и башня продолжается в нем, оживает в его призрачной стеклянной глубине… А дальше – стыдливая готика госпиталя Ротшильда, эклектическая аляповатость "Бикур-Холим", евангелистская церковь, безуспешно пытающаяся следовать европейским образцам, сглаженным все тем же белым камнем, из-за которого любой архитектурный изыск смотрится лишь белым росчерком на фоне ярко-синего неба.

Это – очень длинная улица. Такая длинная, что подчас мне кажется, что для того, чтобы пройти ее из конца в конец, не хватит человеческой жизни. Образы прошлого окружают меня на улице Невиим, их судьбы переплетаются с моей, как вязь железных оград, как тень на белом камне. Тени прошлого восстают со страниц книг, глядят на меня с выцветших литографий… В одном из этих глубоких колодцев-дворов, где в са-

мый знойный день хранится прохлада, жил господин Лурия. С улицы, тогда еще незаасфальтированной, наползали густая пыль и крики торговцев, вопли ослов, звон колоколов и пение муэдзинов. Вторгаясь в тишину двора, они сливались воедино, оттеняя ее и не мешая ей. А в доме за толстыми стенами, в комнате, где всегда был полумрак из-за плотно закрытых ставен, лежал на диване господин Лурия. Ему было плохо, у него болели глаза. Они так устали от яркого света! Они нуждались в отдыхе.

Но вообще-то господин Лурия был молодым человеком и не поддавался отчаянию. К вечеру, когда свет слабел, окрашивая ржавой позолотой окна, Исраэль Лурия обряжался франтом и с тросточкой в руках выходил на улицу Невиим. Только идти ему было некуда. Правда, через несколько домов жил англичанин-адвокат с молодой женой, тосковавшей в этом захолустье, и приход господина Лурия отвлекал ее от грустных мысли. Но она никак не разделяла его увлечений археологией. Он мог говорить часами о каких-то захоронениях и подземных ходах, и временами ей казалось, что разрушенные стены его волнуют больше живых людей. Иногда она соглашалась отправиться с ним в недальнее путешествие, вниз по улице Невиим.

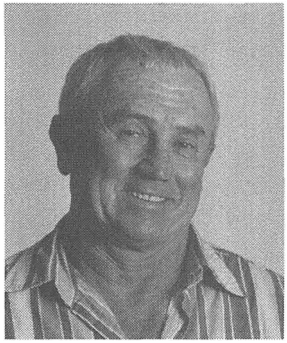
С предупредительной грацией движется господин Лурия, сжимая локоток очаровательной спутницы, дабы она смогла миновать без потерь мальчишку-лоточника и двух толстых арабов в фесках. Да и смотреть надо под ноги, дабы не угодить в когда свежие, когда иссохшие зеленые лепешки… Наконец, почти не запачкав платья, они спускаются к стене Старого города, и луна уже вот-вот взойдет и разметает вокруг печальные серебряные тени. А Исраэль Лурия – неутомим, скачет горным козликом с камня на камень и даже подводит даму к углублению в скале, утверждая, что именно здесь покоится прах какого-то древнего пророка. Бледный лик луны, огромный и низкий, каким он бывает только в горах, зависает над ними, и даме становится страшно… Ах! – произносит она, прижимаясь к плечу кавалера. И кто знает, может быть в ответ он обнимает ее за тонкую талию и осторожно целует беспомощный полуоткрытый рот? Обступает со всех сторон прохладная ночь, дыхание прерывается, тень от гробницы стелется по сухой земле…

Право же, я не удивлюсь, если со временем господин Лурия станет знаменитым профессором. Что касается молодой дамы, то она вскоре уедет, навсегда покинет улицу Невиим.

Я сворачиваю в зеленый двор, заросший кустами акации, с огромным кактусом посредине, с диковинными цветами, ветвящимися по подоконникам двухэтажного особняка, в стенах которого несколько лет прожила поэтесса Рахель. Но я иду мимо, к белому прямоугольнику домика Герды и Вольфа. Когда я познакомился с ними, Герде уже тяжело было носить свое сухонькое тело. Протрудившись всю жизнь, она томилась своей пенсионной свободой и работала бесплатно неподалеку, в библиотеке дома Тихо. Герда приехала на улицу Невиим в середине тридцатых годов – все пережила, все перетерпела, сохранив до конца дней трезвый ум и доброжелательную требовательность к людям. В этом домике она прожила всю жизнь. Она рассказывала, как добравшись к вечеру до Иерусалима, провела здесь первую ночь – в ржавой железной ванне, поскольку дом был переполнен беженцами, и иного места не нашлось. А потом постепенно все разъехались, и Герда осталась – одна.

Позже она познакомилась с Вольфом, и вместе они отремонтировали дом и даже выкупили его за бесценок у местной православной церкви, которой, как оказалось, он принадлежал. Герда так и не научилась читать на иврите, выписывала "Джерузалем пост", уважала Бен-Гуриона, а в шабат ходила в Старый город, где у нее было множество знакомцев в арабском квартале. Она еще застала начало первой интифады и болезненно пережила крах того хрупкого мира, в согласии с которым жила. Вся семья ее погибла в Катастрофе. Герда могла получить компенсацию от германского правительства, но не задумываясь, отказалась от нее, и ни разу не побывала на своей бывшей родине.

В первые годы после ее смерти я иногда сворачивал во двор, подходил к двери, смотрел, все ли висит на ней знакомая табличка, все ли стоит возле дома старенькая машина Вольфа и выглядывает из ящика свежий номер "Джерузалем пост"? … А потом перестал заходить. Зачем? Пусть все останется так, как было когда-то. Пусть память будет живой, а жизнь обратится в память. Пусть длится этот камень и этот свет, и белый след в неистово-синем небе. И никогда не кончается улица Невиим.



Эли Люксембург

Приношения сыновей Ктуры

Глава из книги "В окрестностях Каббалы"

Скупой на похвалы, на изъявление каких бы то ни было эмоций, наш рав впервые за много лет назвал сегодня меня "каббалистом" – публично при всех. Я вспыхнул весь, растерялся. Мы обсуждали какую-то сложную тему, а время было уже к рассвету, поближе к молитве, все мы устали, и рав неожиданно произнес:

– Вот Эли, к примеру… Всегда о себе заявляет как тренер по боксу, как школьный учитель, или же нечто иное. Никто никогда от него не слышал, что он каббалист, учит Каббалу – про это не говорит, ему удобно это скрывать, жить в ином обличии. А мыслить зато совершенно иначе, чем все его окружение… В лучших традициях "нистарим", скрывавших свою истинную сущность и намерения.

Сказал рав:

– Подумаем шире, подумаем глубже – мыслями запредельными: жизнь как биологическая форма существования – аномалия, явление исключительное. Аномалия в мире духа, в

сферах высших духов. Мы говорим о жизни в наших, земных понятиях. А мир духовный един, естественен и бесконечен. И уж конечно же, вечен!

Странный приснился сон.

После огромных духовных усилий и размышлений – о смысле жизни и бытия, после "тикуна" – серьезной работы по исправлению, спустился вдруг рядом со мной брусок, по цвету, вроде бы, из металла, размерами с небольшую гантель – явно из космоса. Материальная субстанция чего-то духовного. Моей же души, как я полагаю, моих же собственных достижений. Вначале я попросту ошалел: такого не может быть! Ну просто быть такого не может! Но очень быстро с ним свыкшись – брусок всегда находился на уровне глаз и виска – сообразил: это мне дар небесный, обыкновенное чудо, которое будет всегда при мне. Небесный дар: моя защита, охрана, моя одежда и пропитание. Моя гарантия на всякие тяготы жизни, ибо, сунув руку в этот странный кирпич, я мог извлечь из него все, что душе угодно: деньги, пищу, любое сокровище. И даже поспорил несколько раз, что никакая сила на свете, кроме мысли моей, сдвинуть с места брусок не сможет. Цепляли к нему машину буксиром, бульдозер. И паровоз, и кран, а он и в самом деле не двигался, был рядом со мной – справа, на уровне головы, не подчиняясь ничьей посторонней воле.

Военные спросили однажды: а можно ли применять его на войне? С врагами, в бою: броню пробить, скажем, в танке? И тайно взяли на танкодром, под величайшим секретом, меня и брусок, естественно. И он их пронзал – могучие танки, стальных этих монстров, с легкостью шила, входящего в масло. Пронзал и снова ко мне возвращался, как бумеранг, пронзал и возвращался, и стало им ясно, что я в течение короткого времени смогу остановить дивизию, лавину танков, и то же самое будет с любой их военной техникой: ракетами, самолетами – значения не имеет!

Проснувшись, долго смеялся этому сну, детскому сну, в сущности. И вдруг припомнилась притча-сказочка Раби Нахмана из Брацлава.

Была на свете страна, вобравшая в себя свойства всех остальных стран мира, и был в ней город, сосредоточивший в себе свойства всех городов той страны. И в городе том находилась улица, являвшая собой как бы все остальные улицы города. И дом был на улице той, и комната в доме была, бывшая главной. А в ней сидел человек, вобравший в себя черты характера, ум и духовные силы всех остальных людей мира. Сидел человек и смеялся. Смеялся, смеялся, смеялся....

ЗАУНЫВНЫЕ ХАСИДСКИЕ ПЕСНИ,
РВУЩИЕ ДУШУ НА ЧАСТИ,
ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ, В БЕЗЫСХОДНОЙ ТОСКЕ
ИЗЛИВАЮЩИЕ Б-ГУ СУДЬБУ,
КАТОРГУ НАШЕЙ СУДЬБЫ;
БУРЛАЦКИЕ ПЕСНИ, МОТИВЫ...
ЕВРЕИ – ЧЕРНОРАБОЧИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
ТЯГЛОВЫЙ СКОТ ИСТОРИИ –
ИЗ МРАКА, НЕВЕЖЕСТВА...
ЕВРЕИ – БУРЛАКИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ...

Была суббота, день клонился к закату: в этот субботний час, как обычно, отправился на прогулку – в Неве-Яаков и обратно, километров восемь, субботний мой моцион.

Шел я районом Кирьят-Каменец, где проживают религиозные люди, исключительно ортодоксы. Из бетонной пристройки вдруг высыпала мне навстречу стайка детишек в пейсиках, с длинными, чуть не до пола, кистями цицит, в бархатных забавных кепчонках, и с любопытством принялись меня изучать. Как птицу залетную и диковинную, чуть не руками ощупывать. Меня, одетого по-дорожному, для прогулки, вопреки их понятиям о субботе.

Шел я долиной. За ней простиралась пустыня. Было видно, как на ладони Мертвое море, Моавитский горный хребет –

ни с чем не сравнимый по красоте пейзаж. Библейский, самый близкий моей душе и сердцу. И небо было отлито из чистейшего хрусталя, отливавшего голубыми искрами.

Тупиковая ситуация, отчаянно безысходная, – думал я. – Ушел я из прошлой жизни, порвал окончательно, а в новую – жизнь каббалиста – так и не смог войти, не вошел! Не получается, не могу, прошлое не пускает. Или же что-то еще. Вот ребятишки, ты только на них погляди: учатся по субботам, учатся Торе, как я завидую им! Быть бы одним из них – все бы за это отдал. В будущем воплощении эту судьбу и выберу – непременно, ибо нет ничего желанней моей душе. Тору учить, быть ешиботником с юных ногтей – счастье какое! Тору, одну только Тору, Б-же Ты мой…

Я прилетел в Бухарест, выглянул на летное поле в иллюминатор.

Вот город, где я родился, подумалось мне. Город, который я видел еще оттуда, будучи там, задолго до своего рождения – я выбрал его. Мне все показали в мельчайших подробностях, и я согласился, следуя великому принципу справедливости, добровольного выбора. Своей судьбы и семьи, города и страны. Все состоялось именно так, не отрицаю. Никто не вправе этого отрицать.

Самолет остановился неподалеку от обветшалого, грязного здания аэропорта. На голой почве, меж взлетными полосами густо росли бурьян и колючки, местность вокруг была удивительно неприглядной. Убогой, унылой. Так выглядели летные полосы и здания аэропортов в старом Намангане, в Коканде и Андижане, это я помню, но не вязалось никак со столичным городом в европейской стране. И сделалось вдруг тоскливо: если таков у румын парадный вход, то какова же страна?

И вспомнилось разом – внезапной вспышкой – все, что увиделось здесь до моего рождения. Все, до слез и до боли ставшее родным и знакомым.

А ведь покинул я эту страну в годовалом возрасте, бездну лет назад!

Сказал рав:

– Из всех отпущенных человеку ощущений – эмоций, инстинктов, переживаний, самым сильным, я полагаю, является ощущение Б-га. При том условии, что душа человека чиста, очищена. Ни с чем не сравнимое наслаждение.

Прочитал недавно в комментариях рава Ашлага на тексты священной книги "Зохар" о той громадной опасности, подстерегающей каждого, кто изучает Каббалу, опасности, настигшей, похоже, вот и меня: провалы памяти – полное исчезновение накопленной информации, мизантропия затяжная, хроническая усталость, физическое и духовное бессилие. Творческая импотенция.

Есть духи, сказано в комментариях этих, духи Великой Бездны, похищающие знания у тебя – каждого, кто изучает Каббалу. Вверх устремленного в постижении Б-га, духи-вампиры, духи-губители, они внушают тебе, то и дело постоянно нашептывают, что ты, мол, давно у цели, давно уже там, наверху – цадик уже и мудрец, и ты обольщаешься этим, в душе твоей возникает спесь. А это как раз и есть твое падение – в пропасть, Великую Бездну. Почти безвозвратно!

Не это ли самое имел в виду раби Яаков-Ицхак из Люблина по прозвищу Провидец?

" Всякий мудрец, кто начинает думать, что он уже святой, – перестает таковым быть".

Несколько лет подряд мои руки терзает жесточайшая экзема. А может, и другая болезнь? Шелушится и отстает кожа, кровоточат и лопаются раны, никакие мази не помогают, никакие припарки. Обошел всех врачей, врачи оказались бессильны… Каббала говорит, что любая болезнь телесная – это какое-то искажение душевное, происходящий в душе процесс.

А план физический, только его вторичность: истина, в общем-то, давно известная.

Когда рубцы на моих ладонях слегка заживают, возникает новый покров, и в эти места я пристально вглядываюсь, как хиромант, на иссеченную сетчаткой кожу: бороздочки, звездочки, пересечения, раньше которых не было. И так понимаю: ведь я-то себя изменяю, во многом уже изменил. Другим становлюсь человеком – натуру свою, духовную сущность, характер, – все меняю на долгом своем пути. А это должно проявиться на теле, просто обязано. На этих, скажем, руках, в виде язвочек, ран, и если душа изменяется, то и тело, естественно. Новые линии на ладонях – язык судьбы.

ВОШЕЛ ВДРУГ РЕБЕ,
ЗАСТАВ НАС ЗА ИГРОЮ В ШАШКИ.
СМУТИЛИСЬ МЫ, БРОСИВ ИГРУ,
ВСЕ ПОВСКАКАЛИ.
РЕБЕ ПРИВЕТЛИВО УЛЫБНУЛСЯ:
ПРЕКРАСНЫ ПРАВИЛА ЭТОЙ ИГРЫ!
ВО-ПЕРВЫХ – ХОДИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ВПЕРЕД,
ВО-ВТОРЫХ – НЕ ДЕЛАТЬ ДВА ХОДА РАЗОМ,
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПРОБИВШИСЬ В " ДАМКИ",
ТЫ ВПРАВЕ ХОДИТЬ УЖЕ КАК УГОДНО.

С Марком Абрамовичем попали в Меа-Шеарим, квартал ортодоксальных евреев. Черны здесь улицы от черных одежд кишащего люда, пересекающего улицы где угодно и как им угодно, не обращая внимания на светофоры, свистки полицейских. Деловиты, глубоко озабочены женщины и мужчины – погружены в духовные размышления. С налетом суровости в лицах, одухотворенных, ясных.

Сказал я Марку:

– Уж так близка мне эта среда, так родственна! По духу, по сердцу. Все эти улицы здесь, переулки, и так тут хочется

жить: вне суеты бессмысленной, вне волнений, тревог – будто великий разлит здесь покой, будто Рука Вс-вышнего здесь простерта. Именно так я себя ощущаю, каждый раз, попадая сюда, в Меа-Шеарим. Вы разделяете, Марк, это мнение?

– О, нет! Со мной обстоит совершенно иначе, – особенно эти одежды. Всегда возникает волнение и тревога, какой-то невыразимый страх.

Я удивился:

– Чего это вдруг?

– Должно быть, с детства еще, с войны. Таких же точно людей, в этих же одеяниях, помню в гетто. Такие же улочки, переулки, тесные и кривые, суета с беготней. И все – накануне акции, ликвидации. Едва увижу нечто похожее, как возникает предчувствие катастрофы. Стойкий, звериный рефлекс. И ничего не могу поделать с собой, даже подумать иначе.

У Ханки странные с деньгами отношения: никогда не копила их, не копит по сей день. Копить их просто боится: от денег, как от чего-то опасного, вредного, как можно скорей стремится избавиться. Как от врага. Особенно ненавистно ей выражение "на всякий случай, на черный день…" И это пугало меня. Ввергало в недоумение и насмешки.

Жена трудилась, как каторжанка, в России, в Израиле. В качестве инженера. Всегда получала нормально, я бы сказал – вполне прилично. Жила экономно, по строгости: на тряпки не тратилась, на украшения, драгоценности. Как многие женщины – на удовольствия, развлечения…

Бывало, я что-то мямлил, пытаясь дознаться.

"Когда они станут нужны – они появятся! – спокойно отвечала она. – Лишних держать не надо, лишних я просто боюсь…"

Так обстояло и в самом деле, всегда: едва возникала необходимость в какой-нибудь сумме – большой, огромной и даже бешеной, как деньги тут же являлись, как будто с неба. Деньгами буквально нас засыпало, А я, до крайности возбужденный, обалдевал совершенно, лишаясь сна и покоя.

"Да ты уймись, наконец, успокойся! Пойми раз навсегда: в этом смысле я нахожусь под покровительством высших сил, и хватит на эту тему".

А я опять этой темы касался – в других настроях уже: мистических, философских.

"Если скопились у человека деньги, – делилась со мной жена, – они притянут к себе и причину деньги эти потратить. И хорошо, если причина окажется доброй, людям на пользу: тебе ли, другим. А ведь чаще бывает иначе – случай несчастный, именно черный день. Этого больше всего и боюсь!"

К чему я начал о деньгах? Издалека, по долгой кривой – про что бы хотелось поведать?

Вы обратили, конечно, внимание на перекрестки Израиля – в последнее время, чуть не во всех городах: религиозные люди в черном, почтенные люди, а не шпана там какая, подходят к окошкам автомобильным, тряся коробочками с "цдакой" – подайте, мол, добрые люди на Б-гу угодное дело… И им дают, не больно уж щедро, как я заметил. Да я и сам, чего тут скрывать! Прижимистый тоже, рука коротка: бывает, даю. Не то, чтобы часто… Они заменили мальчишек арабских, бесцеремонных и наглых, всякой мелочью торговавших – идею их переняли.

Итак – о близкой, родной душе, хронически, безнадежно больной…

Известно ей стало, что в Штатах придумали препарат, в аптеках там появился: какое-то чудо-лекарство. Уже проверено и испытано, и очень ей может помочь. Безумно дорого, правда: один лишь укол обходится в двести пятьдесят долларов. Весь же лечебный курс – десять тысяч баксов! Ни больше, ни меньше…

И Ханка тут же воскликнула:

– А мы вот возьмем и поможем! И деньги на это найдутся. Любой использовать шанс! Ради ее здоровья. А вдруг окажется, что именно это поставит бедную на ноги, как ты считаешь?

– И думать здесь нечего: поступим, как поступают люди, нормальные люди! Чего не сделаешь, ради родного, близкого человека? Люди дома продают, машины…

И вот сегодня, оказавшись в пробке, у перекрестка, обратил внимание на пожилого еврея. В черном он был во всем,

как и положено. С большим картонным листом на груди – портретом ребенка. Крупными буквами текст…

"Должно быть, деньги на операцию собирает – смертельно больной ребенок! И вовсе не обязательно своему. Чужому, скорее всего, чтоб душу живую спасти, любую еврейскую душу, ради "мицвы". Почтенный, старый еврей, похожий на персонажа библейского, пророка и мудреца, и не стыдится ничуть. Под жгучим солнцем, в хамсин окаянный. Шастает от машины к машине, обливаясь потом в этих черных одеждах: кто это может быть? Руководитель ешивы, известный рав?

И вспомнил свою родню, Больную свою… Ее страдания многолетние: все чахнет, все тает у нас на глазах. И никакие лекарства не помогают. Врачи и методы современные. И защемило сердце, и что-то взвыло внутри: машина, дом, покровительство… Да я бы сам от машины к машине бегал, тряся коробочкой, с утра до вечера, в любую погоду! Как вот важно не жмотиться, подать на "мицву", покуда тебя не коснулось – побывать в этой шкуре, подай немедленно, как можно скорей и побольше!

Сказал рав:

– Отчего это лица людей столь непохожи одно на другое, разные все? Людей миллиарды, а одинаковых нет? В Талмуде имеется два объяснения: чтобы жены не путали своих мужей. Чтоб не сказала, что спутала – блуду чтоб не было оправдания. И второе: каждая из душ человеческих черпает силу Б-жественную из своего источника, каждая из другого, оттого и образы разные у людей.

Нелепую чушь обсуждали сегодня в ешиве – еврейский поклеп на самих же себя. Ну и пресса израильская, ну же и наша печать!

…В вади Кельт, пустынной местности под Иерусалимом, арабские террористы закололи насмерть двоих парней. Те в ручей поплавать спустились из поселка соседнего,

сельскохозяйственного в Иудейской пустыне. Убийцы их поджидали за скалами.

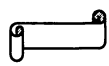
Родители погибших дали журналистам такое вот объяснение: во всем виноваты хасиды, браславские хасиды, это они обратили их к вере, к "тшуве"...

"Бедные дети! Потеряли всякую бдительность, осторожность: хасиды внушили, видать, что Б-г им отныне защита. Убережет от всякой опасности. Они перестали всего страшиться..."

В ешиве к такому пришли согласию: травля левых – это засилие "эрев ха-рав", колена иноплеменных! Нынче пришла их власть, как и было Моше предсказано...

Когда выходили мы из Египта, то каждый пятый был "эрев-ха-рав" – попросту не еврей, а попутчик, как бы тремпист, удравший от рабства. На это в Торе есть точные указания: тьма примкнувших, тьма инородцев... И вот, через сорок лет подошли к Иордану, раскинувшись станом, границам Земли Обетованной – Эрец Исраэль. И принялись жребий кидать: какая область кому достанется? Какие части страны: Иегуде, Дану, Нафтали... И так – всем двенадцати коленам. А жребий бросал Моше Рабейну, и подошли к нему знатные из "эрев-ха-рав". А нам где жить? Какая часть страны нам достанется? Небось, положено...

Сказал им тогда Моше: нет, не положено! Нет удела земли для вас. Но вы наберитесь терпения, не огорчайтесь: придут времена, вся страна будет ваша. Временно, не надолго, правда! Земля и народ – целиком будут в вашей власти.



Я ПРОСЫПАЛСЯ С КРИКАМИ,
ПЕРЕКОШЕННЫМ РТОМ,
ЗА МНОЮ ГОНЯЛИСЬ БЕСЫ,
ЖИВОТНЫЕ АДА, Я ВИДЕЛ...
ОТПУСКНИКУ АДА –
МНЕ ДАЛИ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ
В ЭТОЙ ЖИЗНИ, Я ДОЛЖЕН СПЕШИТЬ, СТАРАТЬСЯ,
ИСПОЛНИТЬ ВСЕ ОБЕЩАНИЯ.

СКАЗАЛ КОМУ-ТО СЕГОДНЯ:
ЗАПАХ СЕРЫ МНЕ СТРАШНО НРАВИТСЯ!
С ЧЕГО БЫ ВДРУГ – ВОЛНУЕТ МОЕ НУТРО?
АХ, ДА! ЗАПАХИ АДА, ЗАПАХИ САТАНЫ –
СХОДИТСЯ ВСЕ.

В Карловых Варах купил билет, пошел купаться в бассейн.

Знаменитые минеральные воды лечебные: давно мечталось – попить их, поплавать…

После бассейна отправился в раздевалку и принял душ. Рядом с моей кабиной мылись отец с ребенком, хохоча и балуясь, изъясняясь на родном немецком. Мальчику было годочков пять, и странные мысли потекли в голове.

Немецкая речь… Мне, еврею, она всегда была неприятна! А слышать ее в Израиле? На улицах, скажем, Иерусалима, возле Стены Плача? Ну не кощунство ли, согласитесь? Но тут было все иначе – из уст ребенка, невинного существа, младенца, можно сказать, на их почти территории…

Я тер себя полотенцем, я одевался.

"А знает ли юный фрицик про шесть миллионов? Про шесть миллионов евреев, которых под звуки этой же речи сожгли. Зарезали, задушили, живьем закопали в землю – его соплеменники! Папочка говорил? Просто так убивали, испытывая огромное удовольствие, хохоча и балуясь, как и они. Миллион еврейских младенцев, таких, как он. Раскалывая им головки о стены, ухватив за ножки. Или же, в воздух кидали, накалывая на штыки, весело гогоча".

Пары в душевой стояли – милосердие из меня испарялось, священная клокотала месть. Я обнаружил в себе злодея и испугался открытию.

Припомнилась из Талмуда фраза еще из ешивы, крепко запавшая в память: "Тот, кто лишен побуждений животных, не может достойно, со всею страстью служить и Б-гу! Важно уметь их и обуздать…"

Ярость моя, мое злодейство – это от бокса, я понимаю: не дать повергнуть себя, не дать победить, любыми силами взять реванш. В Каббале зовется оно "решимо" – неистребимая память, во веки веков. Плохой я, видать, еврей! Ведь есть и другие – по отношению к немцам, гораздо меня добрее. Отзывчивей, милосердней... Цвика Юдович, иерусалимский врач, хирург гениальный, вот что мне рассказал:

– Был я недавно в гостях в Германии, у бывших институтских друзей, врачи они тоже. К Германии, как ты понимаешь, свое у меня отношение: Вторая мировая война, Катастрофа... С такими вот мыслями и приехал. Они же в полном восторге от немцев. А я и вида не подаю: к чему нам спорить и рвать отношения... Короче, возят меня по Берлину. Ах, погляди направо, ах, погляди налево: какая площадь красивая, какой дворец замечательный! А этот квартал старинный – разве не чудо? Его, слава Б-гу, во время войны не разрушили... Так вот, это их восклицание "слава Б-гу", чуть в обморок меня не свалило. Из уст евреев, ты понимаешь? Которым прекрасно известно, за что союзники Берлин бомбили – гнездилище дьявола, мирового зла, бункер, где Гитлер прятался....

Посокрушались мы с Цвикой, поцокали языками: а что поделаешь, такой мы народ!

Поведал и я ему байку. Про вещи еще печальней – о евреях Америки, беженцах из Германии, чудом спасшихся от лап нацистов.

– Хоть плачь, хоть смейся – бывшие жители того же Берлина, когда узнали, что город бомбят, стирают с лица земли, из окон с горя выкидывались, из небоскребов. Кончали жизнь самоубийством!.. Что тут скажешь!

Посетил в Праге могилу великого МААРАЛа, сотворившего Голема – глиняного гиганта, который оживал и действовал только тогда, когда в пасть его вкладывали бумажку с особым каббалистическим текстом, и каменел вновь, когда ее вынимали. А делать это умел только он, практический каббаллист, рабби Лива Бен Бецалель, живший четыреста лет назад в здешнем гетто. Его жизнь и удивительные чудеса стали эпо-

сом теологической классики средневековья… Склеп его обомшелый на Старом еврейском кладбище, вокруг – толпы паломников со всего света, туристы. Я долго стоял у склепа, погруженный в глубокие размышления, сделал множество снимков, и вновь подходил к надгробию, клал руки на камень, касался лбом и губами.

От этой встречи я многого ожидал, предвкушая открытие, потрясение, и нечто подобное состоялось.

Пришли вдруг мысли об Интернете. Наш мир превратился в одну деревню, как бы квартиру: одним нажатием кнопки мы входим в мир виртуальный – во времени и пространстве, извлекая необходимую информацию. Мгновенно можем достичь контакта с любым другим человеческим существом: поделиться мыслями, дать сообщение. Однако само пространство нельзя потрогать, увидеть – оно виртуально, как бы духовно, ведь информация в нем существует, передается…

Я издавна был убежден, что где-то в небесных сферах, духовных мирах, хранится у Г-спода Б-га свое вместилище информации, некий архив – память о каждом живом существе. Обо всех событиях, происходивших с людьми на протяжении всей истории человечества – я убежден абсолютно! И будет время: придут на смену иные поколения Интернета, захочет кто-то узнать, а что на самом деле произошло с Лотом и его семьей в Содоме, в живых картинах и образах, цветных и озвученных? Кто был на самом деле Иосиф Флавий – предатель, или же истинный патриот? Что творилось в его мозгу и душе? Как строились пирамиды египетские? Что за существа населяли Олимп? Инопланетяне? Или же это мифы на самом деле? Писателю, историку, археологу – разве не интересно? Да просто любопытному человеку, соорудив аппарат по аналогии с Интернетом, получить возможность одним нажатием кнопки подключиться впрямую к процессу вечности! Весь вопрос – когда подойдем к такому открытию: к каналу, к приемнику и источнику?

Такие вот мысли унес я с могилы великого МААРАЛа, умевшего извлекать из пространства дворцы и замки. Приглашавшего к себе короля на ужин со всей его свитой, как иудейский князь или царь библейских времен. А после ужи-

на все возвращая обратно, оставшись с женою и домочадцами в жалкой хибаре... Грязь превращавший в розы на глазах у всех горожан. Посылая Голема, навевавшего ужас на антисемитов, стеречь по ночам еврейские дома и окраины...

Был на могиле Кафки, об этом тоже мечтал, писателя, на мой взгляд, величайшего... Опять же мое убеждение – второго по мощи после царя Соломона... Мне хочется думать: душа Кафки – душа великого мудреца, каббалиста, душа МААРАЛа. Но почему-то испуганная, обмороженная, в последний будто "тикун" на грешной земле, последний свой отпуск...

"... В РАЮ ВС-ВЫШНИЙ ИСКУССТВЕННО СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА".

ПУСТАЯ ВРОДЕ БЫ ФРАЗА, ВСЕ ПРАВИЛЬНО В НЕЙ, А ЧТО-ТО ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ:

ЮМОР ЛИ, ТАЙНЫЙ ЛИ НАМЕК С ПОДВОХОМ....

Что-то с желудком разладилось, изжога принялась грызть, плохое сварение пищи, и кто-то боржоми велел попробовать, я и попробовал. И сразу же помогло. Будто рукой сняло. И стал я захаживать в "русские" некошерные магазины.

А мне-то туда нельзя, они ведь свининой торгуют! Как доты, их магазины, как бастионы. Витрины и двери железными плитами обложили, чтоб ортодоксы не подожгли. Уже бывало такое... Чую, что грех происходит – с кипою на голове, с торчащими наружу цицит, а потому что-то другое на голову напяливаю, засовываю цицит в штаны поглубже, чтоб не свисали, никто бы их не увидел. В конце-то концов, мне только боржоми – лечиться, а ради здоровья даже субботу отодвигают. Г-споди, как же мне быть: тревожно у меня на душе! Тревожно и неуютно...

Сели мы это с женой обсудить, сказала она:

– Когда я служила у Бубера на улице Эмек Рефаим, там тоже открылся такой магазин, и в перерывы обеденные я стала туда заскакивать – купить сигареты, исключительно сигареты. В отделе нашем Шрага работал, религиозный еврей, и он мне выговор сделал, что нарушаю запрет, решение Раббанута: ты религиозная женщина, ясно, что никакие продукты не покупаешь, но люди ведь могут подумать все, что угодно. И скажут в сердце своем: значит, и нам туда можно! И вообще, ты как бы тот статус поддерживаешь, само их право существовать, даешь им прибыль…

И в заключение подсказала:

– Знаешь что, посоветуйся лучше с равом, как тебе быть со своим боржоми!

Я раву все рассказал, дело он просто решил, проще пареной репы:

– Снимаешь трубку, когда ты придешь домой, и говоришь, чего бы хотел заказать, даешь свой адрес: на дом пускай завезут, хоть целый ящик. Заплатишь за эту услугу еще пару шекелей, зато никто тебя там не увидит, не станут думать порочно.

Совету мудрому я не внял. Пренебрег, не последовал.

То ли бес оказался меня посильней, то ли нервы себе щекотать понравилось – все продолжал туда шастать, все продолжал захаживать.

И вот что однажды вышло…

В тот день боржоми в магазине не оказалось, забыли им завезти. Не долго думая, поехал я в другой магазин, соседний, меня там, кстати, не знали. А потому, я думаю, прием оказали самый суровый. Хотя кипу, как положено, снял, и кепку напялил, засунул в брюки цицит…

Сидела за кассой юная дама, уткнувшись в книгу. С лицом насупленным, отрешенным. Тем самым, хорошо нам знакомым принципом советских работников прилавка: вас много, а я одна, пошли бы вы все к едрене фене!

Крутился меж стеллажей упитанный, высокий парень с серьгою в ухе и длинной, толстой косичкой. И все, и никого в магазине больше. А на стене, напротив входных дверей – громадный плакат: "Еврейский народ ел, ест и будет есть – ло кашер!" – последние два слова на иврите, естественно, для ин-

спектора. И тут же мне сделалось дурно и тошно, тут же захотелось уйти.

Однако, вежливо осведомился, не обнаружив знакомых бутылок:

– Будьте добры, а где здесь у вас боржоми?

Она подняла медленно голову, глазами меня, пробуравив, мгновенно вычислив, определив, чего-то буркнула, и снова уперлась в книгу.

Признаться – я ничего не расслышал. Зато вскипело что-то, и весь я изнутри взвился. Зашел клиент, чего она себе позволяет? Как будто ей здесь Россия? Как с полным ничтожеством! И я зацокал не по-хорошему языком, чтоб обратила хотя бы внимание, хоть чуточку устыдилась.

– Чего ты мне цокаешь, как собаке, я ведь уже сказала?! – Глядя на мои цицит, они немножко свисали, приняв, скорее всего, за лазутчика ортодоксов, А может – и инспектора по кашруту, Б-г ее знает! С глубоким презрением и отвращением.

А я собою уже не владел. Вернее, владел, но плохо.

– Милочка, в Израиле не принято с клиентами так обращаться!

– А что ты хочешь, чтоб я с тобой целовалась?

– Мне поцелуев ваших не надо! Зашел в магазин клиент, а вы с ним… Как будто с цепи сорвались.

И вдруг подлетел упитанный, с косичкой парень.

– Ты что жену мою оскорбляешь? Оставь немедленно магазин, сейчас же вон убирайся!

Я ошалел, озверел, кровь мне бросилась в голову. Ах, так! Вы вон меня выгоняете? Поганый ваш магазин! И верно делают, что вас поджигают, так вам и надо, я это только приветствую…

И в самом деле, вылетел вон, вздевая руки от возмущения:

– Да пропадите вы пропадом, горите, синим огнем, ноги моей больше у вас не будет!

Вскочил в машину, и улетел, трясясь от злости, обиды.

Такие пилюли я не глотал. Глотать не намерен. Я это дело так не оставлю! И будь, что будет, хотя бы тюрьма! Ох, как эта парочка пожалеет: спалить паршивый их магазин – вполне со спокойной совестью!

И тут проклюнулся где-то в груди робкий, насмешливый голос:

"А что случилось, собственно говоря? Из магазина выгнали? Спасибо скажи, что морду еще не набили! Тебе же сказали давно: кончай ходить в подобные магазины, а ты, как козел упрямился, по-доброму не хотел! Тебя с позором и выгнали, так что – прости…"

Я мигом все понял, сообразил, и тут же улеглась обида, и буря мстительных мыслей, фантазий и сцен, а подъезжая к дому уже улыбался, потом и вовсе стал хохотать. "Учи меня, Г-споди, неразумного и строптивого, учи, не наказывай!"

Каких только тем не обсуждаем в ешиве!

– Дарвин, ведь надо же до такого додуматься – от обезьяны род человеческий! Вот я и думаю: какое же ему наказание было назначено – душе его, на том, разумеется, свете?

И кто-то версию выдает:

– Мартышкой, небось, обратили, мартышкой-потешником! При ком-нибудь из великих святых. Борцов за веру, за Б-жью истину. Так мне видится их решение – Суда Небесного.

И в том же тоне, в том же ключе кто-то из ребят подшутил:

– А почему бы не сатаны? Мартышкой-забавником на плечах самого сатаны? Вполне подходящее место.

Григорий Марьяновский

Через два года после переезда в Израиль, в 1994 году, Григорию Марьяновскому пришлось перенести тяжелую операцию на открытом сердце - шунтирование. Операция прошла удачно, через несколько дней он уже ходил и вскоре был выписан. Но те немногие дни, что он провел в иерусалимской больнице, дали толчок к рождению замысла сценария художественного фильма под названием "Операция на сердце". Не о переживаниях больного в связи с операцией был задуман этот фильм. Он был задуман на самую жгучую для Израиля тему - о терроризме. Потому что рядом, в соседней палате, лежал под охраной террорист, которого тоже прооперировали и который тоже пошел на поправку.

К сожалению, автору не удалось довести до завершения свой замысел. Но осталось либретто. Его мы публикуем, сознавая, что это - лишь предварительный набросок будущего сценария.

Операция на сердце

Либретто киносценария

Беды, казалось, не предвещало ничто...

Звездное небо. Пустынная лента шоссе вдоль пологого морского берега. Сквозь черную завесу ночи проклюнулись, близятся огни автомобильных фар.

В затянутом брезентом кузове джипа с металлической сеткой на ветровом стекле – группа солдат ЦАХАЛа – Армии обороны Израиля. Среди них – сероглазая девушка с копною волнистых волос.

Громкая, ритмически синкопированная музыка из приемника. Смешливый разговор:

– Ну, еще полчаса, минут сорок от силы, и мы уже дома, на базе. Отрапортуем: "Господин генерал! Задание выполнено: ценный груз доставлен в целости и сохранности. Примите по описи".

– Это что же за груз у вас такой ценный? – поинтересовалась девушка, и сидевший рядом с ней широкоплечий курчавый солдат пояснил:

– А дочь генеральская – это что же, по-твоему, не ценность?

Девушка заливисто рассмеялась.

Машина катила по ночному шоссе. И вдруг, в тот момент, когда горбатое тело ее скользнуло в тень густого кустарника, от него отделились мужские фигуры, и одна из них, размахнувшись, что-то с силой швырнула. Потеряв управление, джип вильнул в сторону. Полоснула короткая автоматная очередь. И тут же – оглушительный взрыв, столб огня, отчаянный крик...

В облаке пыли и гари, что повисло над придорожным кюветом, куда завалилась машина, метнулись тревожные тени. Двое мужчин перевернули того, кто, свернувшись клубком, лежал рядом с горевшим джипом. Короткая гортанная арабская речь, выразительный жест: возиться, тащить нужды уже нет. И, заметив огни с двух сторон наезжавших машин, обе фигуры исчезли в кустарнике.

В догоравшем остове машины, откуда кощунственно продолжала доноситься бравурная радиомузыка, полицейский патруль обнаружил несколько трупов. А поодаль, в стороне от дороги – распластанное тело мужчины в обожженной, изодранной в клочья одежде. Мужчина был жив, хотя и в глубоком беспамятстве. Полицейский офицер – начальник патруля – пристально вгляделся в окровавленное, изувеченное лицо, сказал:

– Похоже, какой-то новый. Лицо незнакомое. Ну, ничего, только бы живым удалось доставить, и выходить. Все узнаем, кто послал, откуда, все дерьмо из него вытрясем, все гнездовье поименно раскрутим. Только б не сдох по дороге...

Присев на корточки, сержант рассматривал обожженное тело. Произнес с сомнением:

– Да мы его до тюремного госпиталя не довезем, пожалуй, лейтенант, – уж очень он того...

– Вызывай амбуланс! В ближайшую больницу вези! Ну, что тянешь, звони быстрей! Звони!

В ранний утренний час два медбрата выкатили из санитарной машины носилки, под присмотром полицейской охраны внесли их в приемный покой частной клиники профессора Давида Мидана. Лейтенант не отступал ни на шаг.

Уже первый осмотр, сделанные тут же рентгеновские снимки убедили профессора: раненный безнадежен – осколок в сердце. Спасти его может разве что чудо.

Полицейский, однако, упорствовал, не соглашался с Миданом. Он настаивал на том, чтобы профессор попытался, взывал даже к чувству профессионального долга. Уже теряя надежду, прибег к последнему средству, к лести: ну, просто нет в Израиле другого такого хирурга-кардиолога, способного сделать такую операцию. Но профессор был непреклонен. Во-первых, раненный неоперабелен. Во-вторых, – Давид не будет скрывать – у него к этим террористам отношение особое, свои счеты. Месяца два назад от рук одного из таких погибла его близкая родственница. Спасать человека, который, быть может, причастен к ее убийству, доктор не хочет, не считает себя обязанным. В конце концов, для таких есть специальные госпиталя – туда и везите.

Кто-то из сотрудников подсказал офицеру:

– А вы попробуйте, лейтенант, поговорите с нашей новенькой медсестрой – красавицей Рут. Ее слово для нашего доктора – как святая заповедь.

Совет оказался дельным. Нескольких слов Рут было достаточно, чтобы Давид Мидан взялся за скальпель. Да и кто бы

устоял перед просьбой этой хрупкой, женственно-возбуждающей оливковой девушки! Репатриантка из Южной Америки, она появилась в больнице где-то с месяц назад, и с этого времени, как было замечено многими, их главный хирург преобразился неузнаваемо, вроде бы даже помолодел.

Сверкающая стеклом и никелем, оснащенная по последнему слову медицинской техники операционная.

Вначале Мидан действует почти механически, с холодной расчетливостью мастерового. Но постепенно, все более и более погружаясь в дело, порой уже забывая, кто у него на столе, хирург всей силой и властью своих искусных рук, совершает почти невозможное, тонкими пальцами виртуоза, он проводит какие-то сложные, неуловимо быстрые манипуляции. Короткие, строгие указания ассистентам, анестезиологу. Жесткая, даже резкая реплика на минуту отвлекшейся операционной сестре.

В таком вот возбужденно-экстатическом состоянии – в состоянии озарения, уподобляясь Творцу, Давид как бы заново воссоздает человека.

Несколько раз раненый погружается в небытие – пропадает пульс, катастрофически падает артериальное давление, кома...

Много часов длится эта тяжелая, изнурительная схватка между жизнью и смертью. К концу операции Мидан уже изнемогает от страшной усталости, от напряжения, порой, от сознания своего бессилия. Пот катится по его лицу, глаза застилает туман, с трудом повинуется руки... Но, в конце концов, Мидан торжествует. Он счастлив – он выиграл битву за жизнь!

Коллеги – кто искренне, а кто и с затаенной завистью – поздравляют, жмут руки, дружески похлопывают его по плечам: да, сегодня, похоже, Давид превзошел самого себя, он поистине чудотворец!

Вскоре, однако, эйфория, охватившая было Мидана, померкла. Состояние пациента внушало серьезные опасения. Спустя несколько дней его снова пришлось класть на стол и делать повторную операцию. Кроме того, Давида раздражал тот факт, что с момента доставки этого больного в клинику под дверью палаты, куда его поместили, появился круглосу-

точный полицейский пост. Нет, Мидан отлично понимал необходимость такой предосторожности, и все же каждая встреча с вооруженным охранником при входе и выходе из палаты его раздражала.

Но и это было еще не все. Как стало известно Давиду, на второй или третий день после операции в палисаднике перед зданием клиники появилась и оставалась там с утра до позднего вечера молодая, довольно миловидная девушка, назвавшаяся Фатхией – сестрой Джамиля Мухаммада (скрывать его имя, фамилию, место жительства смысла уже не было, к тому времени полиция все это уже установила). При появлении в палисаднике женщин из медперсонала клиники, особенно Рут, Фатхия несмело приближалась к ним, робко расспрашивала о состоянии брата. Казалось бы все так естественно, – сестра ведь. Между тем всякий раз, выглянув в окно палаты и обнаружив во дворе фигуру незнакомки в белом платке, надвинутом на глаза, Давид испытывал чувство смутной тревоги: а может, никакая она не сестра, и тайная цель, с которой является, – сделать нечто такое, чтоб Джамиль замолчал навсегда. Чтоб никакими средствами не могли в полиции вырвать у него имена сообщников, сведения о том, где хранятся запасы оружия, где изготовляются взрывные устройства. А вдруг она, эта самая сестра передаст с какой-нибудь сердобольной нянечкой свежие фрукты или бутылочку охлажденной кока-колы, а там – отрава. Или что-то другое, в этом роде. В том состоянии, в каком находится Джамиль, много ли нужно?

Своими опасениями Давид поделился с Рут, а заодно велел ей во избежание худшего не оставлять Джамиля без надежного присмотра.

Выздоровление Джамиля шло медленно, трудно. Оно доставляло Давиду много хлопот, стоило уже нескольких бессонных ночей. Но какую ни с чем не сравнимую радость испытывал он при каждом знаке того, что больному становится лучше и дела его идут на поправку! Как однажды заметила Рут, эта привязанность Давида к своему пациенту, она той же природы, что чувство, какое овладело Пигмалионом – тем легендарным скульптором, который, изваяв Галатею, влюбился в нее и этой

любовью вдохнул в нее жизнь. Да, Рут оказалась неплохим психологом и не удивлялась той перемене, которая за короткий срок произошла в душе Давида. Да и чему удивляться? Бывает, щенка шелудивого подберешь на дороге, отмоешь, выходишь, и так прикипишь к нему, что захочешь избавиться, да не сможешь, не выгонишь. А тут ведь не щенок – живой человек! – вслух размышляла девушка, и шедший с ней рядом Давид не возражал.

Тем более, возмущался хирург, как только Джамиль пошел на поправку, к нему для допросов стали являться в палату полицейские следователи. А ведь эти изматывающие допросы могли свести на нет все то, чего с таким трудом добился Давид.

В первые дни, только придя в себя после наркоза и осознав, кому он обязан своим спасением и, можно сказать, второй жизнью, Джамиль пытался сорвать с себя трубки кислородного питания и капельниц, которыми был оплетен, отказывался принимать лекарства и еду. И только мягкий увещевательный голос Рут, внимание, забота с ее стороны, прикосновение ее ласковых рук как-то помогали его успокоить, умиротворить, изредка даже вызвать улыбку на его суровом, с резкими чертами лице. С трудом, словно в тумане, Джамиль различал лучистые голубые глаза, выбившиеся из-под косынки пряди золотистых волос, такие нежные, чуть припухлые, женские губы.

Давид понимал: что ж, сестра милосердия, ей и положено быть милосердной, ласковой, оказывать на больного благотворное воздействие. К тому же, он и сам вначале уговаривал Рут проявлять по отношению к этому больному заботу особую. И все же, наблюдая со стороны, как оживает, преображается Джамиль при каждом появлении Рут в больничной палате, Давид не мог не признаться себе, что все это его теперь раздражает, что в душе поднимается какая-то смутная волна.

Через какое-то время, когда состояние Джамиля стабилизировалось и уже не внушало Давиду постоянной тревоги, между ним и его пациентом возникают разговоры, касающиеся уже не только температуры, артериального давления, болезненных ощущений в груди. Однако ж, будто заранее между собой сговорившись, они всячески избегают вопросов политики, старательно обходят все, что могло бы их привести к спорам о причинах и обстоятельствах давних, закоренелых

межнациональных конфликтов, тем более – о способах их разрешения. Но зато Давид позволял себе как бы походя, ненароком, поддеть, уколоть Джамиля едким, язвительным словом, острой, двусмысленной репликой, которые, впрочем, не могли оскорбить больного и звучали в устах Мидана скорее, как невинные, простодушные шуточки. Не оставался в долгу и Джамиль – недавний выпускник Бейрутского университета. И только в одном как-то совсем неожиданно и вроде бы совершенно некстати проявилась благодарность пациента своему спасителю – в крепком мужском рукопожатии. В нем был, как бы, заложен особый смысл, не показной, без слов, без клятв и лишних объяснений, но понятный им обоим.

Между тем допросы Джамиля с каждым днем становились все жестче.

– Чего же от вас добиваются? – со свойственной ей чуть не детской наивностью как-то спросила Рут.

– Списки! – усмехнулся Джамиль. – Им нужны списки. Чтоб всех поименно назвал. И чтоб сказал, где хранили взрывчатку, где хранится оружие. А не то, стала бы полиция так заботиться о моем спасении, уговаривать Давида Мидана оперировать меня... Главное для них было, чтоб не дал мне подохнуть, пока не скажу все, что знаю...

И дальше, в разговорах, становится ясно, что Джамиль ясно отдает себе отчет: все усилия врача, все заботы о нем Рут – все это, можно сказать, на ветер – выдержит он все допросы, что ждут его за порогом больницы, вряд ли останется живым. Не выдержит, выдаст – прикончат свои. Так вот и получается, напрасно вытащили его с того света, дорога у него одна...

Тяжелый осадок оставило это признание в душе впечатлительной Рут.

Поздним вечером, когда после смены Давид провожал ее по затемненным безлюдным улицам, она страстно говорила в глубоком смятении:

– Это ж безумие, нелепость какая-то! Столько сил положить, столько всего... Можно сказать, мертвеца воскресить, сотворить человека заново! Ведь ты чудо совершил, нет, нет, не спорь, – это настоящее чудо! И ради чего? Ради того, чтобы он не

унес с собой в могилу какие-то сведения?! Да ведь это абсурд! Тем более, что после всего, после того, как ты вернул его с того света, это ведь совсем другой человек. Только слепой может не заметить. Я абсолютно уверена, что никогда больше он не будет участвовать в чем-то подобном. И дружков своих удержит!

– Да, конечно, абсурд, бессмыслица, – соглашался Давид. – Но что мы можем сделать? Иного выхода, кажется, нет...

И все же Давид, а вместе с ним и Рут идут на всякие ухищрения, чтобы оттянуть, отсрочить, насколько возможно, выписку Джамиля. Они сознают алогичность, даже преступность того, что делают, но продолжают выискивать всякие медицинские доводы против выписки. Ситуация складывается поистине парадоксальная: не пациент, как обычно, а сами медики симулируют его болезнь.

Очередная просьба о продлении срока лечения Джамиля в клинике, с которой Давид обратился в полицию, была встречена там с раздражением и едкой насмешкой. Ему порекомендовали заниматься проблемами грудной хирургии – здесь он большой специалист, но не лезть в те дела, которые его не касаются. Да, конечно, они ему благодарны за помощь, которую он им оказал в нужный момент. Но теперь – спасибо. Террорист уже вполне транспортабелен, в ближайшее время служба безопасности перевезет его в собственное лечебное учреждение, где о больном позаботятся уже другие специалисты.

Рассказ Давида о своем визите в полицию, о том, как он там был принят, возмутил и разгневал Рут даже больше, чем самого хирурга. В состоянии крайнего раздражения она поносила чиновников, заявила Давиду, что после всего, что он сделал для спасения жизни Джамиля, он, как врач, да и просто по-человечески, не вправе отдавать его в руки полиции – он обязан придумать нечто такое, чтобы и на этот раз спасти своего пациента.

Такая горячность, такая страстная заинтересованность Рут в судьбе Джамиля в какой-то момент показалась Давиду чрезмерной, странной. В душе его опять шевельнулась уснувшая было ревность. Человек сдержанный, сильный, он не мог по-

зволить этому чувству проявиться открыто. Он только холодно и вроде бы равнодушно заметил, что если Рут и вправду так заботит судьба подопечного, что ж – пусть сама теперь и придумает способ спасти его. Он, Давид, сделал для своего пациента все, что было возможно, даже больше того. С него хватит, ему надоела вся эта детективная история, кроме того, он очень устал. Он решил взять отпуск и завтра же на несколько дней отправиться к морю. Не желает ли Рут составить ему компанию?

– Предложение заманчивое, – минуту поколебавшись, откликнулась Рут, и тут же с хитрецой, заговорщически добавила: – Только мне нужно предварительно встретиться с одним человеком, надеюсь, вы меня подождете?

Давид согласно кивнул. Договорились встретиться на следующий день, в полдень, на автобусной станции.

Прежде, чем наступило утро, Рут – эта взбалмошная, с авантюрными наклонностями девушка – под покровом ночи, в каком-то ветхом арабском домишке встречается с Фатхией. В туманных выражениях, полунамеками она дает понять этой мнимой сестре Джамиля, что если бы его друзья надумали ему устроить прогулку за пределы клиники, то есть люди, готовые на час-полтора отвлечь полицейского стража и в течение этого времени не заметить исчезновения больного. Сам же владелец клиники и Рут отправляются завтра в отпуск.

Эйлат – фешенебельный курорт на самом юге Израиля. Среди немногих купающихся – Давид и Рут. Они беззаботны и веселы.

Полиция хватилась и кинулась преследовать беглеца, когда тот был уже далеко.

Досмотры машин на дорогах...

Вертолетный патруль...

Облавы на блокпостах...

Обратив внимание на подозрительный мини-автобус, полиция бросилась за ним в погоню. Кривые и узкие улочки

арабского поселения затрудняют преследование, дают возможность мини-автобусу скрыться.

За восходом багрового диска луны Давид и Рут наблюдали уже в уютном, под кипарисами, приморском кафе. Полон томления и неги их медленный танец.

Счастье... Если возможно оно, то в этот миг...

Нет, не такой, совсем не такой встречи со своими сподвижниками ожидал Джамиль. Вместо открытых улыбок и крепких объятий – угрюмые лица, холодное недоверие, у многих во взгляде явная подозрительность. Как ему было знать, что исходившее от врагов предложение не препятствовать его побегу, будет встречено здесь с большой настороженностью? С чего бы это вдруг такая трогательная забота о террористе? Уж не запродался ли он, не согласился откупить свою жизнь ценой предательства, готовностью пойти в услужение к врагу?

Подозрения эти еще более усилились после того, как Джамиль как-то невнятно, сбивчиво попытался заговорить о том, что за дни, проведенные в больнице, он засомневался: а помогут ли теракты, которые они учиняют, решить их давний национальный конфликт, распутать этот туго затянутый узел? А, может, и вправду: попробовать, как говорится, сесть за стол, попытаться договориться?

Такие слова озадачили даже самых близких дружков Джамиля: видно, и в самом деле не выдержал парень, сломался, стал на путь предательства. а разговор с такими короткий, предателю – смерть!

Но кто-то, самый может быть, мягкосердечный, по старой дружбе с Джамилем предложил: а может, прежде, чем казнить, дать ему последнюю возможность на деле доказать свою верность?

На том, посовещавшись, сошлись.

(На протяжении всей этой сцены из-за стены, то усиливаясь, то ослабляясь, доносились звуки тяжелых ударов, падения тела, выплескиваемой воды, проклятия, угрозы и стоны – кого-то там пытали.)

Кивнув на стенку, Джамиль шепотом спросил у приятеля, того самого, что за него заступился:

– Для меня, что-ли?

Тот кивнул.

В полицейском участке убеленный сединой следователь одного за другим допрашивал сотрудников клиники Давида Мидана – врачей, медсестер, техперсонал: как, при каких обстоятельствах мог случиться побег Джамиля Мухаммада, кто мог содействовать этому? Какие отношения связывали пациента с хирургом, его оперировавшим, другими врачами, с опекавшей его медицинской сестрой? И хотя все допрашиваемые отзывались о своем шефе с глубокой симпатией, а многие – с искренней сердечной привязанностью, от внимания многоопытного следователя не ускользнул тот факт, что за дни, прошедшие после операции, сделанной Давидом Миданом, между ним и его пациентом возникли и с каждым днем все более укреплялись отношения какие-то особые. Странная, на первый взгляд необъяснимая картина вырисовывалась в сознании следователя.

В комнате без дверей и без окон, больше схожей с тюремной камерой, чем с жилым помещением, преклонного возраста мужчина в чалме и в халате – мулла Максуд – тихим, вкрадчивым голосом внушал Джамилю, что принеся себя в жертву во имя богоугодного дела уничтожения неверных, он становится шахидом – мучеником во славу Аллаха – и тем самым открывает себе прямую дорогу в рай – обитель вечного, ни с чем не сравнимого блаженства. Мулла говорил вдохновенно, с большой убежденностью, и было заметно, что слова его проникают в самую душу Джамиля, возвышая и гипнотизируя его.

Затемненный номер в отеле. Истомлено раскинувшись, Рут отдалась Давиду. Для него этот миг – вершина блаженства, неизъяснимого, всепоглощающего восторга любви. Но даже в этом, сладостно-опьяненном состоянии, человек с душой утонченной и чуткой, он не мог не заметить, что ощущения эти – лишь его ощущения: что-то мешало Рут раскрыться в ответном порыве, погрузиться в волну свободной, безоглядной страсти…

Потом они лежали недвижно, безмолвно. Давид закурил. Рут, могло показаться, уснула. Но вдруг из-под плотно сомкнутых девичьих век блеснула, покатилась слеза. Сквозь нее, будто сквозь призму, по потолку, по стенам, в зеркалах трельяжа заметались, завихрились в дикой пляске тревожные тени. И тут же, не утирая слез, Рут рассказала Давиду о своей тайной ночной встрече с Фатхией, о том, что, пользуясь добрым к себе расположением дежурных сотрудников клиники, уговорила их на какое-то короткое время не заметить исчезновения Джамиля… Разве Давид не догадывался, не знал о ее намерениях?

Давида будто подбросило. На какой-то момент он даже потерял дар речи. Потом прохрипел взбешенно: как могла она, как посмела пойти на такое?! Разве ж не понимает, чем это может кончиться для Давида, для нее самой, да и для того, о ком она так заботится?!

– Значит, я поступила неверно? – искренне удивилась Рут и с недоверием стала вглядываться в лицо Давида. – А мне казалось… мне казалось… что ты сам втайне хотел, чтоб все произошло именно так… Значит, я ошибалась?

– Святая невинность! – не выдержал, взорвался Давид, – Да ты хоть чуточку представляешь, что натворила?! Что теперь будет?! И не играй со мной в невинную девочку, ты все это сделала для себя, я это сразу заметил!

Не дожидаясь ответа, он рванулся к двери, уже на ходу накидывая на себя одежду.

Поникшая, виноватая, не произнося ни слова, Рут сгребла в саквояж разбросанные по номеру вещи и тоже пошла к выходу.

В темном подвале, где томился Джамиль, Фатхия появилась неожиданно. Бросилась, прижалась к любимому. А Джамиль, будто его подменили – подавленный, отстраненно-чужой, с погасшим, затуманенным взглядом.

Торопливо, задыхаясь, Фатхия горячо зашептала:

– Успокойся, успокойся, родной! Все, о чем тебе говорили, – взрывчатка, самопожертвование – все это, чтоб тебя испытать. Проверку тебе устроили. На самом деле – не взрывчатка там, простые железки. Только ты этого знать не должен. Это секрет. Делай все, как надо, как будто и вправду готов

принести себя в жертву. Ты понял? Ты меня понял? Ничего не бойся и делай так, будто идешь на смерть!

Но неожиданное, казалось бы, спасительное сообщение Фатхии почему-то не производит на него впечатления, оно как бы не коснулось его сознания. Он продолжал оставаться таким же мрачным, угрюмым, подавленным. И вдруг, словно превозмогая себя, с надрывом и мукой, он выдавил сквозь сжатые зубы:

– Хватит, не могу! Делайте, что хотите, хоть убейте, а я не пойду!

Фатхия оглядела его удивленным, непонимающим взглядом, попыталась растормошить его. Горячим, сбивчивым шепотом она внушала Джамилю, что опасности больше не существует, что они снова, как прежде, смогут быть вместе, свободными и счастливыми. Она даже решилась обнять его, коснуться губами. Джамиль отстранился, отодвинулся в сторону. Не заметить, не оценить всех этих странностей его поведения было невозможно. И Фатхия поняла: в душе Джамиля произошла какая-то страшная для нее перемена. Она теряла возлюбленного, теряла жениха. И женское сердце тут же подсказало ей ответ и разгадку – Рут, медсестра, это она переманила Джамиля, околдовала его, похитила его душу.

Сцена ревности, которую устроила Фатхия, была безобразной и грубой. Джамиль не пытался оправдываться – он молчал и молчал. Когда укоры и оскорбления стали уж вовсе нестерпимы, он поднялся, расстегнул и с грохотом бросил в угол обхватывавший его грудь кожаный пояс, начиненный металлическими осколками, тяжело пошел к двери.

– Трус! Значит, правду сказали товарищи: продался! Променял наше святое дело на эту неверную, на эту грязную шлюху!

– Считайте, как хотите, мне все равно! – отрезал Джамиль и переступил порог, вышел во тьму, что стелилась за дверью.

Мгновенье помедлив в растерянности, Фатхия схватила спрятанный в нише пистолет, бросилась следом.

Джамиль обернулся на звук шагов, в слабом свете луны увидел направленный на него пистолет. Рука Фатхии дрожала, видно было, что женщина не в силах нажать на курок.

Будто завороженный, неотрывно смотрит Джамиль в дрожащий черный зрачок ствола.

Выстрел оказался глухим, почти неслышным.

В то же мгновенье, шатнувшись, Джамиль рухнул на землю.

Похоже, Фатхия, даже не поняла поначалу, что случилось. Потом она с отчаянным, диким криком бросилась на распростертое тело, забилась в рыданиях…

С трудом поднявшись на ноги, пошатываясь, хватаясь рукой за высокую каменную стену, Фатхия добралась в полутемный подвал, откуда они недавно вышли с Джамилем, упала на колени, коснулась лбом земляного пола, и зашептала, с яростной злобой, ненавистью и болью:

– Это все они! Они, иудеи проклятые, тебя погубили!.. Но я отомщу им! Отомщу и за тебя, и за себя, и за всех наших братьев! Аллах велик! Да поможет он мне!

Трясущимися руками, с остановившимся взглядом, словно в полусне, она подбирает лежащий в углу пояс, начиненный взрывчаткой, прикрывает его жакетом, выходит во тьму, идет к машине, припаркованной у самых ворот.

Красная "Хонда" с Фатхией за рулем резко рванула с места, взвизгнув резиной покрышек, вылетела на широкую, в огнях фонарей и расцвеченных реклам оживленную городскую улицу.

…Будто сведенное судорогой, окаменевшее лицо Фатхии.

…По пустынному ночному шоссе, среди притаившихся в вечном безмолвии угрюмых холмов и узких ущелий Иудейской пустыни в бликах лунного света стелется зловещая тень автомобиля.

…Фатхия за рулем.

Бескрайняя, плоская, выгоревшая под солнцем пустыня Негев.

К автобусной станции Эйлата машина Фатхии подъехала покрытая толстым слоем рыжей дорожной пыли.

Не выходя из машины, Фатхия проследила за тем, как Рут, а за нею Давид вошли в большой двухэтажный автобус, поднялись в верхний салон.

Выждав какое-то время, к автобусу подошла Фатхия, заняла место в нижнем салоне.

Большой двухэтажный автобус несется по широкому шоссе, расцвеченному пастельными красками ранней зари...

Мчится вдоль изумрудного морского берега...

На большой скорости вписывается в крутой вираж...

Среди других пассажиров, мирно дремлющих в полутемном верхнем салоне, – безмолвные, с напряженными лицами Давид и как-то враз потускневшая Рут...

А в нижнем салоне, не замеченная ими, – Фатхия...

Мчится автобус...

Дрожащие пальцы Фатхии тянутся к кнопке взрывателя...

Серебристое тело автобуса скользнуло в тень придорожной оливковой рощи, и в этот момент прогремел, словно гром, мощный взрыв.

Сноп огня...

Душераздирающий крик...

И снова земля погружается в первозданную тишь...

Неправда, друг не умирает!

Памяти Григория Марьяновского

Уже готовился этот альманах, уже велись переговоры с авторами, и с ним, с Григорием, мы обсуждали, что он представит в сборник, и тут недобрым утром раздался звонок: ночью, в больнице умер Гриша...

Он был тяжело болен, болезнь наносила удар за ударом – инфаркт, инсульт, перелом бедра... И все же оставалась надежда, ведь несмотря ни на что, он каждый раз поднимался, выправлялся, одолевал недуг! Видимо, жила в нем неистреби-

мая воля к жизни. Он мужественно боролся, до последнего дня сохранял ясность ума, интерес к окружающему, ко всему, что происходило в литературе, в мире...

И тут – этот звонок... И все! Как разом все оборвалось!..

Это был удивительный человек, красивый внешне и внутренне, - в нем сочетались глубокий ум, высокая культура и в то же время очень живое, непосредственное восприятие жизни и литературы.

Он родился в Киеве, в 1927-м году. Во время войны, подростком, в числе многих эвакуированных попал в Узбекистан, работал на заводе. В 1951 году окончил театроведческий факультет Киевского института театрального искусства, и он, обладатель диплома с отличием, единственный из всего курса не получил назначения на работу (пятая графа!). Целый год он ездил по городам Украины, по театрам, где требовался завлит, где его ждали по предварительной договоренности, но как только видели его анкету, вежливо отказывали под разными предлогами. Впоследствии, уже будучи известным кинодраматургом, лауреатом нескольких престижных премий, он часто с горечью вспоминал об этом. Травма осталась на всю жизнь.

Он вернулся в Узбекистан, и с тех пор, с 1952 года, вся его жизнь была связана с этой республикой, с Ташкентом. Он работал в редакции литературно-художественного журнала "Звезда Востока" - был зав. отделом, ответственным секретарем, заместителем главного редактора. Затем работал в книжном издательстве. Несколько лет был собкором газеты "Советская культура".

Им написаны литературные сценарии "Фортепианный концерт", "Мощный пласт", "Двенадцать часов жизни" (в соавторстве с Марком Елениным), "Непокорная", по которым в разные годы были поставлены на студиях "Узбекфильм" и "Таджикфильм" полнометражные художественные фильмы. По его сценариям было поставлено также более 30 документальных и научно-популярных кино- и телефильмов.

Его волновала тема спасения детей, осиротевших во время войны. Много лет он собирал материал и создал художественно-документальное повествование "Книга судеб" о

нравственном подвиге простых людей из народа, принявших, обогревших, сохранивших жизни многих тысяч осиротевших детей, притом, что в большинстве своем это были еврейские дети. Книга выдержала множество изданий, была переведена на несколько языков.

В Израиль он переехал в 1992 году и сразу же собирался включиться в активную творческую жизнь. Но вмешалась болезнь.

Он был талантливым литератором, кинодраматургом, критиком. Но был у него еще один редкий дар, который я бы назвал талантом человечности. Он был необычайно отзывчив к людям, и они постоянно тянулись к нему, шли со всеми своими проблемами, и он, как мог, старался помочь каждому - кому словом, кому делом.

Нас с ним связывала многолетняя дружба. Она прошла через все испытания и осталась навсегда, как драгоценный дар, отпущенный жизнью. В одном из последних наших разговоров речь зашла о том, что вокруг каждого человека в процессе общения с другими людьми на протяжении жизни образуется некое особое поле, особая сфера, наподобие ноосферы, окружающей нашу планету. И подобно ноосфере, это поле помогает человеку жить, а когда он уходит из жизни, помогает другим.

Убежден, что это поле, оставленное Григорием Марьяновским, еще долго будет согревать всех, кто имел счастье прикоснуться к нему.

Вильям Александров

Марина Меламед

* * *

Раз-два-три-четыре-пять,
Поворачиваю вспять, –
Фотокарточки не спят,
Пожелтели.
Вот со скрипочкой бегу
До троллейбуса в пургу,
Оторваться не могу
От метели.

Вот картинки жизни дачной
Развесёлой и удачной,
Снимки старые прозрачны,
Не меняются.

Удивлённые глаза
И бумажная коза
Не узнают, что гроза
Начинается.

Но не буду про грозу,
Снимки спрячу-унесу,
В настоящее ползу
Еле-еле.
И… со скрипочкой бегу,
И автобус стерегу,
И мечтаю о метели
В апреле.

Простая геометрия

Параллельные пространства,
Запредельные миры.
Неземное постоянство –
Это что, закон игры?

Всё спокойно и как надо –
Сверху вниз течёт вода.
Нет на свете звездопада.
Тропы есть – кому куда.

Путь отмерен. Но однажды –
Луч к лучу, рука к руке…
Пламя отразится дважды,
Две души – накоротке.

Полустанок. Перекрёсток.
Свет дрожит. Гудит норд-вест.
Ну, а может, это просто
Жажда перемены мест?
Вольный ветер не ответит,
Да и я-то не спрошу, –
Что нас ждёт?
На белом свете
Ни звезды не погашу.

* * *

Комета пролетает
Над сонной головой,
Осенний вечер тает
Пожухлою травой.
Меняют путь циклоны,
Кончаются слова,
Качают небосклоны
Ночные острова.

Был день таким удачным, –
Всего-то: свет горел,
В моём районе дачном
Никто не заболел,
По счастью, не убили
Сегодня никого.
(Не знаю, как там, в Чили –
Не знаю про него.)

Но в Иерусалиме
Чтоб тишь да благодать?
Под солнцем неделимым
Покоя не видать…
Не часто удаётся
Такое ноябрю:
Спокойно пиво пьётся…
– Суббота! – говорю.

* * *

Сидим. Молчим. А в горле – ком,
А в доме – сердце под замком.
Кому – грустить, кому – стареть,
Кому – налить бокал на треть.

Спроси, куда ведут мосты?
Сплошной туман, слова пусты.
Летает дым, гуляет дым
По мокрым улочкам седым.

Наверно, сны придут потом –
Про дом с зелёным потолком,
Про синих птиц, что под замком
Молчали так, что в горле – ком.

* * *

Горит, работает пекарня,
Соединяются столетья,
И все слова стоят попарно –
Глаголы рвутся к междометьям.
Минуты, страны и пространства
Сжимаются до нужной точки,
Потом взрывается шаманство –
Поток несёт шальные строчки.
Смотреть в окно, смотреть бесстрастно,
Вдруг за окном тебя увижу –
Не наяву, но не напрасно
Гуляли мы не по Парижу…
И пили кофе очень разный –
Я растворимый, ты эспрессо,
Вчерашний день пускай напрасный,
Хотя года летят экспрессом,
И станут тенью незаметной…
Так выпекаются сонеты,
А день запрячу в ларь заветный,
Где только ты…

* * *

А ты не знаешь – как же ты не знаешь? –
Что я расту, распахивая ветки,
Лучи, дрожит листва, – ты понимаешь? –
Открылись прочные замки на клетке.

А ты не слышишь – как же ты не слышишь?
Поёт весь дом, и ставни, окна, дверцы,
И даже крыша – не поверишь – крыша!
И та запела гамму в виде терций.

Весна? Возможно. Новый год? Как будто.
Я превращаюсь, а во что – не знаю.
Быть может – в птицу, а скорее – в утро.
Летит снегурочка или, как в сказке, тает?

А ты молчишь, поёшь? – не угадаю,
И что-то внятно говоришь – не слышу.
Какая жалость, чепуха какая,
Но ничего, как говорится, не попишешь.

* * *

Ушли пароходы в далёкие годы,
С собой увезли золотые погоды,

Уж лучше ушли бы в далёкие воды,
В солёные-пресные дальние воды…

И катамараны, и шхуны, и яхты
Ушли, не прощаясь, стояли на вахте,

Но помнят, как плыли и мы без оглядки,
И крали черешню, и бегали в прятки,

И как мы с тобой целовались украдкой,
И старый скворечник, и кислый, но сладкий

Крыжовник. Зачем же ушли пароходы
В солёные-пресные дальние годы?..

* * *

Смотри – волна подходит близко, –
Вода дрожит, переливаясь,
Летают чайки низко-низко,
С закатом медленным прощаясь.

Да, завтра шторм. Но всё же – завтра.
А нынче – тихо, безмятежно.
Афиша Яффского театра
По пляжу катится неспешно.

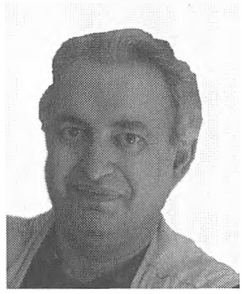
Давай, дружочек, в воду бросим
Бутылку – напиши записку.
О чём? О том, что скоро осень,
Что слишком этот мир серьёзен…
Плесни-ка мне немного виски.

* * *

Из дома утром выхожу,
Что там, снаружи, ветер? Ветер.
Сбивает с ног, свистит, – прошу,
Чтоб не срывал он двери с петель.

Чтоб выстоял мой старый дом,
Хотя давно разбиты окна,
И стены держатся с трудом,
И крыша бедная промокла.

Пускай стоит назло ветрам,
Пускай скрипит тихонько дверца –
В нём так тепло по вечерам,
Что Млечный Путь заходит греться.



Евгений Минин

Постучался день осенний

Постучался день осенний,
За столом сижу уныло,
То ль окончилось везенье,
То ли высохли чернила,
То ли всё,
что ныне – в саже,
То ли будущее –
в фальши,
И никто мне не подскажет
Невзначай –
что делать дальше?
Чьи-то
крутятся колёса,
И под дых бьют
чьи-то локти,
Кто-то –
просто смотрит косо,
Чтобы знал,
насколько плох ты.

Ну, так что же,
год из года
Раз ведётся –
значит надо,
Так задуманы природой
Нашей жизни
перепады,
Нашей жизни
светотени,
Я ей рад,
по крайней мере…
Постучался
день осенний –
Я пойду,
открою двери.

Снег в Иерусалиме

Мы ждали снега – он не выпал,
Прогноз погоды снова врёт,
Природа любит делать выпад,
Чтоб – в пику,
чтоб – наоборот.
Создав иллюзию над нами,
Когда мы пакости не ждём,
По полной выдала программе –
И снег, и молнию, и гром.
Тут не экзотика,
не – манна,
Бежишь – промок,
ослеп,
оглох.
Природа любит,
чтоб нежданно –
Вдруг,
неожиданно,
врасплох!

Танец на углях

Алели угли ярко,
Восторги:
ох да ах!
Красивая болгарка
Плясала на углях.
Задорная,
босая,
летели из-под ног
лишь искры –
мать честная!
Я б точно –
так не смог!
Куда евреям нашим
такой плясать фокстрот,
Но –
научились,
пляшем –
И я,
и весь народ
Взлетаем, словно птицы,
А угли –
жгутся жуть!
И некому водицы
Нам под ноги плеснуть!!

Лошадь

Лошадь выпрягли старую, бросили в поле,
Мол – свое оттаскала, теперь бей баклуши,
И траву ешь от пуза, и спи аж до боли,
Заработала, мол, пансион свой старуший.
А она – за повозкой бежать – непонятно,
Как могли? Я – сильна! Я – стальная натура
Так возница кнутом ее выгнал обратно –
Живо в поле, гуляй! Эко, старая дура!

И стояла она одиноко и горько,
На глаза набегала соленая влага,
Надорваться бы ей на какой-нибудь горке,
Или с хрипом сорваться с крутого оврага.
И стояла она на крутом косогоре,
Велика, непонятна в душевном ненастье –
Может, сдохнуть на воле – великое горе,
Может, сдохнуть в повозке – великое счастье.

Прошла весна

Ах,
    сладко мы отсыпались,
Ах,
    было вдвоём тепло –
В это время
    листва осыпалась,
И мороз дышал на стекло.
Пела вьюга в манере диско,
И скрипели ночами леса,
И за окнами близко-близко
Пробегала за зайцем лиса.
А когда мы с тобой бесшабашно
Распахнули окошко со сна –
Стало холодно нам
                и страшно,
Оттого,
            что прошла весна.

Почему?!

Котёнок залезает под ладонь,
И спит клубком –
ему тепло и ясно,
Не лезь к нему,
не гладь его,
не тронь –
Он под ладошкой,
там, где безопасно.
У нас в судьбе
у каждого – огонь,
И беды
нас тревожат поминутно,
Над нами тоже –
Божия ладонь,
Но, Боже,
Почему нам неуютно?!

Когда поэты....

Когда поэты пишут
Сонет бессмертный свой,
Они уже не слышат
Тот выстрел роковой,
И, строчку обрывая,
Уйдёт поэт во тьму,
Спросить не успевая –
За что и почему!

Прощанье с Парижем

Афиш обрывки.
Фонари лениво
Окрашивают стены желтизной –
Работают на осень и ревниво
Следят за независимой луной.
И в этот вечер,
тусклый и осенний,
Пройду
сквозь Монпарнаса
круговерть,
В последний раз
мне б отразиться в Сене,
Париж увидеть –
и не умереть.

Городишко

городу Невель Псковской области

Городишко-городишко,
пыльных улиц
сладкий запах,
И речушка через город,
словно жилка на виске,
Я –
твой маленький мальчишка,
пробираюсь тихой сапой,
Чтобы после
смыться-скрыться
с кислым яблоком в руке.

Времени и расстоянья
между нами много слишком,
И всё шире эта пропасть,
расставанием грозя,
И не знаю я –
ты помнишь
обо мне ли, городишко,
Я-то – помню,
я-то – помню,
мне без этого нельзя,

Городишко – городишко,
майским ливнем оглушённый,
Чувства путает и мысли
ошалелая сирень.
Я –
пацан длинноволосый,
я – поэт,
вопрос решённый,
Это ты лишь мог подслушать
первых строчек
дребедень.
На краю
судьбы и жизни –
неприметный городишко,
Небо трубами коптящий
на озёрном берегу,
Я не знаю,
городишко,
может мною ты гордишься,
Ты поверь,
я так пытался,
и стараюсь,
как могу.

Елизавета Михайличенко

Готика по-дыхания

Ночная змея

Не раздражает только неизвестность.
Не покидает только мысль о смерти.
Весь мир повис, как висельник, как сервер,
и только голубь, гадя на карниз,
старательно разглядывает высь.

Обмылок облака скользнул за горизонт,
остался кафель влажной пустоты.
Вползает ночь внимательной гюрзой
тебе на грудь, чтобы помочь остыть.

Кадык постели дергается так,
что сразу ощущаешь жажду тех,
кто жадно запивает сладкий грех,
приобретая и теряя такт…

… Вот белая безвольная рука
теряет очертания в осадке
кофейной ночи. Этот привкус сладкий
столовского мутящего глотка.

И сон – пародия на избранную смерть –
все размягчает – мышцы, мысли, страсти.
И если смерть – универсальный ластик,
то сон тебя лишь пробует стереть.

Октябрь, опять

1

Спокойным небом нам не любоваться,
не втягивать его в бронхитный гной.
Мы рождены частично для баланса,
частично для балласта. Не со мной
кокетничает влажный небосвод,
стеля белье предгрозового цвета.
И ласковый, как банный лист, урод
поднимет голову для Божьего совета.

2

Ну вот и осень. Тихий листопад,
как рыбий корм на гладь воды. Цвет сини
поблек и откровенно грязноват.
Комфортно. Умирающе. Красиво.
И, упираясь мягким ртом в стекло,
смотри на солнце рыбьими глазами.
Оно на листья ржавчиной стекло,
застыло в хаосе октябрьских мозаик.

3

Гори свеча неверия, сожги
ближайшей осени умеренное тление.
Пусть яд всепроникающей строки
впитается в покой предсмертной лени.
Отравленный угаром октября,
шатаясь, добредешь до той калитки,
что отделяет тело от дождя,
что ограждает праведность от пытки.
А за тобой горит осенний лес,
а впереди – покой и покаяние,
мороз и грязь, гримаса обезьянья
запорошенных сморщенных небес.

* * *

Горькая эта вода – чем повседневней, тем горше.
Берег моей нищеты рушится. Гордость. Гордыня.
Проще становятся сны. К горлу приблизился поршень.
Едет на белом коне лысая леди Годива.

Суетна ярмарка слов, пыль оседает на шали,
и выцветают цветы, и прозябает окно,
в котором когда-то давно привиделись мутные дали,
в них я теперь и живу, в них мне теперь все равно.

Необходимость рывка – вот что ужасно. А впрочем,
необходимость воды еще безысходней, но в ней
мы приспособились жить, как рыбы – прохладно и молча,
молиться на солнечный бок и ждать от судьбы мотылей.

Необъяснимость любви? Чем непонятней, тем лучше.
Поскольку лепешка пресна, но вкус ее долог и свят.
Есть лучшее в жизни. Оно всегда называется "случай".
Его нам придумал Господь. Вот он и во всем виноват.

Бабочка

"Я люблю заглядывать в окна, – она говорила, –
ночью в окнах театр. Люблю театр живой".
Город и спутник смотрели на ангела взглядом дебила,
и это все было
с тобой, и с тобой, и с тобой.
Где ты булавки воткнешь, чтобы память пришпилить
к белому ватману вечности-на-одного?
Энтомология бывшего.
Были. И жили
в искусственном свете, в пыльце бутафорских домов.
Сцена опять воссоздастся. (Беги от себя!)
Жанр – мемуары. Герои – прозрачны и вязки.
Музыка – дождь. Атмосфера – как после дождя.
А у артистов зачем-то отсутствуют глазки.
Не вспоминай? Эта тема возникла сама.
Незачем, все прекратилось, все умерли, Лиза!
Вот – в подтверждение – две фотографии, на,
и хватит об этих двоих, третий акт уже близок.
Кулисы
в серой пыльце – с фотографий осыпался слой,
отшелушился, оставив лишь контуры жизни –
той, доотъездной, задымленной и немой,
дикой, способной на все, как подраненный гризли.
Землетрясение памяти. Баллов двенадцать.
Рушится все, исчезает, меняется местность.
Моя Атлантида лежит вне людей и пространства,
в нее не попасть – помешает расчетам погрешность.
Руины всегда навевают тоску и мораль.
Не стоит скандировать, лучше понять и заткнуться,
смотреть близоруко, беспомощно в прошлую даль,
не принимая лекарств, извинений, спиртного, инструкций.
Трепещет крылатое хрупкое нечто – булавка остра.
Ломаются крылышки – там не хватает пространства.
Сухое понятие жившего прежде родства
осталось для паспорта, а вообще – для баланса.

* * *

Чувство свободы, уймись, не ходи по паркету
скрипучему, не броди по ночам, не скули.
Здесь поселились оттенки и тени советов,
которыми отравили меня дорогие мои
(были дающими жизнь и дающими корм,
любили которые нас, да, любили, родили, растили).
Что значит расти? Это просто, как снежный ком –
сначала играючи, далее – по России,
по снегу, по грязи, объем, макароны, стихи,
кухни друзей, подъезды друзей, озарение.
Нафаршировано детство безумством стихий,
клубнично, как банка варенья.
Милые, как ненавижу я вас – за себя,
за тусклую девочку с жаждой полета и бога,
за пионерскую честность, за медленный яд,
которым, змеясь, соблазняла, травила дорога.
Как я жалею и вас, и себя, и ее,
ту, за которую было и больно, и стыдно, и гордо,
ту, что остригли тюремно, оставив жнивье
из абсолютно довольных и полудовольных,
ту, что осталась теперь вдалеке, вдалеке,
из биографии став географией. Сволочь,
ты отшвырнула меня налегке, налегке,
оставив свободу, ребенка и мужа в ту полночь.
Чувство свободы, смирись, умирать не легко,
но неизбежно, истаешь и все, успокойся,
свернись на диване уютным осенним клубком,
лечись от геройства.

Хроническое иерусалимское

Плакаты твоего настроения.
Веселье твоего одиночества.
Дефекты воспитания и зрения.
Жить хочется –
существовать опротивело.
Лает собака соседская,
визжит. Она некрасивая,
непородистая, истеричная, детская,
дети ее, правда, забросили,
гуляет с ней – нечасто – старушка,
артефакт затянувшейся осени,
сучья игрушка.
Ветер поднимается лишь вечером,
задает порывами – ритм.
Это не то, что бы лечит –
бодрит.
Концентрация кукол, Всевышний, цветущий миндаль,
что-то тикает, кто-то взрывает, взрывается.
Те, кому не везло, на дорогах валяются,
собой представляя и рок, и урок, и деталь.
Пейзаж, изменяясь все время, на деле – застыл,
раз отразившись в глазах молодых и пустых,
два отразившись в глазах умудренных и тихих,
три отразившись во всех, от мала до велика.
Город, веселый вчера, веселится натужно,
хихикая нервно в сплетении каменных кружев,
депрессия делает то, что считает приличным,
давние ссуды свои возвращает наличными.
Длань распростерта над городом. Хамса. Ладонь.
Дуля. Обилие жестов. Обилие смыслов.
Водоворот, общежитие, бегство, огонь.
Идите от нашей воды со своим коромыслом!

Зинаида Палванова

На улице Бен-Иегуда

Несчастье –
тоже имущество,
личная собственность.

Можно им пользоваться
единолично,
а можно и продавать.

Выставить его напоказ
в виде двух культей
и трясти им беспечно
под веселую музыку.

Продавать его снова и снова.
Меди, глядишь, чуток прибавится,
а его, несчастья,
не убудет нисколечко!

Такой бессмертный
ритмичный
товар.

Белый лист

Асе Векслер

Заснула в автобусе.
В руке осталась ручка,
на коленях – блокнот.
Проснулась, глянула –
белый лист…

А ведь что-то снилось!
Мой сон разрушился
от встречи с явью,
как распадается древний свиток
от встречи с воздухом.

Когда-нибудь я окажусь
в пространстве сна
с блокнотом и ручкой
и не вернусь оттуда.

Невозвращенцем стану.
Невозвращенкой.
И продолжатся,
как ни в чем не бывало,
вечные игры эти.

Вот бы рукопись передать
живущим на свете!

День Иерусалима

В этот жаркий день
в центре нашего города
все оглохли и онемели
от безжалостных оглушительных песен
влюбленных в Ерушалаим.

Устроителям, видно, хотелось,
Чтобы мир, наконец, услышал:
этот город великий – велик,
этот город еврейский – наш,
мы, евреи, любим его
громче всех.

В этот жаркий день
в центре нашего города
я увидела глухонемых.
Это были парень и девушка
с быстрыми смуглыми лицами.

Я нечаянно присмотрелась
к их беседе размашистой.
О чем они говорили?
О мороженом? О любви?

Беззвучно,
руку на сердце положа –
не знаю...

Забастовка мусорщиков в Иерусалиме

Забастовка мусорщиков.
Многодневный мусор
в городе вечном.
Синий дым от помоек.

Ничего, и это пройдет.
Хуже было бы наоборот:
представьте себе
забастовку вечности
в Ерушалаиме...

* * *

Восход состоялся.
Следы небескровных борений
исчезают с неба.
Небо стало похоже
на голубую
эмалевую ванну.

Где-то там, за холмом,
вытащена затычка,
и последние облака
устремились туда,
как мыльная пена.

Еще один абсолютно
безоблачный день
в Израиле.
Обойдется ли нынче
без крови
на голубой эмали?..

Птица

Памяти Ильи Бокштейна

Приходила птица ко мне на работу,
приносила гостинец –
небо синее в мятом прозрачном пакете,
говорила стихами,
страшилась начальства.

На земле эта птица была
нищий карлик,
горбун взъерошенный.
Для нее наш воздух был вязким,
одиноким, захламленным.

Улетела куда-то птица.
Все теперь ее вспоминают.
Кто покажет перышко слабое,
кто – листок с птичьей поступью.

У меня в кармане остались
крошки синего беспокойства,
плотный окрик начальника.

Полет

Мы только что взлетели, и теперь
Земля для нас опасность представляет.

Наш самолет огромен и силен.
Наш самолетик бесконечно мал.

Что чувствуют мои соседи?
Я наслаждаюсь чувством отрешенности.

Всё может быть в отрыве от земли –
И я согласна, я не протестую.

Лечу себе, лечу великодушно,
Над прошлым и над будущим лечу.

Томительных подробностей не вижу.
Застыло всё внизу. Меня там нет.

И вот настало время приземляться
Сквозь облака, сквозь укрупненье мира.

И вздрогнуть, наконец, всем самолетом
И по земле промчаться, затихая.

Что чувствуют мои соседи?
Я взрывом жизни делаюсь на миг.

Иностранки

Лиле Гольцер

На автобусной остановке,
недалеко от Красной площади,
хохочут, как сумасшедшие,
две подружки,
две бывших студентки,
две бывших москвички,
две иностранки –
американка с израильтянкой.
Они прощаются нынче,
они разъезжаются нынче
в разные стороны,
в разные страны.
У них сегодня
болят животы от смеха.

Завидев автобус,
бросаются дамы
друг другу в объятья.
Автобус не тот.
Хохочут.
И вновь показался автобус,
и снова прощаются тетки,
и опять не тот.
Невыносимо смешно.

А еще смешней
оттого, что ветер дует
и того гляди дождь пойдет,
и старость близится,
и совершенно не ясно,
встретятся ли еще хоть разок
две несерьезные иностранки эти
на безумно смешном и коротком
белом свете...

И приходит
нужный автобус,
и наскоро давит женский смех,
и увозит одну из них,
а на другую
падает первый снег.

* * *

В конце прекрасных наших жизней,
в конце страстей, в конце времен
Мы очутились в Зазеркалье –
я, неизменная, и он.

Как солнечно в кафе том узком
со стойкой узкой вдоль стены –
Нечаянной стены волшебной,
в которой мы отражены!

Мы засмеемся – в ней смеются.
Мы замолчим – в ней замолчат.
Пьем кофе. Горек он и сладок.
Мы здесь, мы не глядим назад.

А впереди, а за плечами
тех зазеркальных, тех двоих,
Мерцают смутно две дороги
и дальний перекресток их.

Вдруг нежно все перемешалось –
что было, что грядет в судьбе,
И мы, запутавшись друг в друге,
на миг запутались в себе.

И музыка шла отовсюду,
то затихая, то гремя.
Потом... потом они расстались –
те двое с этими двумя.

Галина Подольская

Иерусалима верная струна

Иерусалимская фантазия

Рассуждая о создании мира, мудрецы спрашивали: "Откуда Всевышний создал его?" И ответил один псалмопевец: "С Сиона – который есть верх красоты".

Здесь стоял Храм – святыня еврейского народа. Здесь покоится скала, прозванная краеугольным камнем мира. "Эвен ха-штия" – камень основания. Здесь, в центре мира, был выстроен Иерусалим – город Бога, что "есть верх красоты".

Среди пустыни пламенной
Есть город золотой,
Есть город белокаменный,
Овеянный мечтой.

И, ею окрыленная,
В зеленом полусне
Лечу к нему, влюбленная,
В янтарной вышине.

Как звонкие кузнечики
Из шелеста песков,
Верблюжии бубенчики
Звенят из тьмы веков.
Поют псалмом Давидовым,
Вновь миражом маня:
Царь строил град невиданный,
А думал про меня,

И песня обручальная
В любви была ясна –
Вне зыбкого молчания,
Водоворота сна…

И в синеве пергаментной,
В шафранной тишине,
Мой город белокаменный,
Ты не приснился мне!

И повелел Господь служить Ему МОЛИТВОЙ в Иерусалиме, ибо нет для молитвы другого такого места.

Лишь молитвою дышит
У Стены иудей…
Твои уши не слышат
Криков темных людей.

Твои веки болеют –
В гордо-солнечный зной.
Твои очи слабеют –
Как от слез – в проливной.

И безжалостным жалом
В сердце – горечь вины.
Твое тело устало
От проказы войны.

Стеною воспаленною
Прижмись к губам моим.
И я любовью – боль твою
Сниму, Иерусалим.
Пергаментом струящимся
Под женскою рукой
Ты ковылем лоснящимся
Вновь обретешь покой.

Я чувствую судьбу твою:
Ты верою храним…
И все ж отдай мне боль свою,
Святой Иерусалим…

Лишь молитвою дышит
У Стены иудей…
Твое сердце все слышит,
Но не судит людей…

В июне 2002 года произошло обыкновенное чудо – Стена Плача впервые "заплакала". Просто, невзирая на научно-технический прогресс, и в третьем тысячелетии невероятное порою оставляет за собой право вдруг становиться очевидным.

Чудес не бывает, но плачут иконы,
И кажется людям, что выше короны.

И кажется людям, что легче страданья
Свои пережить под святыни рыданья.

Безумная просьба на Стену ложится.
И плачет Стена от нежданной страницы!

Такого – у Бога еще не просили,
Коль в Храме свечей еще не загасили.

"Мидраши" решили за всех и навек:
Святым на земле должен быть человек!

Безумное солнце о небо стучится,
И плачет Стена – видно, чуду не сбыться

Страдаем на пару теперь со Стеной,
Ведь всех причесали гребенкой одной.

Чудес не бывает, но плачут иконы,
И словно мягчают законы, каноны.

Дрожу под дождем, и рыдает Стена:
Похоже, что справится с просьбой она!

Под талитом

Можно ль скрыть под талитом
Лавину желанья –
Если то, что сокрыто,
Подлежит наказанью?
В этот каменный вечер,
Что как гулкое вече
Русской праведной речи.

Мне судьба посулила
Отыграться открыто –
Так, что горло сдавило
Гортанным ивритом…

Зажигаются свечи,
Город огненной встречи,
Обойми мои плечи.

Иерусалим, ты вошел в мое сознание еще там, в России. Еще не прочитав ни одной священной книги, уже с детства я знала о Священной земле Палестины – знала из русской поэтической классики. Но никогда не могла предположить, что ты, Иерусалим, станешь моей реальностью...

Как горлинки Израиля нежны!
Они живут, не зная поля брани,
В Иерусалиме, у Святой Стены,
Защищены небесно-синей гранью.

И сизокрыло над Стеной парят,
И ловят плач упругими крылами,
Воркуя, разговаривают с нами,
И веточку священную дарят.

Оливковая веточка. Она –
По-лермонтовски – "ветка Палестины".
Она из детства, мой мотив старинный,
Иерусалима верная струна.

Иерусалимская фантазия

Обожжена,
Обнажена – до души –

Не спеши
Поверить…

Тебя я из книг каббалических знала,
Но только на этой земле повстречала.

И город немой, что с султанами слился, –
Тобою – шатром сулейманским открылся.

Расцвел лизиантус, головкой кивая,
Как купол мечети, мечты раздувая.

И голубь простой, с оперением белым,
Сказал мне несмело: "Чтоб ты не посмела!"

Но только любовь – бестолковая птица,
И снова в силки, неразумная, мчится.

И сердце стучится Иерусалима –
Трепещет надеждою неопалимой.

Но не спеши
Поверить!

Западная Стена. Святые камни. В день Царицы-Субботы они кажутся еще светлее – от белых праздничных одежд пришедших к ним на моление. Шелестящие шелковые талиты, белые шали и косынки молящихся развеваются, как голубиные крылья, как парящие облака на невозмутимо спокойном небе.

И вместе с нашим духом ты возносишься над землею, мой небесный Иерусалим!

Как голубь с дивным оперением,
И белых облаков излом –
Иерусалим… Еще мгновение –
И я сольюсь с твоим крылом!

Давида стройное моление
И камня светлого псалом –
Иерусалим… Еще мгновение –
И я срастусь с твоим крылом!

Судьбы могучей повеление
И иудейское "шалом"…
Смотри, ты видишь – оперение:
Я становлюсь твоим крылом!
Иерусалим – веков мгновение,
Пою тебя своим пером!

Татьяна Разумовская

* * *

Остаться сухим в океане
в пожаре волос не обжечь
готовить обеды в вулкане
и взглядом заделывать течь

пить теплую водку с охотой
на скользкой стене не упасть –
все то же что в рамки расчета
загнать раскаленную страсть.

Песенка

Ты строишь мир, ты строишь дом –
спокойно и удобно в нем,
тебе он радость и броня,
твой дом – защита от меня.

Ты вал насыпал, вырыл ров,
возвел преграду от врагов –
от злого вражьего огня,
но только прежде – от меня.

Твой день насыщен и богат,
расписан по часам уклад:
работа, отдых, сон, обед,
лишь для меня в нем места нет.

В нем нет зазоров, нет пустот,
в нем все известно наперед,
на много месяцев и лет.
И для меня в нем места нет.

Вот только сны твои в ночи
бывают – хоть на крик кричи
и руки рви зубами в кровь –
бывают сны за гранью слов.

Такие сны, что рвутся в явь...
Проснись скорей, свечу поставь,
чтоб все остыло, все прошло,
чтоб никуда не унесло.

* * *

Храни все то что обрел
порядок жену и детей
не суйся в кипящий котел
и ни о чем не жалей

Не жертвуй ничем никому
и ни за что не плати
закройся в своем дому
о сбывшемся не грусти

Не стоит забава слез
минута не стоит лжи
живи себе как живешь
и ни о чем не тужи

Не трать ни сил ни души
полней береги покой
пожар тушить не спеши
погаснет он сам собой

* * *

и свет и тень и запах хвои
движенье веток треск цикад
нас в этом мире только двое
и сам он создан миг назад

валун лежит буханкой хлеба
вьюнками юными увит
по свежекрашенному небу
живое облако скользит

трава пробилась сквозь каменья
булыжник мхом покрылся вдруг
и в мед смолы от неуменья
неопытный попался жук

водой наполнились озера
леса возникли возле них
и сине-розовые горы
поднялись в шлемах ледяных

до филистимлян до шумеров
до самых первых пирамид
нам выдан щедрый мир без меры
без войн без смерти без обид

мы часть всего что есть и будет
спустя века года и дни
и если народятся люди
то будут счастливы они

* * *

Уходя уходи, не скучай, не грусти, я сбегу, утеку, как вода из горсти, улечу, уплыву – не в Урал, не в Неву, не найдешь никогда, где живу, кем слыву. Нет на картах тех мест, ни вдали, ни окрест, ни в ближайших полях, ни в заморских краях.

Ну, а ежели злая нахлынет тоска, нелегко меня будет тебе отыскать. В те места не ведет ни одна из дорог, и туда не свезет даже преданный волк.

За стеклянной горой, за алмазной норой и за лесом кривым, с Лешим, с Бабой-Ягой, за болотной трясиной, за рощей осиновой и за мертвой пустыней – разлилось Море Синее. Там под красной скалой, за десятой волной – заколдованный вход в аметистовый грот. Не откроешь его ни ключом, ни мечом, ни горючей слезой, ни могучим плечом. Ни рукой, ни клюкою не сдвинешь засовы, отпираются створы единственным словом.

Коль его произнесть, что случится – Бог весть, может, свет и любовь, может жуткая смерть. Или дверь распахнет аметистовый грот, или в черную бездну душа снизойдет.

Не хочу я, царевич, чтоб ты рисковал, чтобы жизнью прекрасной своею играл. Чтобы ножки топтал, чтобы сердце сжигал, чтоб от липкого страха лицо потерял. В мире много дорог, не единственный путь, не ходи за порог и меня позабудь.

* * *

Не верь стихам – они игра и ложь,
кокетство мысли, чувства экзерсисы,
они не буря – легкий летний дождь,
не смерч, а нежные касанья бриза.

Они – венецианский карнавал,
в них тыщу лет знакомые картины:
принц вновь свою Нинетту потерял,
и Арлекин целует Смеральдину.

Тарталья бьет соперника в висок,
тот машет очень страшным пистолетом,
хлопушка хлопает, течет томатный сок,
Смерть корчит рожи и поет куплеты.

Пьеро рыдает – это лишь вода,
спринцовка ловко спрятана под маской,
он не умрет от горя никогда,
и все закончится веселой пляской.

Не верь стихам – они мишурный сор,
изыски неопасного обмана.
Но иногда пустячный этот вздор
сбывается и жизнь меняет странно.

Дина Ратнер

Ученая дама

Накануне Судного дня, когда ночь черней, а звезды ярче, Эсти слушает в синагоге молитву "Кол Нидрей"* и представляет этот день покаяния в Храме более двух с половиной тысяч лет назад. Такой же гул голосов летел к небу, и все те же грехи... От первого Храма остались огромные, пахнущие вечностью, камни фундамента, а от грехов евреев – их доныне неустроенные судьбы.

Эсти думает о своих грехах – о тех днях, когда умирала бабушка. Лежащая на спине с запрокинутым вверх лицом бабушка, казалось, ничего не чувствует. И не слышит, как ее любимая внучка торгуется с мамой из-за того, чья очередь вытаскивать из-под нее мокрые простыни. Эсти кричала маме: «И ты будешь старая и беспомощная. Я и не подумаю ухаживать за тобой». Недоумение на мамином лице означало: ей никогда не приходила в голову мысль о своей беспомощности.

С тех пор прошло много лет, давно уже нет мамы. Вернуть бы то время – Эсти не отходила бы от бабушкиной постели и не вела бы счет давнишних обид, когда умирала мама. Конечно же, бабушка все чувствовала и слышала, она не хотела

---

* Молитва, в которой просят прощения за все невыполненные обязательства.

маминых услуг – они не ладили. Сколько раз, стоя над их могилами, Эсти просила прощения. Может, и простили, может, и Бог простил. Только сама она все время думает о вине перед ними. Наверное, оттого, что других грехов за собой не знает.

Вчера приснился сон, будто ходит она по этажам поликлиники, где ей снимают показания работы сердца, головы, берут разные анализы и определяют: виновата или уже не виновата. Конечно виновата. Мы сами не можем забыть свои прегрешения.

– Что изменилось за пять лет с тех пор, как ты живешь в Израиле? – спросила у Эсти подруга, когда они выходили из синагоги в прозрачную темноту ночи. Вокруг были люди в белых одеждах, двигались медленно – спешить незачем; ни есть, ни пить, ни работать до захода солнца следующего дня нельзя. Только и оставалось – гулять по улицам. В упругой прохладе предосенней ночи проясняются мысли. Сегодня на небесах каждому вынесут приговор; белые одежды означают готовность к концу и к началу – хоронят в белом, и невеста в белом.

– Что изменилось... – в раздумье проговорила Эсти. – Раньше была одна, как сосна на вершине, а сейчас – в окружении других сосен.

– Так легче?

– Не то чтобы легче – спокойней. У сосны на скале неглубокие корни, не за что ей удержаться. Видела поваленные бурей деревья? Умирать в окружении других, уцелевших – легче. Я, как ты знаешь, человек не компанейский, и религиозность моя не коллективная, а индивидуальная и всё-таки легче жить и уходить из жизни среди своих. И еще в Израиле, особенно в Иерусалиме, необычное напряжение. Обратила внимание на маки, которые цветут из-под камней? Ни листика, ни стебелька, только былинка пробилась и уже расцвела, будто появилась только затем, чтобы вспыхнуть красным огоньком. Работа цветов, работа цепляющихся за камень сосен и работа души. Рассеивал Творец народ Свой, собирал, снова рассеивал, и снова всё началось с начала. Наверное, для того, чтобы мы поняли наконец Его замысел о тво-

рении мира. Каждый должен сосредоточиться, напрячься и сделать все, что может. Знаешь, я сейчас в синагоге поняла, вся моя любовь к науке – компенсация неудавшейся семьи, или, как сказали бы психологи, сублимация.

– Чего вдруг? – спросила Лея, настраиваясь на долгий разговор.

– Глядя на окружённых детьми религиозных женщин, знаю: им лучше, чем мне – ученой даме.

– У нас свои проблемы, – заметила Лея.

– Свои, конечно, но хочу, как у вас: много детей и по вечерам вся семья за большим столом.

– А такого мужа, как у меня, хочешь?

– С таким бы просто не смогла.

– Знаешь, чем Бог наказал женщину за то, что ела запретный плод?

– Тем, что рожает в муках.

– Это – пустяки. В Писании сказано: "И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой".

– Эти слова не запомнила. Не могу представить, чтобы кто-то господствовал надо мной. Нет, пожалуй, могу, и с радостью могу, только этот кто-то должен быть достойным, умным.

– Умней тебя?

– Конечно, раз речь идёт о подчинении.

– Чего не сделаешь ради мира в доме, – усмехнулась Лея.

Эсти не поняла, означала ли эта усмешка покорность судьбе или тонкий расчет сохранить семью. Вслух же сказала:

– Тебе есть ради чего стараться, в противном случае не стала бы многодетной матерью. За дочек можешь не беспокоиться, вырастут примерными женами, как ты.

– У меня и мальчики хорошие, – обиделась Лея.

– Конечно хорошие, только случается, мальчики, став взрослыми, ведут себя, как отец.

– Может быть, – отозвалась Лея. – Был же отец мужа самодуром. Свекровь рассказывала: в субботу, уже свечи зажжены, стол накрыт, все готовы к трапезе, а он непременно найдет повод и устроит скандал. Вот и мой такой же, ищет, к

чему придраться. Детьми не занимается, дома не помогает, и зарабатываю я больше его.

– Зато красивых детей делает.

– Что есть, то есть, – засмеялась Лея.

– И один ребенок – счастье, а у тебя, слава Богу, сколько! Так что нет повода для огорчений.

– Кричит на детей, гонит их от себя, они ему мешают. Вчера опять уехал в Америку на целую неделю. Он – артист, бывший артист. Не стал знаменитостью, вот и вымещает злость на семье. Не состоялся, одним словом.

– В каком смысле не состоялся? Он же суперрелигиозный. У вас, как я поняла, разделение труда: женщина при детях, она же – добытчик, а мужчина молится.

– Молится, – скептически улыбнулась Лея. – Он – артист балета. Восемь лет танцевал в Ленинградском оперном театре. Мы с ним здесь познакомились.

– То-то я смотрю, весь из себя изящный, грациозный, и пианист прекрасный – явно выраженный художественный тип. В Израиле не нашел работу по специальности?

– Не в этом дело. У религиозных мужчинам нельзя танцевать и петь вместе с женщинами.

В этих словах Эсти услышала торжество подруги. Ведь таким образом исключался соблазн, и муж, лишенный возможности общаться с другими женщинами, останется при ней. Вслух же сказала:

– Лучше тебе про смешное расскажу. Я как раз попала в Москву на первые дни Песаха. Евреи по поводу праздника сняли зал в ЦДЛ – Центральном доме литераторов. К залу прилагается ведущая, – штатная конферансье. Вышла эта дамочка на сцену и хорошо поставленным голосом объявила: "Товарищи! Господа! У нас сегодня праздник – Вербное воскресенье!" Публика по этому поводу не воодушевилась. Ведущая замешкалась, вспомнила, что к чему, и, как ни в чем не бывало, с улыбкой кинозвезды продолжала: "А еще у нас сегодня, товарищи, большой еврейский праздник! Перед вами выступит знаменитый ученый... – тут она достала из кармана записку, подглядела и выкрикнула в зал: – И звать его – раввин!"

– Нарочно не придумаешь, – смеялась Лея. – А еще где ты была?

– А еще на научной конференции…

– Только подробно расскажи, в лицах. Ты умеешь.

– Вошла я в зал Дома ученых, сразу – привычное волнение, предвкушение интересных докладов, встреч. Знакомая обстановка вернула к прежним мыслям, настроениям, будто и не уезжала в Израиль.

Я послонялась по вестибюлю и пошла в зал заседаний, где, в кресле предпоследнего ряда, лежал мой портфель. Всегда устраиваюсь поближе к выходу, если доклад скучный, можно незаметно слинять.

В последнем ряду, за моим креслом, сидел... Увидела его – и словно споткнулась. Никаких осознанных ассоциаций сначала не было, то есть были, конечно, но я те давние эмоции загнала далеко в подсознание. Села на свое место и чувствую – за спиной костер пылает. Обернулась и что-то сказала по поводу очередного докладчика. Сосед согласился со мной. Потом он о чем-то спросил, я ответила, и как-то уж очень запросто пригласила: "Садитесь рядом". Сказала и удивилась своей неожиданной лихости. Он пересел, благо место оказалось свободным. Развернулся ко мне, смотрит долго, пристально. У меня дыханье перехватило. Конечно, я знала, на кого он похож. Да что похож, они были, как один человек, только этот старше. Ведь прошло столько лет. Жизнь прошла.

– Я вам кого-то напоминаю? – спросила со страхом, вдруг – никого, вдруг такая же случайная дама, как и остальные сидящие в зале.

– Да, мою первую девушку, – с горечью ответил он.

– И вы... вы тоже похожи на того мальчика. Первая и, к сожалению, последняя любовь.

Мы отвернулись друг от друга, затихли. Не обменивались мнениями по поводу новых докладчиков. Я даже не слышала, о чем шла речь.

Начался перерыв, всех попросили выйти из зала, чтобы проветрить помещение. Мы ходили с ним по разные стороны вестибюля, бессильные сопротивляться притяжению. Не пом-

ню, кто подошел, он или я, кажется, одновременно направились друг к другу.

– Пойдем в кафе, – не то пригласил, не то спросил Бенцион. Его имя я прочла в программе конференции. Я молчала.

– Может, поедем куда-нибудь? Куда вы хотите?

– На край света! – Вырвалось у меня.

И испугалась своей решимости. В этот момент вся ученость, которой защищалась от жизни и от себя самой, улетучилась за ненадобностью.

– Пое-е-дем, — медленно проговорил Бенцион. – Поедем! Машина тут рядом, за углом. – И поправил очки.

Тут я чуть было не потеряла сознание – вспомнила жест, которым приподнимал дужку очков Игорь, тот, с которым так поразительно был схож этот случайно встретившийся человек.

По дороге Бенцион все время ошибался, перепутал ряд, свернул не туда, поехал на красный свет. Наконец вырулил на Садовое кольцо, и поплыли навстречу знакомые дома, переулки. Не заметила, как оказались на пригородном шоссе: дачные домики, поля с убранной картошкой. Мелькнула мысль – куда он меня везет? Ну да все равно – не было сил сопротивляться случившемуся. Еще помню, был дождь, мелкий, холодный, бесконечный московский дождь. А мне почему-то виделось яркое солнце Израиля и берег моря в Ашкелоне. Машина съехала с шоссе. Наверное, в поисках дороги на край света.

Колея неожиданно оборвалась, дальше ехать было некуда. Шум дождя стал морским прибоем, а Бенцион – тем, которого я так долго ждала. Тогда, сорок лет назад, мне было двадцать, а Игорю – девятнадцать. Оба романтики, мы не были близки. Удивительное совпадение: отчество Игоря – Бенционович, а отчество Бенциона – Игоревич. Совпадает и сюжет нашей любви.

Бенцион рассказывал: та девушка, которую до сих пор не может забыть, обиделась, что он уехал в другой город учиться.

Игорь тоже уехал в другой город учиться. Когда уезжал, рушился мир, ведь мы расставались навсегда. Почему он не чувствовал этого? "Она обиделась, – говорил Бенцион, – и вышла за другого". Я не обиделась, я ждала писем. Игорь писал редко, и еще я меняла адреса; то в общежитии жила, то на частной квартире. Может, не все письма доходили. Никак не

могла взять в толк, как он может жить без меня, ведь я не могла без него. Все время ждала, мир сузился до ощущения его колючей щеки, памяти о расстегнутой верхней пуговице на рубашке, запонке на манжете. Во времена нашей молодости носили запонки.

– Я помню, – подтвердила Лея. – Но это неважно. Кажется, их и сейчас носят.

– Короче, я сдвинулась: где бы ни была, что бы ни делала, с кем бы ни разговаривала, – видела, чувствовала, обоняла только его.

– Странно. Ты производишь впечатление очень трезвого, рассудительного человека. Более чем. Сразу видишь суть, одним махом разгребаешь кочан капусты и выхватываешь кочерыжку.

– Тут, как говорят в ученом мире, нужно вернуться к истории вопроса, к кулинарному техникуму, с которого начинала. Шеф-повар в ресторане, где мы проходили практику, както сразу вычислил меня из группы в тридцать девочек и заставлял рубить муку.

– Зачем? – в недоумении спросила Лея.

– Вот и я спрашивала: зачем? Тот шеф-повар в ресторане был царь и бог, его и звали – Фараон. Похож был на огромный тяжелый куль, к которому приставили голову без шеи, лицо – красное ощерившееся пятно. Никого не заставлял рубить муку, только меня. И я рубила большим тяжелым ножом на деревянной доске. Рубила, с трудом превозмогая ненависть и отчаянье. Так, наверное, в армии старшина вычисляет из новобранцев чужака и доводит его до самоубийства.

– Как тебя занесло в кулинарный техникум?

Подруги сидели на скамейке, перед ними мерцали вечерними огнями холмы Иерусалима, – вздыбленные и растекающиеся волны. Невдалеке развилка дорог: одна – в Рамот "Алеф", другая – в Рамот "Бет" и третья – в "Гимел". Все Рамоты рядом и все – как разные государства. В "Гимел" – религиозные ортодоксы, живут замкнуто и прячут своих детей от соблазнов светского окружения. В "Бет" борются за мир любой ценой, их дети предпочитают сидеть в "Интернете", нежели носить автомат. В Рамоте "Алеф", в отличие от первых

двух, чудес не ждут: не надеются ни на скорый приход Машиаха, ни на миролюбие арабов.

Мимо проходят люди в белых одеждах; старые, молодые. Как Судия может вглядеться в каждого и определить меру его греховности и праведности? Вот скособоченный годами старик, еле ноги передвигает, его поддерживают с обеих сторон рослые молодцы, – старик повис у них на руках. Сколько ему? Сто? Сто двадцать? Сыновья, должно быть, близнецы, с первого взгляда не отличишь одного от другого. Им тоже, наверное, под семьдесят, но рядом с отцом кажутся стройными ливанскими кедрами. Чуть поодаль – окруженные детьми женщины; много детей – как гроздья винограда. Слава Богу, сохранилась традиция большой семьи, хоть кому-то повезло.

– И все-таки, как же ты оказалась в кулинарном техникуме? – снова спросила Лея.

– В школе я плохо училась, не могла пассивно заучивать материал. Мои способности проявлялись лишь в том случае, когда мысль шла изнутри. И ещё, в юности была мания величия, казалось, появилась на этом свете для великих дел. К великим делам, по моему разумению, не относились законы физики, взаимодействие атомов химии и аксиомы геометрии. Все это частности, хотелось понять общее, сущность, что выстраивает жизнь и определяет судьбы людей. Вот только не умела найти дорогу к этой сущности. Я понимаю подростков, которые не хотят учиться. У них еще не пробудился интерес к конкретным наукам, и не появилось сознание необходимости получить профессию. Мне не хватало воспитания, понимания того, что человек может удержаться в этой жизни, возделывая хоть и небольшой, но свой участок. И пошла я со своим троечным аттестатом по линии наименьшего сопротивления – в кулинарный техникум.

За все время существования техникума только у меня одной была двойка по основному предмету – кулинарии. То пересолю, то недосолю, подгорит или недожарится. И с девочками отношения не складывались. Не хватало ума вглядеться в другого, услышать того, кто рядом. Все сдружились, а я осталась одна. Помню тоскливое желание уйти, вырваться оттуда, но деться было некуда. Казалось, есть где-то другая, умная жизнь, есть лю-

ди, которые сочиняют музыку, пишут картины, стихи. Не покидало отчаяние по поводу зря потерянного времени.

Однажды вечером возле главпочтамта засмотрелась на двух молодых людей со скрипичными футлярами. Те заметили мой интерес, позвали с собой. Пошла. Даже не спросила, куда. Оказались студентами консерватории. Привели они меня в свое общежитие. Сначала вышел из комнаты тот, который помоложе. Тут я разглядела у старшего за пенсне холодные глаза, не предвещавшие ничего хорошего. Он очень по-деловому запер дверь и положил ключ в карман. Ринулся ко мне. Я отскочила, он за мной. Мы долго кружили вокруг стола Время от времени он отдыхал, развалившись на постели, а я оставалась стоять, боялась внезапного нападения. Сказала, если тронет, закричу на все общежитие. Испугался. "Каждая кухарка будет тут из себя Татьяну Ларину строить", – зашипел он, злобно выругался и ушел. Тут же появился младший – добродушный мальчик лет двадцати, похожий на мохнатого уютного медвежонка С этим можно было не бояться.

– Ты зачем пришла?

– Музыку слушать.

– А-а-а... – понимающе протянул он и продолжал: – Уже поздно, транспорт не ходит. Ложись спать. Не бойся, не трону. И мне нужно выспаться.

В комнате была одна постель, мы спали вдвоем одетые и застегнутые на все пуговицы. Утром я уехала первым автобусом,

– А родители где твои были тогда? – спросила Лея.

– Отец жил в другом городе. А с мамой у нас разговора не получалось. На мой счет у нее сомнений не было – сама разберусь, что к чему. Знаешь, есть время, когда родителям не по силам участвовать в жизни подросших детей, те сами ищут свою дорогу. Ищут методом проб и ошибок. Случайно встретившийся человек может стать судьбой, повести за собой в науку, искусство, а может сделать бездельником, наркоманом.

– В моей судьбе случайностей не было, я вышла замуж за друга своего брата.

– Ты его любила?

– Мечтала о другом, о своём однокласснике, но этот любил меня. Ты о чём задумалась?

– Здесь недалеко, когда поднимаешься в Рамот "бет" со стороны арабской деревни, сохранилась дорога, по которой евреи со всех пределов Израиля шли в Иерусалим – в Храм. Столько лет прошло, а дорога не заросла, не потерялась среди каменистых гор.

– Давай вернёмся к твоим приключениям. Хочу понять, как преодолевается разрыв между поваром и доктором наук.

– Может быть, сказались отрицательные эмоции. По окончанию, как сказал бы Геннадий Хазанов, "калинарного техникума", распределили меня в привокзальный ресторан, кем-то вроде старшего помощника младшего повара. На большее не претендовала. Бросали на разные участки: в холодном цеху резала овощи для салатов, или, как говорят повара, шинковала; в горячем цеху пассеровала лук; в кондитерском – задвигала и выдвигала из духовки противни с пирожками. Если срочной работы нигде не было – стояла у оцинкованной ванны, где в горячей воде лежали груды замороженных кур, вытаскивала из них потроха. Проявил ко мне хилый интерес прыщавый официант во фраке и с бабочкой, но, не встретив ответной инициативы, тут же увял. Вспоминаю то время и думаю: в юности тоска сильнее. Это тоска нереализованных жизненных сил. И всё сильнее становилось трагическое сознание обособленности, неуверенности, – удастся ли найти себя. Такая была безнадёга, что и смерти не боялась.

При этом не покидала надежда на необыкновенную встречу. Я ждала капитана Грэя. Приплывет он за мной под алыми парусами или спустится с неба. Все время ждала. Без него не знала, что делать, как жить дальше.

После работы шла в читальный зал, не возвращаться же в заставленную рухлядью комнату, которую я снимала у немолодой, угрюмой тетки. Дома с мамой жить не могла, брат привел жену, и для меня места не осталось. Поначалу думала, может, брат уйдет, их все-таки двое, но мама сказала: "Яшенька будет нервничать". Съемное жильё предполагает всякие неудобства. Почему-то у нас в семье считалось: я сильная, все могу вынести. А брат – нежный, ему нельзя волноваться.

Моя квартирная хозяйка оказалась чрезвычайно брезгливой дамой. Она ходила за мной и протирала ваткой, смочен-

ной спиртом, дверную ручку, выключатель, телефонную трубку – все, до чего я дотрагивалась.

– Библиотека стала моим пристанищем – читала все подряд, только бы отвлечься, заглушить страх пустоты. В молодости, когда не знаешь к чему приткнуться, особенно бесприютно. В старости не страшно – недолго осталось. Страх пустоты сильнее страха смерти. Зачем жить, если не знаешь, для чего.

Зашел однажды в читальный зал удивительный мальчик. Красивый, но не в этом дело. Много голубоглазых мальчиков в голубых рубашках. У этого было необыкновенное лицо, казалось, он здесь и в то же время не здесь. Сел за соседний стол, взял с полки несколько томов энциклопедии, полистал, что-то выписал себе в тетрадь, поставил книги на место и ушел. Возвращалась в тот вечер домой потерянная, как никогда. Понимала, конечно, – бессмысленно печалиться по поводу невозможности достать луну с неба. Спустя несколько недель увидела того мальчика на улице. Узнала по ощущению горячего всплеска радости, такого же, как в первый раз. И опять уходила с горьким сознанием невозможности наших встреч. Через полгода он снова появился в читальном зале и заговорил со мной. Всего лишь слова о том, часто ли я здесь бываю, показались залогом вечной любви. Но я-то знала: чудес не бывает – зачем я ему.

Столько лет прошло, а всё помню. Помню, как мы вместе уходили из библиотеки; привычная дорога с развороченным асфальтом, трамвайными рельсами и сорной травой на пустыре показалась райскими кущами. Всю ночь не спала, не могла понять – приснился он мне или в самом деле был рядом.

Прошел день, еще день. И он позвонил. Мы встретились в парке. Я, как впервые, увидела красоту осенних деревьев; сквозь красные, желтые с зеленью листья кленов и тополей просвечивало солнце. Те же пестрые листья лежали под ногами. Мы шли, отделенные от всех людей, от всего мира...

Встречались мы с Игорем редко, каждое свиданье казалось последним. Очень уж очевидной представлялась ситуация: зачем я ему, что я могу для него значить. Страдала ужасно, не могла есть, спать. Сохранилась фотография того времени – тощая, глядеть страшно.

Однажды, возвращаясь домой после второй смены, различила в темноте у своего подъезда Игоря – он ждал меня. С того мгновенья отпустила тормоза, будто и не было горького опыта девочки из "калинарного техникума". Не то чтобы поверила в его любовь, не могла больше сдерживать свои чувства – так взрывается котел под давлением пара.

Игорь много занимался, хотел перевестись из строительного института в авиационный. В Москве не получалось. Обещали в Харькове. Но нужно было досдать несколько предметов. Я не понимала его занятости, а он не объяснял; хотела видеться каждый день, каждый час, каждую секунду, ну хотя бы раз в три дня. Однажды не вытерпела и отправилась к нему домой. Будь что будет. Этого не нужно было делать. Представь, идешь над пропастью и ужасно боишься. Страх настолько мучителен, что где-то в подсознании торопишь падение. Вот так же и мой визит к нему. Ничем хорошим это не могло кончиться. Игорь не из тех, которые отдают инициативу женщине. Дома его не оказалось, а отец, такой же высокий, с густыми, сросшимися у переносицы бровями, встретил меня сурово. Мать, напротив, смотрела с сочувствием, увела меня в комнату Игоря, где кроме узкой железной кровати, письменного стола и полки с книгами ничего не было. "Он у меня спартанец, – говорила мать, – все время занимается, и никаких вольностей. Такой же немногословный, как отец, чувства свои не показывает. Я знаю, с ним тяжело. Зато верный". Мать утешала меня, до сих пор чувствую ее ласку. Никто не вытеснил из сердца ни ее, ни ее сына.

Игорь уехал, перевелся в Харьковский авиационный институт. Писал редко, по несколько месяцев не было писем. Сколько одиноких вечеров! Иногда казалось, все придумала: и любовь, и верность. В один из вечеров пустота стала нестерпимой, кто-то должен был оказаться в эту минуту рядом. Ну никак не могла заставить себя после работы идти домой, где хозяйка тут же бросится следом протирать ваткой все, до чего дотронусь. Зашла в кафе, села за пустой столик. Тут же подсел молодой человек в ярко-синем свитере, с узким хрящеватым носом. Обрадовалась ему. Не помню, о чем говорили. Провожал меня и вел себя так, будто всю жизнь ждал этой встречи.

Его Валентином звали. Потом каждый вечер пел под окном очень даже приятным лирическим сопрано: "Комэ прима, пюдэ прима, камера...", что примерно означало: "Ты моя первая весна". Иногда выходила к нему, чаще – нет. Хозяйка зауважала меня, мол, понадобилась кому-то. Да и сама почувствовала себя значительней. В общем, поехала я в Харьков. В поезде за полтора суток напридумывала всяких радостей, даже казалось, – вот сейчас встретимся и никогда не расстанемся.

Харьков – дымный серый город. Отыскала общежитие авиационного института. Комната Игоря была заперта, и ребят никого не было, должно быть, лекции еще не кончились. Оставила на дверной ручке записку, чтобы пришел в гостиницу. Долго стояла у грязного гостиничного окна, глядя на медленно плывущий из заводских труб серый дым в серое небо. Наконец, Игорь постучался ко мне. Он очень похудел. Всегдашняя отглаженная, сияющая голубизной рубашка застирана, руки высовываются из рукавов пиджака; еще больше вырос, пока не виделись. Не поняла, обрадовался он мне или нет. Мы были одни, и если не сейчас, то когда же нам стать "плотью единой". Только его я представляла своим первым и единственным мужчиной. И снова всего лишь целомудренные поцелуи. Вскоре ушел, сказав: "Предстоит бессонная ночь, завтра нужно сдавать курсовую".

"Мы не вылезали из чертежки, а она, моя девушка, не понимала, — рассказывал Бенцион, — ведь если не сдашь курсовую, не поставят зачет. Значит, не допустят до экзаменов. Мне от этих чертежей, бесконечных листов ватмана свет стал не мил. В общем, она решила, что я ее не люблю, и вышла замуж".

Возвращалась я из Харькова, словно обескровленная – гасла надежда на любовь до гроба, и нечем стало защищаться от поющего под окном Валентина. Все чаще вспоминала рассказ Игоря о друге его отца – знаменитом авиаконструкторе. А у авиаконструктора есть дочь, которая представлялась мне не иначе как царских кровей. Игорь пойдет в гости поговорить о новых лайнерах, потом увидит ее... Он, наверное, и сейчас о ней думает, иначе, почему так холоден был со мной. Какие только страхи не лезли в мою пустую голову.

И хозяйка наставляла:

– Возьми того, кто тебя выбрал, а не кого ты хочешь. Хоть с одним будешь, а то таскаешься где-то по вечерам. Еще какую заразу в дом принесешь.

– Да я в библиотеку хожу.

– Знаем эти библиотеки.

С Валентином мы были на равных, он – рабочий на стройке, я – повар младшей категории. Многие из моих сокурсниц стали заведующими производством, шеф-поварами, а у меня не было на этот счет ни таланта, ни деловой хватки. Чего нет, того нет.

– Пусть лучше тебя любят, чем самой сохнуть, – не унималась хозяйка.

– Пусть, – согласилась я.

И Валентин переместился со своего места под окном за стол, потом и в постель. Невозможно было противостоять его вулканической страсти.

А через несколько месяцев получила письмо от Игоря, сообщал, что скоро приедет. Не ответила. Как-то само собой разумелось, я – чистая и непорочная во всех смыслах. И он берег меня, да и себя – тоже. Берег до времени, когда мы будем вместе раз и навсегда.

В один из будничных дней, возвращаясь с работы, увидела в урне у своего подъезда роскошный праздничный букет. Стояла над ним, как над покойником, все никак не могла отойти. Это он приходил, и хозяйка ему все рассказала. "Рассказала", – подтвердила та, едва я переступила порог. И злорадно добавила: "Не дождалась". Молча я ушла в свою комнату, закрыла за собой дверь и вытянулась на постели – жизнь кончилась.

Я потом много раз думала: взял бы меня Игорь не девушкой?

– Она быстро развелась со своим мужем, – рассказывал Бенцион. – Хотела вернуться ко мне, но я не мог, очень был романтичным.

Вот я и получила ответ на вопрос, который задавала себе сорок лет – не взял бы меня Игорь тогда.

Наша семейная жизнь с Валентином была недолгой, свои песни он стал петь другой, которая говорила ему: "Сладкоголосый Карузо тебе в подметки не годится". До смешного по-

вторяются судьбы, вот и дочкин муж ушел к той, которая прочила его в президенты, на меньшее не соглашался. Интересно, что и мама развелась по причине недостаточного почтения к моему отцу. Развелась после войны, когда на одного мужчину приходилось десять женщин. Мы бесстрашные. Ни к чему хорошему это не приводит, но это уже другой вопрос.

Осталась я одна с маленьким ребенком, не первая и не последняя. Как говорят на Руси: "Это многих славный путь". Дочка заполняла собой будни и праздники, она же умножала тревогу незащищенности. Валентина забыла напрочь, будто и не было. А Игорь, напротив, вошел в плоть и кровь.

– Я все время думаю о ней, – говорил Бенцион.

– Я тоже...

– Где она сейчас? Жива ли?

– Жив ли...

– Увидеть бы ее. Хоть со стороны, издали.

– Увидеть бы... Однажды в автобусе сидел напротив мальчик, лет двадцати, тот же решительный взгляд, резко очерченный подбородок, большие сильные руки. Наверное, глаза мои теплились нежностью к нему, и он смотрел на меня с сыновьей приязнью.

– У меня уже сыновья взрослые, – сказал Бенцион и неожиданно спросил:

– Сколько вам лет?

– Шестьдесят.

– Надо же, никогда бы не подумал.

– А вам?

– Пятьдесят. Я и не заметил разницы в возрасте.

– Это потому что впопыхах. Сходство поразило. Я тоже не заметила.

Наша машина стояла перед огромным плоским, пустым озером. Моросил дождь. И все сливалось в сумрачном холодном свете. А мне представлялось сверкающее под солнцем море в Ашкелоне и на ярко-синем небе облако – приплывший из вечности бело-розовый корабль.

Мы молчали. Каждый вглядывался в свою жизнь.

– Что наш сегодняшний эпизод перед бесконечным повторением судеб и несмолкаемым шумом набегающей волны, – заговорила я, – всего лишь мимолетный вздох.

– Или чих, – отозвался Бенцион.

– Нет, вздох. Вздох долго копится, а чих – дело случайное.

– Ты любишь Израиль? – спросил Бенцион.

– Израиль меня любит. Представь, едешь в автобусе, как над землей летишь, мимо желтого поля подсолнухов, мимо поросших прозрачными соснами холмов, сказочного городка под красной черепицей, а то вдруг высветится в предзакатном солнце пламенеющий каменный срез горы. Я люблю горы, в лесу теряюсь, в поле становлюсь созерцателем, а в горах происходит что-то вроде возвышения духа. Моя земля! Это чувство кровной причастности к земле у меня впервые.

– Мы об этом потом поговорим. Чем закончилась твоя встреча с Бенционом в Москве?

– Он всё распрашивал про Иерусалим. "Ты, – говорит, – смотришь на Израиль влюблёнными глазами". Вспоминал свою сотрудницу, которая приезжала сюда по туристической путёвке. Вернулась злая, раздражённая: "Нечего там смотреть, камни и солнце". А мужики ей понравились, – красивые. Считает, если их побрить и постричь, так очень даже съедобные, а то, в бороде запутаешься. "А мне уже не выбраться, – сожалел Бенцион, – жена русская, не хочет ехать. И сыновья женаты на русских, они уже забыли, что я еврей".

– Слушаю тебя и поражаюсь, – усмехнулась Лея, – удивительная вещь – память влюбленной женщины... Или ты нарочно лелеешь свои воспоминания, придумала себе любовь. Неизвестно, что бы почувствовала, если бы увидела его сейчас.

– Ночь сегодня какая торжественная, – вздохнула Эсти, – может, и вправду сейчас ведут счет нашим грехам.

– Ну а к науке как прибилась? – нетерпеливо спросила Лея.

– Наука стала способом выживания, бронежилетом, от которого отскакивали житейские неурядицы. Отдала дочку в ясли и ужасно боялась, что ее украдут – мое сокровище. Всего боялась. Сжималась, втягивала голову в плечи и сворачивалась, как ежик, выставляя иголки. И не переставала благода-

рить Бога, что сделал меня женщиной. Мужчина не может приобрести себе в одиночестве самого родного человечка; казалось, рождение дочки произошло способом почкования.

Теперь-то я знаю, мы сами в некоторой степени моделируем мир, провоцируем события, которые случаются с нами.

– Знание, что от чего происходит, избавляет от страданий? – спрашивает Лея.

– Можно сказать, предотвращает страдания, помогает проследить связь причины и следствия. Люди больше маются неустройством души, чем отсутствием материальных благ. Старая библиотекарша, ее звали Софья Ароновна, поняла мою неприкаянность и посоветовала сдавать вступительные экзамены на психологический факультет. Что я и сделала, а то так бы и осталась на кухне привокзального ресторана, у оцинкованной ванны, где в горячей воде плавали замороженные куры. И изо дня в день до отупения, до обморока вытаскивала бы из них потроха. Маячил передо мной и шеф-повар из "калинарного техникума", у которого рубила муку. Он первый заставил осознать загоняющую в угол необходимость.

Поступила на вечернее отделение. Там тоже, как и на дневном, взрослых не было. Сидела я, тридцатилетняя тетка, среди мальчиков и девочек, только что получивших аттестат зрелости, как Ломоносов среди первоклассников. Психология для меня, в отличие от первокурсников, соотносилась с жизнью. Наука "калинарного техникума" не тронула ума и души; какая разница, чего и сколько нужно класть на одну порцию борща по-московски или солянки по-флотски. Здесь же каждое слово, понятие соотносились с чувствами, поступками. Человек, пришедший в науку своим путем, часто мыслит более результативно, нежели идущие проторенной дорогой. Моя дипломная работа оказалась почти диссертацией. Работала, как одержимая.

– И что? – спросила Лея.

– И ничего. Стала ученой дамой. Скучная ученая дама. Только и всего. В автобусе место уступают. Как-то спросила девочку: "Ты почему встала, когда я вошла? Рядом стоит женщина старше меня, ты ей места не уступила". Девочка мялась, стеснялась, наконец, чуть слышно пролепетала: "Вы... Вы

похожи на учительницу". Потом добавила: "На строгую учительницу". Студенты в институте, где я преподавала, говорили: "Улыбнитесь, вам очень идет улыбаться. Совсем другое лицо".

Теперь вытаскиваю из пограничных ситуаций таких же бесхозных, зависимых от обстоятельств подростков, какой сама была. Учу терпению, умению ждать и противостоять мнению толпы. Иногда кажется, человек заведомо обречён, очень уж несовершенна его природа. А иногда, наоборот, мечта побеждает реальность.

Недавно приходила девочка лет семнадцати, советовалась – заводить ей хавера* или нет. У всех, говорит, есть, а у меня нет. Мальчик, о котором шла речь, ей не нравится, но ведь у всех есть, а у нее нет.

– Культивируешь эмоции, — уточнила Лея.

– Если бы всё с начала, я бы выбрала многодетную семью. В иудаизме каждый человек неповторим, "нет другого, как ты", и каждый должен реализовать свои способности. Ты нацелила своих мальчиков всю жизнь сидеть в ешивах, но трое из них унаследовали художественный дар отца. Почему бы им не стать артистами? У одного так просто комический дар. Помнишь, в Талмуде, спросили у Ильи-пророка: "Есть ли на базарной площади кто-нибудь, кому отведено место в будущем мире? — Да, – сказал пророк, – вот тем двум шутам, которые веселят людей".

...Я иногда думаю, в том – другом мире или в новом воплощении снова увижу Игоря. Снова остановимся друг перед другом. И все начнется сначала?

---

* Любовника.

Илан Рисс

Наказание

Нина считалась в нашей школе красавицей. Не по справедливости, а потому что девочек в нашей школе было, вообще, мало, а красивых совсем не было. Это была школа-интернат с физико-математическим уклоном, красивые девочки редко интересовались математикой, а если и интересовались, то их родители не хотели, чтобы они жили в интернате. Поэтому Нина стала первой красавицей нашей школы. У нее были не очень густые русые волосы, небольшой рост, широкие бедра, большой рот с тонкими, бледными губами. Но она была умна, и это делало ее привлекательной. Потом, после окончания школы, все это стало незаметным, но тогда, в десятом классе, она пользовалась успехом. А Нина, в свою очередь, предпочитала мальчиков, интересовавшихся кино и классической музыкой, а я был силен в физике и любил летом футбол, а зимой лыжи.

Я, как и все, считал ее красавицей, но надо же – еще и влюбился в нее безнадежной первой любовью. Наверно, первая любовь должна быть сильнее, так пишут в книжках, но я делал все, на, что я был способен. Потерять аппетит я не мог благодаря футболу, потерять сон тоже, спал я и так по три-четыре часа в день, потому что по ночам занимался физикой, отсыпаясь потом разом за неделю, но я честно страдал, когда

на школьных вечерах она отказывалась танцевать со мной. И страдал тем сильнее, что она говорила, будто это из-за того, что со мной не о чем разговаривать. А я пытался говорить с ней о моей любви. Особенно было обидно, когда я перехватывал ее взгляд и читал в нем легкое пренебрежение, а зачастую даже и презрение ко мне и ко всей моей жизни. За это мне очень хотелось наказать ее, и постепенно, как это иногда случается, жажда мести вытеснила любовь.

После школы я уехал в Новосибирск и поступил там в институт, а она вернулась в свой город и поступила в политехнический. Летом после первого курса я поехал на Сахалин в стройотряд, заработал там почти полторы тысячи рублей, вырос еще на восемь сантиметров, и силы у меня стало, как у Рахметова. И уезжая оттуда, я понял, что делать. Я полетел в ее город, пришел к ней и сказал, что люблю ее. Она ответила, что она всегда знала, что так должно было произойти, и ждала меня. Мне показалось, что ее вкусы и взгляды на жизнь изменились, бытие, подумал я, наверно, действительно определяет сознание.

Нина располнела, на лице проступили желтоватые веснушки, волосы были обесцвечены не то химией, не то жизнью, и она совсем не выглядела красивой. Мне даже захотелось простить ее, забыть все планы мести и немедленно уехать, но она, глядя в сторону, спросила, не слышал ли я чего-нибудь про Родиона Тихоглядова, поступившего во ВГИК. Старая обида наглым кукушонком забилась в висках, вытесняя все остальные мысли, я развел руками, сказал "увы" и предложил ей поехать в тот город, в котором все началось, пожить там пару недель, походить по тем улицам, и тогда мы оба поймем, что делать. Она сразу же согласилась, и на следующий день мы улетели.

Старушка, у которой мы сняли комнату, недоверчиво поинтересовалась для чего нам это нужно, и я сказал ей: "Воспоминания молодости". Она проворчала: "Будут у вас тут воспоминания, будете это лето помнить". Шел конец августа, и все получалось как в модной тогда песне: "За окнами август,

...и я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты..." Так я эту песню, во всяком случае, запомнил.

На Сахалине Ольга, тридцатилетняя воспитательница детского сада, научила меня искусству любви, а Нина, когда мы в первый раз остались с ней вдвоем, еще у нее дома, прошептала мне на ухо: "У меня был кто-то, но теперь его нет". Я почувствовал себя совершенно свободным, но и еще больше обиженным, потому что месть уже не могла быть такой полной, как мне хотелось.

Нина любила спать допоздна, а я вставал с рассветом и начинал день с пробежки в лесу. Потом готовил простой завтрак – несколько вареных яиц, большой салат, студеное молоко из погреба. Нина одевалась только после завтрака, мы шли в лес валялись на траве, ее маленькое, толстенькое, ромбовидное тело не привлекало меня, и только жажда мести пробуждала меня.

Обедали мы в одном и том же маленьком ресторане, на третий день нас там уже знали и ценили. Вечерами мы ходили в кино или на концерты классической музыки, мне было нестерпимо скучно с ней, и через неделю, я, встав, как обычно рано, собрался и ушел, оставив Нине двести рублей на тумбочке около кровати. Билет до ее города стоил в то время намного дешевле.

Где-то в глубине души я ждал, что она напишет, позвонит, приедет, будет спрашивать, "что случилось, почему, за что", но она просто исчезла, и я решил, что так оно лучше всего. Мне часто виделось, как она в тот день, проснувшись, ждала меня, потом искала, и наконец, найдя деньги, все поняла и долго плакала от жгучей обиды. В эти минуты я чувствовал себя отомщенным.

Через несколько лет я уехал в Израиль. Когда с того лета прошло двадцать лет, я вдруг вспомнил Нину, и понял, что она и есть мои воспоминания о молодости. Я рано женился, много работал, годы прошли, как один длинный вагонный состав. Так стоишь у переезда, вагоны мелькают один за другим, кажется, что ждешь долго, а когда поезд прошел,

вспомнить нечего, только вагоны, гадко похожие друг на друга. И тут пришло письмо от Нины. Я сразу подумал, вот, и у нее то же самое, ностальгия и воспоминания, но в конверте была фотография, взглянув на которую, я подумал, что на ней я сам в молодости. Нина писала, что когда я ушел, она очень обиделась, и обещала себе никогда-никогда не видеть меня, но… я оставил ее беременной, а она вынуждена была родить – у нее был резус-конфликт. Врачи сказали, что эта беременность может оказаться для нее единственной. Она не в обиде на меня – насильно мил не будешь, а мальчик получился очень хороший. Теперь она оказалась в безвыходной ситуации, после автокатастрофы, у нее резко пошатнулось здоровье, осталось ей жить от силы несколько месяцев, а, наш сын, Семен, так она его назвала, очень способный, учится на физфаке, но он абсолютно не приспособлен к жизни и без нее просто пропадет. Просила помочь ему. Даже небольшая в Израиле сумма, писала она, будет для него спасением, сто долларов у них сейчас целое состояние. Она не стала бы обременять меня, но она надеется, мне это будет не очень трудно, больше ей обратиться не к кому, ну и все такое прочее.

Первой моей мыслью был философический вопрос, почему я должен помогать именно этому моему сперматозоиду, чем он лучше мириадов других, пролитых мной, черт знает где и не имеющих ко мне никаких претензий, не говоря уж о денежных. Потому что Нина вырастила из него человека, а тот стал бедным студентом? Я отправил Нине тысячу долларов, от нее пришло письмо со сдержанной благодарностью, а на мое следующее письмо с чеком поменьше ответ уже не пришел. Я позвонил туда, и Семен сказал мне, что ее уже нет. Еще он рассказал мне, как, оформляя документы, узнал, что мать Нины была еврейкой, и, теперь, в следующем месяце он делает алию.

Вскоре Семен приехал. Сначала на наших редких встречах, он смотрел на меня точно так же, как его мать в десятом классе – с легким пренебрежением, и нам так же не о чем было разговаривать, и у меня точно так же копилась обида,

и зрело желание наказать его за это пренебрежение ко мне. Я точно знал, что можно выждать, выбрать момент и сделать ему больно. Даже больнее, чем становилось мне от его пренебрежительных взглядов. Я умею это. И я могу. Но я больше не хочу наказывать, кого бы то ни было. Ожегшись на молоке…

А потом мы с ним подружились. Семен оказался умным и добрым. Он, также как я, любит физику, и мы подолгу беседуем с ним про космологию и квантовые основы сознания. Еще я приучаю его заниматься спортом, и он крепнет прямо на глазах. Мальчики растут до двадцати пяти лет, и мне кажется, что он здорово подрос. Я часто думаю, как все могло бы сложиться, если бы я не ушел тогда в обиде от его матери, но еще чаще мне думается о том, как зло сеет добро…

Ирина Рувинская

* * *

В наших булочных
продают лаваш,
хлеб грузинский ваш
хлеб грузинский ваш...
Так мне радостно,
что с тобой один
хлеб едим!

* * *

потому что я полутьма а ты полумрак
но сейчас мы друг другу
кажемся светом
мы молчим и холодные пальцы
сплетаем так
будто путь этот нам неведом

не молчи ради Бога
ведь можно сойти с ума
оттого что рука так сжимает руку
даже если ты мрак
а я непроглядная тьма
но сейчас мы кажемся светом
друг другу

* * *

хочу чтобы где-то и ты проснулся
чтобы и ты
о какой ливень как хлещет с небес
отделяя
от осени лето
иди тебе не желаю беды
знаешь сам я не злая

вот и простились
не позову
всё тише по стёклам ночным капли,
всё реже
засыпай теперь
зря боялся – и наяву
улыбнулась бы
и слова бы сказала те же

* * *

В. Б.

В канун еврейской пасхи,
а я о ней не знала,
я буду строить глазки
весь день кому попало.

А я о ней узнала
случайно, от знакомых,
но лет еще мне мало,
исправим этот промах.

А может, не исправим
и все, как есть, оставим,
чтоб смело строить глазки
до самой русской пасхи.

* * *

Нет, какая душа идиотка –
ей кого-то опять подавай:
уж не девица –
тощая тетка
хочет снова
играть в каравай.
"Каравай, каравай,
кого любишь, выбирай!"

Ах, это причуды субъекта,
тут объекты
почти ни при чем,
и пускай
успокоится некто,
ведь он на покой обречен,
и пускай его не заботит
эта блажь
неделю спустя.
... Но что-то, как воздух,
уходит,
нам по-детски беспомощно мстя.

* * *

С. М.

... – И, знаешь, ощущенье иногда –
вот так нахлынет,
и лежу без сна –
не то меня
обманывают все,
не то я обманула всех сама,

такое ощущенье...
И тогда
вдруг выдал он,
поглубже в кресло сев:
– Да просто все обманывают всех.
Ты не дошла до этого пока?
Сказал –
и сделал чаю два глотка.
Я не дошла до этого
пока.

* * *

М. К.

листья серебристого тополя с изнанки
как всегда нежны
дома больше нет
и на руках дензнаки
чужой страны
где она
безумная та соседка
ночью в третьем часу
молочка принесешь мне сегодня
детка
принесу-принесу

дворик мой
воробьиная подворотня
островки травы
ох как будет без этой травы
без шума
этой листвы
без вот этого запаха
бледного горького цветочка
подрастет
и уже не вспомнит дочка:
"Хочешь я тебе даду
эту травку-лебеду".

Из иерусалимской тетради

Стасу

1

променяв соотечественников на соплеменников
по праву крови
и себя ощущая то как изменников
то как чудом спасшихся от катастрофы
под беспощадным небом этой земли
что на карте заметна едва и уже не кажется раем

ходим
пьем из бутылочек воду
говорим иногда слова –
привыкаем Господи
привыкаем.

2

о чем? о том что солнце немилосердно
что по дождям тоскуешь
почти как по людям
а думать и думать о том что случилось
вредно?
но мы об этом сейчас не будем
тогда о чем? о том что новых уже немало
на душе бессмертной
да и на теле меток
и торной дорогою понемногу стала
тропка
протоптанная в Шеарей Цедек?

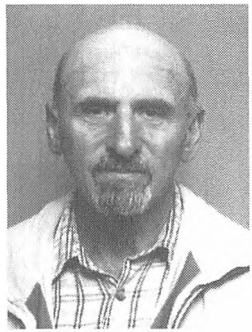
Но вот немыслимое лето идет на убыль
взрывы неблизко
подешевели сливы
ведь падает шекель все же не так
как рубль
и все живы Барух ха-Шем
покуда живы

3

дождь налетит и запахнет землею земля
даже на миг позабудешь ты тут или там и
горло сожмет
но оранжевыми цветами
Иерусалим зацветает в конце января

радио имена говорит-говорит по утрам
битком по утрам набит автобус
а дома
твой лопоухий дудит в трубу как в шофар
упрямо стучит в барабан
кричит "бегома – шалома!"

тянет "купить" за собою рифму "убить"
только дешевле всего
все равно на рынке
и надо легкую черную куртку себе купить
в таких тут ходят марокканки и филиппинки



Владимир Френкель

* * *

Стихи о свободе и смерти,
Из самых последних, из тех
Стихов, что в закрытом конверте
Укроем совсем ото всех,

Стихи о покое и воле,
Как сказано было давно,
Слова и слова и не боле,
А более нет ничего.

Когда, ни о чем не заботясь,
По берегу моря пройдем,
Волна отпечатает оттиск
Песчаный – и тут-то поймем,

Что мы загостились, однако,
На этом земном берегу,
И впрямь не заметили знака
На мокром песке, на бегу.

* * *

Я живу в непонятно какой стране,
Где небесная родина снится мне,
Недалече, здесь, за окном, в окне.

По-каковски там говорят, поди,
Разобрать не можно, уже не жди,
Неземной язык позабыт в пути.

Эмигрант с рожденья, космополит,
Посмотри в окно, как прекрасен вид,
Где далекий лес синевой размыт.

Проходя по жизни в стране любой,
Не забудь о небе, что над тобой,
И еще о том, что когда с трубой

Воззовет архангел – к живым и тем,
Кто воскреснуть должен, считай – ко всем,
Кто на Суд предстанет, – ты будешь нем.

* * *

Средневековых городов
Узорно-каменная кладка
Так убедительна, что слов
Не стоит тратить, и оглядка

Тут не нужна – куда ни глянь,
То двор двенадцатого века,
То неф готический, и впрямь
Дела и вера человека

Неколебимо тут живут,
По временам впадая в ересь,
Но их за то не призовут
К ответу, с истиною сверясь.

Ведь здесь история, как соль,
Осела так неповторимо,
Свою доигрывая роль
На сценах времени и Рима.

* * *

Солнце уходит за круг Иудейских гор,
Куда-то за море, на запад, в Элладу, в Рим,
После – в Испанию, дальше – в Атлантику. С этих пор
День отойдет, как история, неповторим.

В сущности, нам не нужны столетия и года.
Жизни не хватит прожить даже день один.
Разве что можно продлить его там, куда
Солнце еще не дошло, не доплыл Колумб.

Рифмы не хватит в стихах описать, на что
Время ушло, прохудилась история, не собрать
Жизни, стихи дребезжат, как старинная арфа, где
Нас на другом берегу встречают Вергилий и царь Давид.

* * *

Волчье солнышко ночное,
Видишь – день уже умолк,
Догоняй, беги за мною,
Я и сам почти что волк.

Я неслышно пробегаю
Средь неведомых полей
Вдоль по лунному по краю
Бедной родины моей.

Где-то звезды по-над лесом,
Где-то листья с вышины
Закружились мелким бесом –
Очевидцем старины.

Вот и просека лесная...
Стоп! Границу узнаю,
Ночью в ночь перебегая,
Здесь, у жизни на краю.

* * *

Миндаль цветет почти под снегом
Вблизи, вдали,
И день-деньской мешает с небом
Цветы земли.

А снег безжалостно ломает
Ветвей крыла,
И здесь никто не различает
Добра и зла.

Но как внезапно, открываясь
Для всех и всем,
Неудержимо, не считаясь
Уже ни с чем,

Цветет миндаль, объединяя
Иерусалим,
От края неба и до края,
И мир, и Рим.

Как очевидна и мгновенна
Для всех, не счесть,
До всех пределов экумены
Благая весть.

Цветет миндаль неистребимо
За веком век.
От Иудеи и до Рима –
Цветы и снег.

* * *

Венеция медленно проплывает,
Как будто пустилась в дальний путь,
Наверно, в вечности так бывает –
Никто не знает, куда – и пусть.

Где вид дворцовый, а где – картинка
Всего лишь в книге. Пройдут года –
Никто не помнит, с какого снимка
Проходит берег, рябит вода.

Полдневным светом слепит в лагуне
Глаза – но близок уже причал.
Венецианке – девице – лгунье
Когда-то встречу я обещал.

Так вот "застроенное пространство"!
Свиданье с ним, как сказал поэт.
Секрет сиянья венецианства –
Стоянье вод и теченье лет.

Наверно, к полудню будет жарко.
Толпа туристов. Никто не ждет
Меня в соборе святого Марка,
Куда неспешно течет народ.

Смотри – каналы покроет ряска.
Дворцы и площади клонит в сон.
А вся Венеция – только маска
На карнавале былых времен.

* * *

Пока луна висит над городом,
Оглядываясь иногда,
И, улыбаясь любо-дорого,
Плывет неведомо куда,

Пока полночная латиница
Шагает в рыцарском строю,
Луна, глядишь, еще подвинется,
А я свой город узнаю.

Неназываемая улица
И ностальгический квартал,
И парень с девушкой целуется,
Пока... . я все уже сказал.

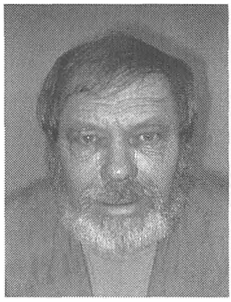
* * *

Гляди в окно: там городской пейзаж,
Как будто лес, меняется неспешно.
То осенью рядится в камуфляж,
А то слезами залит безутешно.

Как мокнет он под затяжным дождем,
Как ветром он продут под облаками...
Он не уйдет, а если мы уйдем
Куда-то прочь – он остается с нами.

Он – это мы. И все ж он старше нас.
Меняясь неуклонно год от года,
Он помнит все, он помнит все о нас,
Не то что равнодушная природа.

Он нашими страстями населен,
Он знает все о нашем воскрешенье,
Он – целый мир, и он же – небосклон,
Как города и мира завершенье.



Владимир Фромер

Тайм-аут

— Счастливым, да и то относительно, можно стать лишь не испытывая никаких желаний, сведя мироздание к нескольким простым вещам. Беда лишь в том, что и это бремя тоже становится рано или поздно невыносимым, – сказал мне человек, которого я знаю много лет.

Когда-то мы вместе учились в Иерусалимском университете, и у нашего профессора, ученого с мировым именем, его рейтинг был достаточно высок.

Аналитический ум, знание нескольких европейских языков, утонченность восприятия – все это не понадобилось ему впоследствии. Вот уже несколько десятилетий он занимается исключительно заботами о собственном здоровье, – ходит по врачам, регулярно проделывает какие-то медицинские процедуры. Вздорная нелепость такого существования поглотила его целиком, не оставив места для интеллектуальных занятий.

Его жена покончила с собой необычайным способом. Надела противогаз с закрытым фильтром так, что сорвать не смогла в последнюю минуту, повинуясь слепому инстинкту жизни.

Но и это трагическое событие ничего не изменило в его мироощущении. Бывает ведь так, что дерево еще цветет, а внутри оно уже гнилое, мертвое.

– Тебя не тяготит такая жизнь? – спросил я в одну из редких наших встреч.

Он пожал плечами:

– Жизнь – гибельный поезд. Сойти с него можно, но тогда попадешь сразу на конечную остановку. К чему спешить, если мир все равно вот-вот исчезнет, как шагреневая кожа? Ты заметил, что каждый последующий час короче предыдущего?

Я вспомнил, как однажды мой приятель изумил профессора, цитируя Тацита на латыни, и подумал, что он ужаснулся бы тогда, если бы каким-то образом смог увидеть жалкую нелепость своего последующего бытия.

Судьба – нечто невыразимое, какое-то предначертание, довлеющее над человеком. Но он бы ни за что не поверил в те годы, что его судьба выявится в бесполезном и бессмысленном прозябании.

Такое неверие тоже разновидность надежды, повсюду сопровождающей человека, не исчезающей даже когда начинаешь испытывать томительное раздражение – не только от общения с когда-то близкими людьми, но и в собственной семье. Если накатывает такое, то лучше всего взять тайм-аут, исчезнуть, уйти, перенестись в иной мир, в другое измерение. Туда, где тебя никто не окликнет на улице.

Это лучший способ избавления от тягот повседневности для тех, кто, подобно мне, воспринимают устоявшийся ритм существования как нечто непоправимо горестное. Нельзя упускать случайностей, которые хоть как-то разнообразят скудость жизни.

Вспоминая свои московские впечатления, я понимаю, что все зафиксированное памятью быстро теряет свои привычные очертания. То, что уже сложилось, и где-то еще существует, вдруг начинает колебаться, превращается в бесформенные клочья, растворяющиеся в таинственных ее глубинах. Людям обычно свойственно подвергать память вивисекции, чтобы заставить прошлое служить каким-то своим целям.

У меня никаких целей нет. Москве же в моих заметках отводится всего лишь роль шампура, на который нанизываются шашлыки.

* * *

В Москве я очутился случайно, в результате решения, принятого по наитию. Просто однажды позвонил своему школьному товарищу, живущему в Бат-Яме, и, узнав, что он собирается туда, неожиданно для себя попросил: – Возьми меня с собой.

Он, ничуть не удивившись, ответил: – Заказывай визу.

С Ариком – так зовут моего однокашника – мы расстались после окончания школы, и тридцать пять лет не виделись. А когда встретились здесь, в Израиле, то первое – и шокирующее – впечатление я получил от шкодливой работы времени. На себе этого как-то не замечаешь. Но почти сразу же поредевшие волосы, седина, грузность, мешки под глазами, красноватый цвет лица и другие возрастные приметы растворились в проявившихся вдруг чертах сопливого мальчишки с соседней улицы, уступавшего мне свой велосипед, чтобы я мог пофорсить перед девочкой из параллельного класса, которая мне нравилась. Я и сегодня ему благодарен за это.

Друзей детства мы обычно ценим за те воспоминания о нашем прошлом, которых не существовало бы без них.

Много лет мой товарищ был начальником крупного строительного треста в Туле, что, как ни странно, не отразилось на его характере. Он, правда, упрям, прямолинеен и несколько грубоват, но эти качества были присущи ему и в детстве. Не они определяют его суть. Ему почти всегда удавалось себя контролировать. Он сумел настоять на том, чтобы Гарик, его сын, пошел учиться в технический вуз, к чему у парня совершенно не лежала душа. И сын ненавистный факультет закончил, хоть осознавший свою ошибку отец и предлагал своему первенцу бросить опостылевшую учебу, и заняться тем, что ему по сердцу.

– Нет уж, – отвечал сын. – Ты хотел диплом, и ты его получишь.

Диплом сыну так и не понадобился, ибо началась перестройка, и он вполне успешно занялся бизнесом. Стал совладельцем полотняного завода, принадлежавшего когда-то Николаю Афанасьевичу Гончарову, безумному тестю Пушкина.

Зато на дочь – ее зовут Инна – отец уже не давил, и она пошла в жизни той дорогой, которую сама для себя выбрала.

В двухкомнатной квартире Гарика я и прожил московские свои две недели. Арик обосновался у Инны.

Забегая вперед, скажу, что в Туле, где мы провели два дня, об Арике я слышал лишь хорошие слова от людей, бывших когда-то в его подчинении. О многих ли начальниках хранят благодарную память те, кто от них зависели?

Есть у Иосифа Бродского эссе, которое называется "Речь на стадионе". Это текст его выступления перед выпускниками Мичиганского университета, напутствие вчерашним студентам. Среди советов, которые дает им поэт, есть и такой:

"И теперь, и в дальнейшем старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если это звучит слишком похоже на "Почитай отца твоего и мать твою", ну что ж. Я лишь хочу сказать: старайтесь не восставать против них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что вы можете избавить себя по крайней мере от этого источника вины, если не горя".

Я видел, как относятся к Арику его дети, и знаю, что "этого источника вины" у них не будет.

* * *

Так получилось, что в Москву я прилетел один, в середине сентября. День был мягкий и теплый. В Шереметьево поволок я свою сумку с "Камелем" и "Смирновкой" к таможенному контролю, где уже возникла длинная очередь. Сбоку стоял человек и безучастно глядел на происходящее, всем своим видом показывая, что ему некуда спешить. Я узнал его, подошел и тронул за рукав:

– Ты здесь, в Москве? Вот уж не ожидал.

Он медленно повернул тяжелую голову. Его зеленоватые выцветшие глаза смотрели прямо на меня спокойно и безмятежно.

– Кто это? – спросил он.

Я вздрогнул от нелепости вопроса. Как-никак мы около двадцати лет проработали в одном заведении:

– Ты что же, не узнаешь меня?

Он помолчал, и вдруг улыбнулся:

– Теперь узнал. По голосу. Здравствуй, Володька.

– Что случилось с твоим зрением? – спросил я, и сразу же пожалел о своей бестактности. Но он с готовностью ответил:

– Атрофия нерва. Случай неоперабельный. Глаза, можно сказать, умерли. Читать не могу совсем. Различаю лишь свет и тени.

– Как же ты поехал один?

– Меня встречают, и, кроме того, я не столь уж беспомощен. К тому же, как видишь, мне везет. Ты ведь поможешь мне оформиться?

Несмотря на шипение в очереди, я подвел его прямо к окошечку, где были проделаны необходимые формальности.

Он кивнул мне, и ушел осторожной походкой, с излишней твердостью ставя ноги, чуть подняв голову, как это делают полагающиеся на свое чутье незрячие люди. Я смотрел ему вслед с чувством непонятного мне самому сожаления.

Мы не виделись лет пять, с тех пор, как он ушел на пенсию. Он был удачливым журналистом – в том смысле, что его много и охотно печатали. Его имя постоянно мелькало в периодических изданиях – и здесь, и за рубежом. Он умудрился опубликовать несколько тысяч статей за последние десятилетия. При такой продуктивности бессмысленно говорить о качестве. Тем не менее, его материалы всегда были проходными, ибо не опускались ниже определенного, установленного газетным потоком стандарта.

Мне он всегда казался человеком чувственно заземленным, любящим жизнь в ее грубом, земном проявлении. Ценил хорошую еду, удобства, деньги, расширяющие возможности приятного времяпрепровождения, – и, конечно же, женщин, без которых нет, и не может быть подлинного счастья. Успех у женщин – имел, несмотря на довольно ординарную внешность.

В далекой молодости, еще там, в России, был у меня товарищ с короткими ногами, нагловато выпирающим животиком и плебейской физиономией, отнюдь не отражавшей его духовной утонченности. Как-то он показал мне свой донжуанский список, и я спросил потрясенный:

– Как тебе это удается?

Он усмехнулся:

– Если женщину нельзя уболтать, то надо накормить ее хорошим обедом. Это снижает ее волю к сопротивлению.

Мой бывший коллега был в меру циничен, красноречив, и обольстительно остроумен. Уж он-то знал, что для того, чтобы понравиться женщине, нужно на время забыть о себе. Есть мужчины, внешность которых не имеет для женщин никакого значения, и это был именно тот случай.

Мне казалось, что он идет по жизни, как по саду, небрежно срывая понравившиеся ему плоды, обладая надежным иммунитетом от душевных страданий. Я никогда бы не поверил, что он способен на несчастливую любовь, но именно это с ним случилось.

Он по-настоящему тосковал, осунулся. До крови изгрыз ногти. Одежда висела на нем, как на вешалке.

Я немного знал женщину, вызвавшую у него столь сильные эмоции. У нее был медленный, чуть ломающийся тонкий голос и взгляд, оставлявший странное сожаление, похожее на предчувствие какой-то неизбежной утраты.

Когда он исчез в дверном проеме, я вспомнил, что он все еще продолжает работать. Его корреспонденции часто звучат по Би-би-си. Мир слов для него все-таки не исчез.

И я подумал, что, наверно, в этом и есть суть.

Было первое Слово, положившее начало всему сущему, и когда-то грянет последнее, которое уничтожит и небо, и землю, а вместе с ними и маленькие человеческие печали и радости.

Я выхватил из конвейерного потока свой чемодан, и побрел навстречу великолепию осени, которой мне так не хватало в Израиле.

* * *

В первое же наше московское утро Гарик повез нас на своем "Мерседесе" на Воробьевы горы, показать панораму города. Осень, уже тронувшая листву багряным цветом, все еще продолжала хранить летнюю чистоту неба. Редкие беле-

соватые облака скользили над нами, а внизу в сиреневой дымке стлался огромный человеческий муравейник.

– Вон Донской монастырь, – говорил Гарик, – тот самый, "где спит русское дворянство". – А вон там блестят купола Новодевичьего монастыря, знаменитого своим кладбищем, где похоронены партизан-поэт Денис Давыдов и философ Владимир Соловьев.

Но я смотрел на золотое великолепие пятиглавого Храма Христа Спасителя. Его купола, нежащиеся в солнечном блеске, казалось, запечатлели отблеск пожара.

– Все-таки это чудо, что такая громада была восстановлена всего за два года, – сказал я.

– Ну, чертежи-то сохранились, – ответил Гарик. – И средства появились. После крушения империи начался сбор добровольных пожертвований по всей России. Даже в разгар перестроечного обвала люди, по крохам урывая от скудного своего бюджета, вносили свою лепту в общую копилку. Шелухой слетели десятилетия атеистического воспитания, – вот что самое удивительное.

Я потом много раз проходил мимо этого Храма, но, стыдясь чего-то – вероятно, праздного своего любопытства, – так ни разу и не решился в него войти.

А первый Храм погиб 5 декабря 1931 года.

После двух мощных взрывов он продолжал стоять. Говорят, что тогда к взрывателю бросился сам Лазарь Каганович и повернул рычаг со словами: "Задерем подол матушке-России". Лишь после третьего взрыва все было кончено.

На этом месте большевики хотели воздвигнуть новую вавилонскую башню со статуей своего идола на куполе. Но эти планы так и не сбылись, а идол продолжает возлежать в своем мавзолее, потому, наверно, что ему отказывает в вечном упокоении матушка-Земля.

– Гарик, – сказал я, когда мы, насмотревшись на панораму, шли к машине, – в Москве у тебя небольшая съемная квартира. К роскоши, как я уже заметил, тебя не тянет. К тому же, насколько я понимаю, твой подлинный дом – не здесь. Так зачем тебе такие дорогие игрушки, как "Мерседес" и "Роллекс"? Это что, атрибуты финансового благополучия?

– Эти вещи – визитная карточка удачливого бизнесмена, – усмехнулся Гарик. – Есть ведь клубы, куда не пускают без галстука. Вот "Мерседес" с "Роллексом" и можно считать таким галстуком, А вообще-то это ключик, открывающий нужные двери.

* * *

В Москве я в последний раз был семь лет назад, и с тех пор она разительно изменилась. Тогда это был неряшливый, неопрятный город, вызывавший, наряду с восхищением, чувство легкой брезгливости. Сегодня Москва, – чистая, ухоженная, напоминает щеголя, тщательно следящего за своей внешностью. Бедность, леденившая сердце, не исчезла, но отступила куда-то, затаилась, и больше не бросается в глаза. Москва научилась не выставлять напоказ свои язвы.

Даже нищие стали другими. Куда-то пропали стыдившиеся своей бедности люди, протягивавшие руку не поднимая глаз. Их сменили профессиональные нищие, не видящие в своем занятии ничего зазорного. В конце концов, нищенство – тот же бизнес, ибо подаяние это покупка у бедных частицы их будущего рая. Сказано ведь, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый в царствие небесное. Поэтому богачи, не без тревоги сопоставляющие с игольным ушком телесные свои размеры, склонны заниматься благотворительностью. Милостыня отверзает врата рая – этот постулат занимает достойное место в любой религии.

В одном из глубинных переходов московской подземки, где особенно ощутима затхлость устоявшегося воздуха, я как-то увидел девочку лет восьми с ангельским личиком, просящую милостыню. Стоящая сбоку банка уже была до краев наполнена рублями и монетами. Вдруг откуда-то возникла дородная баба с кирпичного цвета лицом, обдала меня холодом пустого взгляда, пересыпала содержимое банки в свою сумку, и исчезла. Я успел заметить, как сверкнули перстни на ее жирных пальцах. Девочка даже не вскинула опущенных ресниц.

Потом мне рассказали, что взрослые часто заставляют детей нищенствовать, ибо им подают больше.

Арик почти не сопровождал меня в моих московских прогулках. Я бродил по городу, дорожа своим одиночеством, наслаждаясь тем, что мне решительно некуда спешить. Я ничего не ждал и поэтому не боялся разочарования. Человеческие тени мелькали вокруг меня, не вызывая никаких чувств.

Новая Москва меня не интересовала. Меня тянуло в самую аристократическую часть города, на старый Арбат – последний оплот истинно московской интеллигенции.

Сегодня от "московского Сен-Жермена" мало что осталось. Его живое тело разрезано проспектом, почему-то названным "Новый Арбат", хотя со старым он не имеет ничего общего. Эту шоссейную магистраль с многоэтажными серыми коробками прокладывали, сметая с лица земли старинные церкви, особняки и тихие арбатские переулки. Причиненный Арбату ущерб навсегда оставил рубцы на его теле.

И, все-таки, Арбат пережил владычество коммунистов, и будет жить, пока живет Москва.

На Арбате много уличных художников и антикварных лавок, куда часто заглядывают нумизматы и коллекционеры старинных книг. И нигде я не видел столько красивых женщин. Они спешили куда-то, гуляли, заходили в кафе и в магазины, исчезали так же внезапно, как появлялись, оставляя после себя на какое-то мгновение ощущение зыбкой пустоты.

У дома номер сорок три я останавливался каждый раз, когда шел по Арбату. Здесь родился и вырос Булат Окуджава.

Его песни я люблю с юности. Со временем научился ценить и прозу – в особенности "Путешествие дилетантов", романтическую симфонию без единой фальшивой ноты.

Не раз в тяжкие минуты я вспоминал его спокойный, отрешенный от суеты голос, и мне становилось легче от этого воспоминания. Жалею, что так и не решился сказать об этом ему лично, когда за несколько лет до его смерти нас познакомила в буфете иерусалимского радио моя старинная приятельница Эстер Карми.

Это была одна из тех случайностей, которые украшают жизнь.

В буфет я заглянул без всякой цели, по какому-то наитию, и сразу увидел его. Он сидел чуть сгорбившись, и слушал, что говорила Эстер, с тем естественным вниманием, по которому безошибочно узнаются хорошо воспитанные люди. Поймав мой умоляющий взгляд, Эстер улыбнулась, и жестом пригласила к их столику:

– Познакомься, Булат, с моим коллегой.

Таким я себе его и представлял. Тонкость. Патрицианская отстраненность. Внутренняя сосредоточенность человека, знающего цену одиночеству.

Я попытался выразить свое восхищение "Путешествием дилетантов", пробормотав, что "эта штука посильнее "Фауста" Гете". Он едва заметно улыбнулся.

Начинался ничего не значащий разговор, неизбежный в таких случаях. Мне этого не хотелось, и я, понимая, что другой возможности не будет, почти с отчаянием сказал:

– Булат Шалвович, я недавно прочитал воспоминания Давида Шраера-Петрова. Это правда, что он там пишет про вас и про Олю?

Он удивлено взглянул на меня, – и засмеялся:

– Правда лишь то, что я отбил у него бабу. Давид мне этого до сих пор простить не может.

С холодной отрешенностью, появляющейся только с годами, когда смотришь на себя прежнего так, словно речь идет о чужом далеком человеке, написал Давид о своей любви к черноволосой баскетболистке Оле, ставшей его невестой. Потом Давид должен был куда-то уехать на несколько месяцев, а когда вернулся, то узнал, что его Олю соблазнил на пьяной вечеринке щеголеватый грузин с усиками. Звали его Булат Окуджава, и он уже был известен в узких кругах, как исполнитель собственных песен под гитару.

Давида поразило, что Оля отнеслась к его возвращению, как Брут к призраку, возникшему перед ним при Фермопилах.

Считая, что зло должно быть наказано, Давид сунул за пояс нож, и пошел к соблазнителю, но, встретив его взгляд – спокойный, с легким оттенком сожаления, – заколебался.

– Не буду тебя отговаривать, – сказал Булат. – Решил, так делай. Прошу только об одном: приходи сегодня вечером на мой концерт. А там поступай, как знаешь…

И Давид ухватился за эту отсрочку.

В тот вечер Булат пел, как никогда еще не пел в своей жизни. Он исполнял песни, посвященные Оле: "Ты мальчик мой, мой белый свет, || Оруженосец мой примерный". "Я люблю эту женщину, || Очень люблю"…

И Давид, понявший, что Оля – судьба не его, а Булата, тихо вышел…

Давно уже нет Булата Окуджавы. Что стало со Шраером-Петровым – я не знаю. Если он жив, то наверняка распрощался с надеждами на какое-то будущее в литературе. Остались от этой истории лишь песни Булата, посвященные Оле.

* * *

В пяти минутах ходьбы от Арбата находится слегка изогнутый Борисоглебский переулок, где в доме номер 6 с 1914 по 1922 год жила Марина Цветаева. К ее столетию здесь открыли мемориальный музей, – уже после крушения режима, противившегося этому до последнего издыхания.

Вот как сама Цветаева описала свое московское жилище в "Повести о Сонечке":

"…я должна немножко объяснить этот дом. Дом был двухэтажный, и квартира была на втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему – объяснить не могу…

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак, и оттуда распространившийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов".

После отъезда Цветаевой с дочерью за границу в 1922 году, дом этот был превращен в коммуналку, где жили сорок человек.

Все было разгромлено, разорено, загажено. На реставрацию пришлось потратить больше времени, чем на восстановление главного храма страны.

Дом этот я нашел без труда и позвонил у резной двери с чувством смутной неловкости, как и приличествует незваному гостю. Дверь открылась сразу, словно меня ждали.

– Заходите, – приветливо сказала молодая женщина в платье строгого покроя, хорошо облегавшем ее ладную фигуру. – Вы сегодня первый наш посетитель.

Продолговатого разреза глаза, чуть тронутые зеленой акварелью, золотисто-каштановые волосы и едва заметная сутуловатость отдаленно напоминали хозяйку этого дома тех давних времен.

Узнав, что я журналист, да еще из Израиля, Мила – так звали встретившую меня сотрудницу музея – обрадовалась.

– У меня есть друг, – сказала она. – Тоже журналист. Работает в местной еврейской газете. Обожает Израиль. Он очень застенчив и сам вам не позвонит. Позвоните вы ему. Пожалуйста.

Неуместное выражение мольбы промелькнуло в ее глазах, и я торопливо обещал, сунув в карман бумажку, на которой она записала телефонный номер. Обещания этого я так и не выполнил.

И вот мы поднимаемся на второй этаж, в квартиру, которую сама Цветаева называла в послереволюционные годы "трущобой".

Мила начала низким выразительным голосом:

– Марина Ивановна с мужем и маленькой дочерью Ариадной стала жить в этом доме с лета 1914 года. Она была тогда очень счастлива…

– Не надо, – попросил я, пытаясь улыбкой сгладить возможную обиду. – Все это я знаю. Давайте посмотрим молча.

Да, реставраторы потрудились на славу. Здесь почти все выглядит так, словно на дворе 1914 год. Чисто, ухожено. Замысловато расположенные комнаты на трех уровнях-этажах. Потолки и высокие, и низкие, скошенные – как тогда. Много фотографий Марины, Али, Сергея Эфрона. А вот и ее кабинет со столом у окна – не тем, который подарил ей отец к шестнадцатилетию, но очень похожим. Много антикварных вещей примерно того времени. Стенды. Все, как положено.

Осмотр закончен.

– Я вижу, вам не очень понравилось, – с едва ощутимой грустью сказала Мила.

– Не то слово. Понимаете, мне эта квартира представлялась сценой, где на годы растянулась такая трагедия, что куда там грекам.

Вон там стоял не этот рояль, а Маринин любимый, тарусский.

Продала за пуд черной муки.

Красное дерево порубила на дрова.

Портрет своей матери в гробу пыталась выдрать из золоченой рамы – и не смогла, ибо вделан он был, как вклепан. Так и отдала старьевщику, – с рамой.

Здесь и в самые студеные дни не топилась печка. Ни свечек, ни керосина для коптилки не было. Темь и холод не оставляли этой квартиры.

А однажды сюда проник грабитель и, потрясенный запредельной этой бедностью, уходя, предложил Марине Ивановне немного денег.

Пришел взять, а уходя – дал.

Здесь она не смогла прокормить двух своих дочек, и младшую, трехлетнюю, отдала в приют, на смерть. Не отдала даже, а швырнула в прорву, молоху в пасть, чтобы выкупить Алину жизнь:

Старшую у тьмы выхватывая –
Младшей не уберегла.

Так как же я, зная все это, могу отнестись к тому, что вижу здесь сейчас?

Мила вскинула к лицу узкую ладонь, как бы защищаясь от неожиданного нападения.

– Да, так все и было. Но чего же вы хотите? Чтобы здесь царила разруха и запустение, как в те жуткие годы? Кому нужен такой музей? Лжи здесь нет. Тут все как было до апокалипсиса, обрушившегося на Россию. Все-таки до революции Марина Ивановна прожила в этой квартире несколько счастливых лет.

Да и потом здесь у нее бывали и Эренбург, и Мандельштам, и Тихон Чурилин, и князь Сергей Волконский, и студийцы Вахтангова, и Сонечка Голлидей, и многие другие не ме-

нее удивительные люди. Здесь написаны пьесы из цикла "Романтика", множество стихов и поэм. Так разве можно свести все к удушливому тогдашнему быту, как бы он ни был тяжел?

Она смотрела на меня с мягким укором, и я пожалел о категоричности своих суждений, ибо истинное понимание, если вообще таковое возможно, достигается только чувством.

– Вы совершенно правы, и извините меня, Бога ради, за столь неуместную инвективу.

– Нет, что вы. Вы говорили так искренне. Вы, наверно, очень любите стихи Цветаевой?

– Это как раз наименее важно, – сказал я уже устало.

Когда я уходил, она вдруг смущенно произнесла:

– Знаете, я ведь пишу и стихи, и прозу. Вот тут у меня с собой рассказ. Может, его удастся напечатать в Израиле?

Она протянула мне несколько сложенных пополам белых листов.

Я прочитал их в метро, возвращаясь в свое московское пристанище. Это была аллегория о судьбе народа-скитальца, написанная, по-видимому, не без влияния еврейского журналиста, ее друга.

У рассказа был эпиграф из Хименеса, и я несколько раз повторил про себя грустные строки:

Ты мертва,
почему же печаль, как живая,
из очей твоих смотрит, по-прежнему черных?

* * *

Прогуливаясь по Арбату, набрел я на книжную лавку, принадлежащую, как выяснилось, журналу "Москва".

Продавщица – дама средних лет с беспокойно-назойливыми глазами, сказала таким тоном, словно видела меня каждый день:

– Девятый номер "Москвы" только что принесли. Он еще пахнет свежей краской.

Перед ней на прилавке возвышалась стопка журналов в белой обложке, где святой Георгий поражает копьем гадину, клубящуюся у ног его коня.

Я открыл журнал как раз на стенограмме обсуждения книги А. И. Солженицына "Двести лет вместе" – и зачитался выступлением доктора филологических наук Г. Д. Гачева. Привожу лишь то, что сразу выхватил из текста мой любознательный взгляд:

"Перед нами драма, даже мистерия истории – о том как врезались друг в друга, летя в мировых пространствах, два космоисторических тела, сошлись в клинче, в объятиях любовно-смертельных, во Эросе-Ярости на протяжении двух веков, и вот разошлись – не как в море корабли, но и напитав, и изранив друг друга, кровоточа. И тут, похоже, более малое, компактное и заостренное тело еврейства, вклинившись в огромную амфорную и рыхлую массу мати-сырой земли России, вышло более сухим из воды и отлетело…

А Россия – в немощи, развале. То-то и обидно нам: ведь из наших сил напитались – и утекли…

А та влюбленность художников из евреев в русскую природу – Левитан, Пастернак! Последний так бы и впился в белоснежное тело России, русской женщины"!..

У Г. Д. Гачева, – подумал я, – кем бы он ни был, не все в порядке в одной из самых тонких областей человеческих отношений, а это приводит к тому, что его комплексы проявляются в самых неожиданных местах.

Продавщица тем временем внимательно слушала человека, перебиравшего книги у одной из полок.

Это был мужчина лет сорока пяти, в демисезонном пальто из добротного сукна, в сером вязаном пуловере.

Череп – литой, с ежиком начинающих уже седеть жестких волос. Взгляд уверенный, цепкий. Он, как я понял, недавно вернулся из Америки, и его буквально распирало от впечатлений.

– Эта иудейско-масонская цивилизация обречена, – витийствовал он, – потому что противоречит Божественной природе человека. Ритуальные надругательства американских иудеев над христианской культурой охватили все сферы жизни и носят уже открытый характер.

Вы, Лида, не поверите, до чего дошло. Есть такой иудейский обряд тушения по субботам свечей на ритуальном еврейском подсвечнике. Это может сделать только нееврей, шабесгой. И вот в некоторые субботы американский президент останавливает свой кортеж возле дома одного из своих сотрудников-иудеев, и глава сверхдержавы входит в дом, чтобы потушить свечи согласно правилам иудейского обряда.

– Быть не может, – сказала Лида грудным голосом, глядя на него с обожанием.

– Это еще что. Сатанизм, выросший из иудаизма, из его тайных каббалистических сект, является сегодня в Америке почти официальной религией. В церквях священники венчают геев и лесбиянок. Ведь содомитство неотъемлемая часть иудейско-талмудической культуры.

Культ Элвиса Пресли, растленного иудея, сатаниста и наркомана, распространен повсюду. В Тель-Авиве в 1996 году поставили ему памятник, превратившийся в место паломничества еврейской молодежи.

Я почувствовал, что задыхаюсь.

– Элвис Пресли – вмешался я в разговор, стараясь говорить спокойно, – по происхождению – ирландец, В его жилах не было ни капли еврейской крови. Я давно живу в Израиле, – и смею вас уверить, что никакого памятника Пресли в Тель-Авиве нет. Это запрещает наша вера. К тому же постулаты иудаизма определяют сатанизм с содомитством как смертные грехи. Вы же наверняка знакомы с Библией. Так почему вы лжете?

Уши у него покраснели, и я понял, что он еще не совсем бесчувственен.

– Я не имел в виду весь иудаизм, – сказал он, избегая смотреть мне в лицо, – а только его изуверские секты. Они существовали всегда. И некоторые из них использовали христианскую кровь для приготовления мацы. Это ведь доказано.

– Кем доказано? Евреи пекли мацу во время своих скитаний по Синайской пустыне свыше трех тысячелетий назад. Где они тогда брали христианскую кровь?

Теперь уже побагровело все его лицо.

– Ну, не знаю, – буркнул он и стал с отрешенным видом перелистывать какую-то книгу.

– Николай Иванович не хотел вас обидеть, – ласково сказала продавщица.

Я вышел на свежий воздух.

– Минуточку! – услышал я голос. Меня догнал человек, которого я мельком заметил там, в книжной лавке.

– Я слышал весь разговор, – сказал он торопливо. – Не обращайте внимания на слова этого грубого и, в сущности, примитивного субъекта. Но позвольте представиться. Зубов Александр Платонович. Когда-то физик, а сегодня частный предприниматель.

Я назвал себя.

– Очень приятно. Знаете, погодка-то сырая, зябкая. Почему бы нам не посидеть в кафе, и не принять чего-нибудь для согрева? Ну, хотя бы здесь.

Он показал на увитую плющом террасу. Мы зашли в кафе-бар, и устроились в глубине почти пустого зала.

Лицо у него было простое, незапоминающееся, но светлые печальные глаза отражали такую прозрачность чувств, что сразу исчезло ощущение неловкости.

Он расспрашивал об Израиле.

Кофе оказался вкусным и ароматным.

– Знаете, – сказал он, – я вот недавно по делам бизнеса побывал в Китае. Трудно передать чувство боли за Россию, овладевшее мной. В Китае ведь тоже были и террор, и коллективизация, и культ вождей, и централизованная экономика, и диктатура кучки бюрократов под партийной вывеской. А когда настало время реформ, то нашелся мудрый человек Дэн Сяопин, понявший, что спешить ни в коем случае не следует, что реформы надо проводить осторожно. Ему было ясно, что на это и пятидесяти лет мало. А в Москве наши умники решили ввести рыночную экономику и капитализм построить за пятьсот дней.

– Ну, да, – сказал я, – Дэн Сяопин понял, что на крутых исторических виражах надо не ослаблять центральную власть, а усиливать. Китайский народ, избавленный от шоковой терапии, стал строить …

– А русский, доведенный до отчаяния, бросился воровать, – прервал он меня. – В результате Китай выходит на первое ме-

сто в мире по объему промышленного развития. Полтора миллиарда человек сыты, одеты, обуты. Рыночные отношения возникли в Китае естественно, и гармонично развиваются. А у нас?

– У китайцев иная ментальность. Их вожди не уничтожали собственный народ и не грабили свою страну.

– То-то и оно, – усмехнулся Александр Платонович. – Мы ведь до сих пор гордимся своими подонками, как ветераны орденами. Где наша национальная гордость? Жрем, потребляем, ведем растительную жизнь. Привыкаем к таким вещам, которые прежде и присниться не могли.

Он скомкал салфетку длинными белыми пальцами.

Когда же разговор перешел к неизбежному еврейскому вопросу, Александр Платонович произнес целый монолог:

– Вы, евреи – народ мессианский. Всемирно-исторический. Мы, русские, в этом смысле на вас похожи. Мы тоже, так сказать, взыскуем вселенской судьбы. И нам узки рамки национальной истории.

Границы и местечковое государство у подножия действующего вулкана – это не для вас. Попытаюсь развить свою мысль. Бог – это проявляющаяся в материальном мире совокупность высших законов, недоступных нашему разумению. Но хотя понять эти законы нельзя, выявить общую для них тенденцию – можно. Судя по всему, человечество находится сейчас на марше к созданию гиперэтноса. И такой универсальный этнос, как еврейский народ, контролирующий при помощи подчиненной ему интернациональной финансовой олигархии большую часть ресурсов человечества, может стать над нациями, чтобы содействовать формированию высшего типа человеческого сообщества. Думаю, в этом и есть смысл вашего рассеяния, и ваша глобальная задача.

Он выжидательно смотрел на меня. Этот человек мне явно нравился, но очень уж резанула ухо "финансовая олигархия".

– Эх, Александр Платонович, и вы туда же. Слова ваши об олигархии напомнили мне афоризм Ежи Леца: "Я знаю откуда пошла легенда о еврейском богатстве. Евреи всегда за все расплачиваются".

Жил когда-то в Иерусалиме такой человек – Юрий Карлович Граузе. Преподавал классическую китайскую философию в

Иерусалимском университете Родился и вырос он в Харбине, но знал и понимал русскую культуру, как дай Бог нам с вами.

Юрий Карлович, избежавший соприкосновения с советским режимом, был еврейско-русским интеллигентом старой школы – как Михаил Осипович Гершензон, к примеру. К сожалению, нет больше таких людей, вымерли как мамонты.

Однажды, много лет назад, подтрунивая над мифом о еврейском всемогуществе, он сказал: – А что? Я, например, представляю себе такую картину: где-то в Бруклине, в подвале, заваленном всяким хламом, сидит в облезлом кресле старый еврей в засаленном лапсердаке. Перед ним стоят навытяжку Брежнев, Никсон и Мао Цзэдун. А он стучит волосатым кулачком по столу и орет, срываясь на фальцет: – Плохо работаете! Всех уволю!

Мой собеседник засмеялся.

– Вот вы смеетесь, а ведь такие стереотипы по сути своей страшны. О вашей же концепции скажу лишь то, что если и есть какой-то смысл в двухтысячелетнем хождении еврейского народа по мукам, то, на мой взгляд, сводится он к дрожжам, без которых не взойти опаре.

– Ни одной гипотезы нельзя исключить, когда речь идет о вашей истории, – сказал Александр Платонович.

* * *

А потом наступил тульский антракт. Арик рвался в Тулу, где когда-то начальствовал. Добраться туда из Москвы оказалось несложно. Несколько часов в автобусе – и мы уже в старорусском городе с широкими улицами, оружейным музеем и памятником Левше – тому самому, который подковал когда-то "аглицкую" блоху так, что она уже не прыгала и не танцевала.

Приехали мы ночью, – как и хотел Арик. Местный калымщик за пять минут подвез нас к дому, где жил Петя Улыбов, закадычный его тульский приятель. Петя даже не подозревал, что мы вот-вот свалимся ему на голову. Это был сюрприз.

О Пете я со слов Арика знал, что он окончил архитектурный институт, но по специальности почти не работал, ибо,

благодаря своему таланту краснодеревщика, получил синекуру в какой-то конторе. Его обязанности свелись к тому, чтобы поставлять начальству красивую мебель. Он был незлобив, ровен в обращении, и совсем лишен тех амбиций, которые часто являются причиной вражды или скрытой зависти. Характерная для него внутренняя энергия тратилась, в основном, на женщин. Он их понимал и жалел, и они, чувствуя это, отвечали ему слепой преданностью. Женат Петя был четыре или пять раз – и всегда счастливо. Известно ведь, что счастливые браки рано или поздно кончаются, а несчастливые тянутся до бесконечности.

Его последнюю жену зовут Лиля. Сейчас у них трудные времена, потому что Петя остался без работы. Его начальник получил такое повышение, что вполне мог позволить себе покупку импортной итальянской мебели. Это и была основная мотивировка Петиного увольнения.

– Ты все понял? – спросил Арик, остановившись у хорошо знакомого ему подъезда. – Так что же ты стоишь, как именинник?

Я поднялся на второй этаж и звонил до тех пор, пока не послышался, наконец, заспанный мужской голос:

– Кого там черти носят?

– Извините, Бога ради, за столь позднее вторжение, но мне сказали, что я в любое время смогу найти у вас ночлег и ужин.

– Ступай, проспись где-нибудь в другом месте.

– К сожалению, это невозможно, потому что мой израильский друг Ариэль Шмерелович дал мне именно ваш адрес.

– Арик?!

Дверь открылась Мужчина, давно разменявший пятый десяток, в пижамных штанах и байковой рубахе, все еще настороженно осмотрев меня с головы до ног, сказал:

– Заходи. Не знакомиться же через порог.

И обернувшись куда-то в глубину квартиры, позвал:

– Лилька! У нас гость из Израиля.

Откуда-то появилась Лиля в халате и захлопотала, накрывая на стол. Тут-то и раздался звонок.

– Это еще что? Опять гость из Израиля? – удивился Петя.

Арику удался его сюрприз.

А потом до рассветных часов тянулось застолье. Старые друзья предавались воспоминаниям, а я – многочисленным грибным блюдам.

– Сами собираем, – пояснила Лиля. – Осень-то у нас грибовная. Грибных дождей много было – теплых, мелких. Вот гриб и полез.

Арик тем временем расписывал жизнь в Израиле в таких радужных тонах, что мне стало неловко.

Петя слушал напряженно, не забывая наполнять быстро пустевшие под грибки рюмки. Я рассмотрел его повнимательнее.

Худой, как афганская борзая, он производил впечатление человека, прожившего жизнь хоть и веселую, но с изрядной приправой печали.

Слушая приятеля, он все больше мрачнел, и наконец сказал:

– Сионизм для меня сродни фашизму.

Очарование вечера сразу погасло, и я подумал, что с какой-то фатальной неизбежностью обречен в эту свою поездку сталкиваться с тем, о чем хотел бы забыть.

Арик и Лиля вскоре пошли спать, и мы остались вдвоем у стола с жалкими остатками недавней роскоши.

Петя посмотрел на меня и разлил то, что еще было в опустевшей бутылке.

– Ладно, не сердись. Обмолвился. Обмолвка не обида. Я ведь понимаю, что сионизм это всплеск еврейской пассионарности. Но он же – катализатор антисемитизма. Разве другим не обидно, что вы считаете себя избранным народом?

– Петя, – сказал я, – это правда, что тебе вырезали яйцо и две трети желудка?

Он оторопел, но почти сразу же рассмеялся:

– Ну и Шмерелович, – ведь это он тебе рассказал?

– А кто же еще? Но в самых общих чертах.

– Сермяжная правда, – как говорил один литературный герой. К великой моей радости, я не утратил потенции, чего боялся ужасно. А что касается желудка – то пока всасывает потихоньку. Так что грех жаловаться. Однако, поскольку все выпито, пойдем немного вздремнем, а там и по Туле побродим.

* * *

Последние дни в Москве оказались гораздо менее суетливыми. Теперь я много времени проводил в кафе на Арбате, предаваясь мыслям случайным и праздным, но поскольку этим без помех можно заниматься и в Иерусалиме, стало ясно, что пора возвращаться. Москва больше ничего не могла мне дать.

Для того, чтобы получить интуитивное представление о незнакомом городе, достаточно пожить в нем три-четыре дня. Только не нужно выяснять, куда ведут улицы, по которым ходишь, и в какой-то момент, при незначительном усилии воображения, они превратятся в туннели фантастического мира с гигантскими, постоянно меняющимися фресками.

– Мне по душе лишь светящиеся гирлянды деревьев ночной Москвы, – сказала дочка известной нашей писательницы, пригласившей меня на ужин в один из моих последних московских вечеров. И добавила с наивной бесхитростностью девочки-подростка:

– А вообще-то я не люблю этот город, и очень хочу, чтобы мамина служба тут как можно скорее закончилась и мы вернулись домой.

– Почему?

– Потому что прогнило здесь все изнутри.

Пораженный категоричностью этого диагноза, я подумал, что в интеллектуальных семьях редко встречается полная гармония.

Ее матери здесь нравится. Бродя по московским книжным разломам, я радовался ее успеху. Нет ни одного мало-мальски солидного издательства, которое не выпустило бы хотя бы одну ее книгу. У человека талантливого всегда найдутся завистники и недоброжелатели. Ее упрекают в том, что она часто изображает в карикатурном виде людей весьма достойных. На самом же деле речь идет скорее о дружеских шаржах, о легком, хоть и выразительном утрировании, о живых искрометных диалогах. Люди не любят выглядеть смешными. Ее же хищное око, как самая чувствительная фотопленка, фиксирует их смешные черты. Ей чужды фальшь и расплывчатость. Думаю, она сама иногда тяготится этой стороной своего таланта. Но она – настоящий писатель, и этим все сказано.

Возвращаясь из ее гостеприимного московского дома, в подземке на переходе увидел я сгорбленную сухонькую старушку. У ног – кошелочка. В руке – плакатик с надписью: КУПИТЕ МОИ СТИХИ. Равнодушно скользнув по ней взглядом, я прошел мимо, но почти сразу же вернулся. На морщинистом ее лице выделялись неестественно огромные, хоть и выцветшие уже синие глаза. Я взял в руки маленькую книжечку – и мне сразу стало трудно дышать. Показалось вдруг, что где-то лопнула струна со щемящим пронзительным звуком. С обложки на меня смотрела молодая женщина с лицом необычайной тонкости, совершенно не сознающая силы своего бессознательного очарования. Жизнь можно потратить на поиски такой женщины.

– Это вы?

– Да, шестьдесят лет назад, – сказала старушка неожиданно сильным голосом.

– И давно вы пишете стихи?

– Всю жизнь. Это моя единственная отрада.

– Кристина Рай ваш псевдоним?

– Да. Правда, красиво?

Я почувствовал наплыв тоски, какой давно уже не испытывал, и не мог больше разговаривать. Сборничек ее назывался "Порыв сердца".

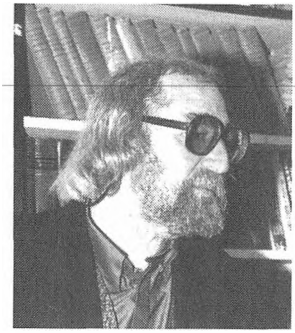
В вагоне метро я раскрыл приобретенную книжечку, моля кого-то о чуде. Стихи оказались чудовищными.

Из предисловия узнал, что настоящее имя автора – Раиса Илларионовна Сидорова, что родилась она в 1921 году на Украине, в селе Кропивныцьке.

И далее она написала нечто такое, что у меня вновь перехватило дыхание: "Накануне ясного представления о неизбежности смерти, о том, как мало мне осталось жить, я решила опубликовать некоторую часть моих стихотворений.

Справедливо могу сказать: я не жила, а страдала. Сердце! Почему оно не такое равнодушное, как у многих? Почему оно болезненно реагирует на малейшее прикосновение к нему?"

Не знаю почему, но именно после этой встречи в метро я уже с нетерпением считал часы, остающиеся до возвращения домой.



Владимир Ханан

На смерть поэта

Он, конечно, хотел как лучше…
В общем – женщина или случай –
Важно: умер, сказав "Умру".
И сомнительнейшего из homo
Хоронили не без месткома,
Стыли лысины на ветру.

Было ветрено и погано.
По подсказке из Мичигана
Ожидали большой мороз.
…Подменили казённым ахом.
Сам, пристойность храня, не пах он.
Словом, дело велось всерьёз.

Слушал речи, слегка смакуя,
Как сменяли одна другую,
В промежутках даже кивал.
По привычке следил за стилем:
"Говорим, как верёвку мылим…
Сам, припомнить, так же певал..."

Был талантливым (слыл евреем).
Щёлкал ямбом, свистал хореем.
Гонорары носил в ларёк.
Были женщины, стыд, и пьянь же…
Рано умер – а надо б раньше:
Хоть бы душу свою сберёг.

* * *

Угомоните этот город,
Он сверху донизу распорот
Колючим нордом и Невой.
Угомоните этот город,
Чтоб не хватал меня за ворот,
Как хулигана постовой.

Оставь меня! – я слышу чётко,
Как мимо шелестит пролётка,
Сквозная музыка подков.
Покуда город сытым зверем
Торгует верой и безверьем
Со всех прилавков и лотков.

Всмотрись (сгореть бы им в геенне!):
На лошади не Пётр – Евгений,
Куда же смылся Государь?
Должно быть, в Вене или в Йене,
А в городе остались тени:
Блок, Пушкин, улица, фонарь…

Пройдём, оставивши за кадром
Нелепый дом с кинотеатром,
Музейно-банковский актив.
Как вздох, на каждом повороте
Звучит, звучит на верной ноте
Два века видевший мотив.

Я вижу сердцем и стихами:
Букет цветов Прекрасной Даме,
Фасадов кислое вино…
Вот-вот задаст Евгений драпу,
Учёный царь сойдёт по трапу
В Европу прорубать окно.

* * *

На цветном, на детском фото
Улыбающийся кто-то,
Щёки видно со спины.

Видно, был фотограф мастер,
Был он спец по этой части,
Прямо – не было цены.

Всё бурчал он: " Тише едем…"
И меня с моим медведем
Папа на колени взял.

Сколько лжи во взрослом мире!
И разинув рот пошире,
Я напрасно птичку ждал.

Дни идут, года мелькают,
Птичка всё не вылетает,
Мне, как видно, на беду.

…Простучат по крышке комья..
До сих пор с открытым ртом я
Птичку… сволочь эту… жду.

* * *

М. Г.

Яблоко осени желто-зелёной
Падает вверх, вопреки
Доле своей и землице влюбленной...
Если бы нам в мотыльки!

Как я любил это пламя сухое
С добрым сердечком во рту,
Ежевечерний туман над рекою,
Вещего зренья тщету!

Кто разбудил эту синюю крону –
Скажешь, а я повторю.
Над колокольней, где ласточки тонут,
Крестную вижу зарю.

Сонное озеро плещется в чаще,
Нежит в закатной крови...
Не говори мне о доле пропащей,
Если она по любви.

Разве не так же тоскует о Боге
Маленьких племя свечей,
Как человек, обреченный тревоге?
Как бы я выжил – ничей?!

... В тоненьких крылышках, в лапках прижатых
Утлое тело неся,
Падают яблоки – не удержать их...
Только вот плакать нельзя.

Сусанна Черноброва

Новогоднее

Облака в небесах – это снег прошлогодний, скелет
Осыпавшейся елки, овраги, сугробы, руины,
Облака над заливом столпились на тысячи лет,
Обнимаясь, как будто они города-побратимы.

На застолье родительском пусто, не слышно людей,
Словно ангел витающий их тишиной поминает,
Где-то комната есть, куда много набилось гостей,
Хлещет елочный дождь, шоколадная пыль оседает.

С Новым Годом тебя!
Помнишь, Старый без книг и друзей
Мы встречали однажды, ненастье
Все светила сметает с огромных еловых ветвей,
И осколки летят, это солнце разбилось на счастье.

Тель-Авив

Утром город варево, броженье,
Лужи, крыши в пузырьках, кипенье.

Месиво и суп, толпа из башен,
На грязи и слякоти заквашен
Кажется, что зелень, крыши, трубы
Кружат в этом разноцветном супе.

Ты в нем тоже выстиран, проварен,
Повар-прачка, город весь распарен.

Весь заштопан и по швам распорот,
На живую нитку сметан город,

На живую нитку сметан лихо
Город – домработница-портниха.

Проволокой облака кромсая,
Рвется его выкройка косая.

Тыщи труб искрятся надо мною.
Тлеет его курево ночное.

Ты вкусил, ты понял, что такое
Соль земли с похлебкой городскою!

Город закипал, котел бездонный,
Поднимался к небу чад кухонный.

Язык

В роще шумящей внезапно возник
Полный ветвей и элегий язык,

Сердце сожженной тетради, тростник,
Все, что в безумьи бормочет старик.

Это меж листьев счастливых тайник,
Или воздушной тревоги язык.

С ним на востоке блуждать в падеже,
Шум на рассвете, возня в гараже.

В роще случайной пропал, как возник,
Полный забытых элегий язык.

* * *

На выцветшем неясном снимке,
Голубовата желтизна,
Штрихи с полоскою в обнимку,
И белый свет в крови пятна.

Мой путь от дома до больницы,
С горы Масличной город твой,
Он весь в заплаканных ресницах
И бликах третьей мировой.

Развал на море и на суше,
Но все-таки хотелось жить
И все засвеченные души
На негативах проявить.

Гило, 2001

Ты с пригорка следи, как уходит никто в никуда,
Ты, простая мишень на окраине звездного неба,
Город цвет потерял, стал бесцветным, как все города,
Где есть тюрьмы, обиды, скульптуры из серого хлеба.

"Но в газету, на радио – только бы среди людей
И поменьше в Гило, где все строят забор за забором…"
Ну а город, он видывал тоже разливы таких площадей,
А закончился вдруг тупиком и стеной, коридором.

Не горюй, не грусти, быть прохожим великая честь,
Слыть безглавым пятном и казаться безрукою кляксой,
Образ мысли привычен, желанье понятное есть
Под письмом написать: "Будний день интифады Аль-Акса".

Снова белый "субару" соседа стоит поперек,
Он один из сугробов, что ветер наносит с разбегу,
То ли небо искрит, то ли тает зависший снежок,
И мы видим, что даже у пуль траектория снега.

Стоит только вглядеться, кажется, кружатся все,
И пустырь, и турист, нарисованный клубами пыли,
И в блокноте кружат монастырь на Хевронском шоссе,
И оливы, они между войнами счастливы были.

* * *

В небесах облака из подснежников,
Зодчество это тайное ты меж ресниц наблюдал,
И вершину надменную, пик одиночества,
Обливаясь слезами, во сне штурмовал.

Не заметил того, кто уже без сознания,
Лежа в тундре, на вечной сырой мерзлоте,
С гениальностью северного сияния
Написал этот мир, сединой в темноте.

Снег

В какой же тюрьме приснится
К такой белизне побег,
Лыжня до самой границы,
Скроивший пространство снег.

Уйти в такую прозрачность,
В прохладные залы рек,
За Балтику, в свет и мрачность
И кончить плохо, как снег…

Уйти в чертежи, в детали,
В походку и боль калек,
Как филигранны дали,
Где отчеканен снег.

Сойти с ума или спиться,
Как некто, друг, имярек,
Иль под ноги подстелиться
Всякой дряни, как снег?

На снежной бабе жениться,
Прожить истуканом век,
Интригам у кружев учиться,
Как вечно учится снег.

* * *

Бил свет незнакомый в звенящую листьями гарь,
В надежды другие –
От солнц электрических нам в изумрудный фонарь,
Звезду ностальгии.

Кладбищенский ветер, теперь между мной и тобой
Могила в три моря…
Мгновения счастья смешает под этой звездой
С неделями горя.

А ты мне играй и плыви по прохладной волне
Никчемного года
На скрипке, на ветке, на иерусалимской сосне,
На линиях свода.

Расссыпалась в сумраке вспышка цветною водой
И радуга прозы,
Мгновенья сольются и в призрачный лес за тобой
Стекутся, как слезы.

Удача угрюма, и кажется облака след
Разрушенным зданьем,
И станет нам встреча сквозь взглядов решетчатый свет
Тюремным свиданьем.

Играй мне, мой ангел, струной разрывая тетрадь,
И ноты косые,
Летят, чтобы первыми ту увертюру сыграть,
В провалы лесные.

Трамвай

Утром войди, качаясь,
В давку, водоворот,
Узкий пенал трамвая,
Словно лодку, несет.

В солнечный дом трамвая,
В сказочный терем, грот,
Город, неузнаваем,
Сам по рельсам плывет.

И на подножке слиться
С пыльной голубизной,
Выйди на снег страницы
И распишись лыжней.

Это болезнь морская
Комнат и кораблей,
В красном пятне трамвая
Полный вагон друзей.

Будни толпой качает
И на рессорах лет,
Нет нас в тени трамвая,
В ритме летящем нет.

В небе маршрут растает,
Словно окурка след,
В темной душе трамвая
Как на веранде, свет.

Самуил Шварцбанд

Авентинский холм...

Памяти Д.В.Иванова

1

Сегодня вечер душный и ленивый —
ни ужинать не хочется, ни жить,
а звезды, словно детские нарывы,
которые считать бы и лечить.

Но даже это я не в состояньи
сегодня делать — пусто и темно,
душа болит, и музы нет, и я не
могу допить вчерашнее вино.

2

Все, что было, милая, на свете
повторится в будущих мирах —
даже там, где левантийский ветер
устрицами свежими пропах;

повторится тусклое свеченье
проржавевших римских фонарей
даже там, где их предназначенье
позабыто в сутолоке дней;

по векам разгуливая разным
среди статуй и остатков стен,
мне, конечно, стыдно... за отказ мой
верить в мир грядущих перемен.

3

От долгих удач и от жадных очей
ни спасу, ни счастья не будет,
и детские сны в опереньи грачей
наутро уже не разбудят.

И поздняя ночь в обрамлении лиц
усталых, ушедших, забытых
не вскрикнет от ужаса белых страниц
подбоем кровавым подбитых...

4

Раскаленное солнце над Авентином,
словно над Аялоном, стоит и стоит.
А напротив —
готовый этюд для картины
о сенаторском беге от мартовских ид...

Душно в Риме, как будто природа бастует.
лишь стрекочет, стрекочет в колонках вода,
итальянцы эспрессо без устали дуют —
и до Страшного, кажется, будут Суда.

Я спускаюсь...
А полдень все также беспечен...
Вот и площадь Бернини...
                Мимозовый куст...
В ресторане знакомом назначена встреча
мне седым и красивым хранителем муз.

Я спускаюсь по улочке.
                Тонкие тени
кружевами лежат у запущенных вилл,
и откуда-то запах увядшей сирени
пробивается сквозь сладковатый метил.
Собеседник предложит во-первых и в-третьих
Улыбнусь я ему —
дескать, только вино...
И лукаво спрошу я: "Природе на детях
Отдыхать обязательно разве дано?.."

5

Если хочешь, давай, посидим на пенечке —
я и вправду устал от кружного пути,
и в глазах — не столицы, а жалкие точки
дву-на-десяти стран да хмельные примочки
вместо серого клея городских паутин.

Впрочем ты и сама, дорогая, устала,
поспешая за мной из туннеля в туннель,
и уже не найти ни конца, ни начала, —
да к тому же судьба и тебе подмешала
пару капелек яда а ля натюрель.

Даже вспомнить, зачем и кому было надо
обустраивать наши с тобою дела —
не могу я, поскольку в ушах — канонада,
вертолетные рези, как будто на ладан
дышит жизнь от намаза всемирного зла.

Неужели не стоит и медной полушки
мельтешение наше? Давай отдохнем
на пенечке у первой сосновой опушки —
и пока громыхают союзные пушки,
посудачим о Господе глухонемом...

6

...Посмотри, как глазеют строенья
Из-под мусора долгих веков,
Пряча сумерек синие тени,
Словно рифмы в созвучиях слов.

Потому я приветствую поле
Полухриплою клятвой бойцов, —
Где травинки с крупицами соли
То ль в беспамятстве, то ли от горя
Нежно тычутся прямо в лицо.

Светлана Шенбрунн

Эвелина Заславская

Из повести "Пилюли счастья"

– Дорогая, по-моему, это для тебя, – говорит Мартин, передавая мне трубку.

– Госпожа Сюннангорд? – вопрошает дерзко-назидательный женский голос.

Да, это я. Я – госпожа Сюннангорд. Именно этой звучной и гордой фамилией одарил меня Мартин вместе с прочими благами.

Ужасно тамошний голос – невозможно ошибиться: высокий, одновременно надменный и заискивающий, но, главное, полный неиссякаемого советского оптимизма.

– С вами будет говорить Эвелина Заславская.

"Будет говорить"! Распоряжение свыше. А может, я вовсе не желаю говорить с Эвелиной Заславской?

– Нина? Нинка, это ты? Здравствуй! Не узнаешь? Ну, попробуй, угадай, кого тебе судьба подшвырнула!

Судьба? Претензии, однако же... И "подшвырнула"...

– Понятия не имею.

– Тамару, Томку Ананьеву помнишь?

Еще бы! Ананьевы, соседи, после войны вселились в нашу вымершую квартиру: дядя Толя, тетя Аня, Мишка и Томка. Томка – моя ровесница, на пару месяцев младше. Но ведь было сказано: Эвелина.

– Кто вам нужен? – спрашиваю я строго.

– Нинка, да ты что? Совсем зазналась? Фотографию нашу помнишь? День рождения? Когда восемь лет мне исполнилось. Перед нашим домом. Дядя Коля Степанов снимал. Мы с тобой рядом стоим! У меня платье с белым воротничком. Помнишь?

Фотографию помню. Она и теперь лежит у меня в правом верхнем ящике стола. Десяток худеньких, испуганных девочек с серыми напряженными личиками и одинаковыми коротенькими челочками да два или три остриженных под нулёвку мальчика. Наткнулась недавно, когда искала Любино письмо.

– Если Томка, то почему Эвелина?

– Партийная кличка! – хохочет она. – После объясню.

– А откуда ты тут взялась?

– Да ниоткуда не взялась! Работаю тут. Давно уже. В советском посольстве. Восемь лет уже! Представляешь, понятия не имела, что ты тоже здесь. А тут на днях нечаянно наткнулась на твою фамилию. Знаешь что? Давай встретимся! Я как раз сегодня должна ехать в ваш городишко. Ресторан "Ретро" знаешь? На Кунгсхольмен? В три часа устраивает?

– Извини, – сопротивляюсь я. – Как-то это все слишком неожиданно... Дети вот-вот должны вернуться из школы...

– Да брось ты – дети! Не обойдутся, что ли, пару часов без мамочки? У всех дети! Давай, давай, выползай! Я потом, может, полгода в вашу сторону не выберусь. Значит, в три, в "Ретро", договорились?

– Хорошо, – соглашаюсь я, сама не очень-то понимая, почему и зачем.

Ресторан "Ретро"... Вроде бы, если не ошибаюсь, место встреч гомиков. Но, возможно, заодно и лесбиянок. Кто их знает. Неужели это действительно Тамарка? Дядя Толя пробивной был мужик, преуспевающий хозяйственник – шустрил по спортивной части. Хоть и имел четыре класса образования, но даже за границу посылали. Не то в Прагу, не то в Варшаву – на западные страны международные отношения в то время не распространялись. У них в комнате по всем стенам были развешены фотографии спортсменов, с подписями: "Женская команда по легкой атлетике, победительница всесоюзных сорев-

нований в Польской Народно-Демократической Республике". Что-то в этом роде.

Что ж – как-никак почти десять лет прожили в одной квартире, хотя нельзя сказать, чтобы особенно дружили. Очень светлая и очень курчавая головка. У тети Ани и дяди Толи волосы тоже были светлые, но совершенно прямые, а у Томки – будто предок Пушкина принял участие в ее производстве. Настоящая негритянская шевелюра – только белобрысая. Служит в советском посольстве... То есть в определенном ведомстве. Чудеса... Уж такая ничем не выдающаяся была девочка и училась весьма средненько. Нечаянно наткнулась на мою фамилию... Где это она на нее наткнулась? И какую фамилию? Я с тех пор дважды меняла фамилию. Каким образом ей удалось наткнуться на мою девичью фамилию? Странно все... Странно и подозрительно. Может, следовало с кем-то посоветоваться, прежде чем соглашаться встретиться? Позвонить в министерство иностранных дел? Времени особенно не осталось – наводить справки. Ответит какая-нибудь секретарша, которая ничего не знает и не собирается утруждать себя глупостями. Не исключено, что встреча для того и назначена на сегодня, чтобы у меня не было времени долго размышлять и советоваться. Ладно – авось, Бог не выдаст, свинья не съест. Вдруг удастся выведать хоть что-нибудь о Паулине? Мартина надо предупредить – чтобы в случае чего знал, где меня разыскивать. Может, взять его с собой? Нет, пожалуй, ни к чему. Да и детей не с кем оставить.

– Мартин, – втолковываю я своему законопослушному и благонамеренному супругу, – это звонила моя соседка по нашей ленинградской квартире. Мы с ней не виделись тридцать лет. Она теперь работает в советском посольстве и хочет со мной встретиться.

– О, конечно, дорогая! Конечно, ты должна пойти.

– Не уверена, что должна, но пойду. Ресторан "Ретро". Ты ведь знаешь, где это?

– Ресторан "Ретро"? Разумеется, дорогая. Иди и ни о чем не волнуйся.

– Если я долго не вернусь, сообщай в полицию.

– В полицию?.. Дорогая! – он недоволен, даже возмущен. – Неужели ты тоже заражена этой манией? У вас, бывших советских, коллективное помешательство: во всем видеть происки Кэ-джи-би! Это смешно! Можно подумать, что у советской разведки нет других дел, как устанавливать контроль над каждым прохожим!

– Я их делами не интересуюсь – ни этими, ни другими. Просто хочу, чтобы ты понял...

– Что тут понимать? Пугаетесь призраков, которые сами же создаете. Сами придумываете и сами пугаетесь. Если ты хочешь знать мое мнение, то это не только неразумно, это даже неприлично – поддаваться такого рода маниям.

Разумеется, более всего мы обеспокоены тем, как бы не вышло какого неприличия. Как бы кто-нибудь, не дай Бог, не поставил под сомнение наше здравомыслие.

– И все-таки я запишу для тебя ее фамилию и название ресторана.

– Не беспокойся, дорогая, я запомню.

– На всякий случай – вдруг забудешь.

– Дорогая, по-моему, ты не вполне отдаешь себе отчет в том... – обида мешает ему закончить фразу. – Я еще, кажется, не впал в маразм и способен как-нибудь... Если ты так опасаешься этой встречи, отмени ее, чего проще?

– Не сердись, – вздыхаю я и целую его в щеку.

Ни единой ссоры. Никогда, ни малейшей размолвки...

Встречу отменить можно – но можно ли отменить судьбу?

Две женщины, и обе блондиночки, сидят за столиками по разные стороны от оформленной в виде фонтанчика колонны. Которая из них? Очевидно, вон та – в темно-синем вельветовом платье в горошек. Очень миленькое платье – простенькое и славненькое, замечательно подчеркивает стройность фигуры и стоит наверняка не меньше тысячи. А может, и две, а может, и три. Нельзя экономить на представительстве. "Все они в дорогих платьях и дерутся, кто кого может".

Тетя Аня каждый год шила Томке два платья: ситцевое на Первое мая и байковое на Седьмое ноября. Я ей жутко завидовала – моя мама не шила мне ничего.

– Нина! Нинок!.. – она вскакивает-подскакивает – мне навстречу и плотно зажимает в жарких объятиях. Покачивает из стороны в сторону и никак не желает отпускать – наверно, это должно означать, что мы с ней ужас, ужас какие близкие люди! Две закадычные подружки, на тридцать лет потерявшие друг друга из вида. Наконец она чуть отстраняется, но только затем, чтобы с умилением и восторгом заглянуть мне в лицо:

– Нисколько не изменилась! Вот ни на крошечку!

Зато она изменилась: из худенькой невзрачной девчушки превратилась в прямо-таки на загляденье интересную даму. Откуда только что берется...

Наконец ей удается справиться со своими ностальгическими эмоциями, мы усаживаемся за столик, и возле нас тотчас возникает бесшумный официант. Она начальственно распоряжается, заказывает то да се – все, по моему разумению, чрезмерно дорогое, и, предупреждая возможные возражения, бросает:

– Не бойся – фирма платит.

– Даже за частную встречу бывших соседок?

– Да кто узнает-то? – Ах, какой великолепный – небрежный и щедрый – взмах руки! – Оформим как служебную.

Неужели Томка? Томка или не Томка, но с ролью справляется. Классно работает. Квалифицированно. Даже, можно сказать, вдохновенно.

– Представляешь – я обалдела! Какая-то Нина Сюннангорд. Начинаю листать: Нина Тихвина! Все – точно – совпадает! С ума можно сойти! Так значит, замужем, четверо детей?

У нее неоспоримое преимущество: она знает обо мне все, а я о ней ничего и даже не уверена, что она действительно та, за кого себя выдает.

– Что начинаешь листать?

– Ну как – что? – смеется она. – У нас на всех на вас – бывших наших – досье имеются. А ты как думала?

– Ишь ты, какая неотступная опека!.. – вздыхаю я, может быть, даже громче, чем следует. – А я читала, будто бюджет у вас весьма ограниченный. Денег ни на что не хватает...

– Это кто ж такое выдумывает? Паулина твоя, что ли? Не слушай! Нормальный бюджет – не жалуемся.

– Я бы ни за что тебя не узнала... Знаешь, что я вспомнила, пока ехала сюда? Как вы натянули веревку между вешалкой и тети Зининым сундуком, а я не заметила, наткнулась и грохнулась. Даже кровь из носу пошла.

– Точно! – подхватывает она радостно. – Это Славка Витюков придумал: давай, говорит, натянем веревку, выключим свет и позовем ее! Как будто лампочка перегорела. А ты, вообще-то, порядочная рева была.

– Да, наверно... Длиннющий был коридор... Было где взять разгон. А по стенам, по стенам – чего только не висело и не стояло: сундуки, ведра, корыта, ванночки, раскладушки, доски стиральные, да и прочее всякое, совершенно уже никчемушное, но душа коммунальная не дозволяет выкинуть...

– Еще бы! За каждый сантиметр боролись. Чтоб сосед не захватил лишней площади. А паркет? Помнишь наш паркет? Весь в колдобинах, ужас! – хохочет она. – И без веревки недолго было грохнуться и все ноги переломать. Небось, как в войну расковыряли – буржуйки топили, – так и осталось. Десять лет не осилили новый настелить. Хоть бы доски набили, а то кочка на кочке. Я тоже раз, вроде тебя, на кухню бежала – мамка позвала, – зацепилась за плашки, которые из-под стены торчали, – помнишь? – ужас как ногу рассадила! Часть паркетин выдрали, а часть так и торчали.

Верно, так и торчали... Видно, у тех, что выдирали, сил уже не было выдрать до конца. А тем, что пришли на их место, решительно на все было наплевать – государство обязано! Да, вот с чего начинается родина – с дороги из комнаты в кухню, с раскуроченного паркета, с двадцатисвечовой лампочки Ильича... Видно, все-таки она – Томка. Кто еще может помнить эти стены, дырявые корыта, изуродованный пол: серые растрескавшиеся, расшатанные – недорасшатанные, недовыдранные плашки? Чужой не может помнить. В отчетах про это вряд ли писали.

– Бываешь в Ленинграде? – спрашиваю я.

– А как же! И в Ленинграде, и в Москве.

– Ну и как там? Как твои-то? Живы-здоровы?

– Не все... Отец умер. От рака печени. Представляешь – говорят, рак печени только исключительно у алкоголиков бы-

вает. А он – вот уж не по этому делу был! На праздник, и то не всякий раз рюмочку опрокидывал. Судьба такая – в два месяца скрутило. А мама ничего, жива-здорова. Квартира у нее теперь хорошая – на Васильевском острове. Ничего, справляется пока. Да она не старая еще – шестьдесят девять лет. По нынешним временам, пустяки, верно?

– А Миша?

– Миша хорошо. Он ведь, помнишь? — на математичке из своей школы женился. На первом курсе еще.

Нет, я не помню. Откуда мне помнить? Они к тому времени уже переехали от нас – получили две комнаты в соседнем доме.

– Он ведь сперва в физкультурный поступил. Ну, сразу в тот год и женился. Она хоть на шесть лет старше, но ничего, дружно живут. Две дочки у них, две девочки. А она ему после в Технологический помогла перейти. Он там и кандидатскую защитил. А старшая их в Англии теперь. Я ей, конечно, посодействовала – без меня фиг бы у нее что вышло. Помогла по студенческому обмену устроиться. Она сперва дурочка такая была – ты не представляешь, все плакала, домой к маме просилась, ну, а после будь здоров привыкла. За англичанина вышла. Да не просто англичанина – породистого. Аристократа! Так что наша Зойка теперь баронесса. Знай наших – Ананьевых!

Официант водружает перед нами пахучее дымящееся блюдо, и мы принимаемся за еду.

– А у тебя что? Замужем? Есть дети? – продолжаю я.

– А как же! Еще как замужем! Муж у меня – большой человек. Сын в десятом классе.

– Что значит – большой человек?

– Значительный человек, – поясняет она с выражением. – Ну, как тебе сказать? Вроде дипломата...

Хорошее обозначение – вроде дипломата. Без утайки. Все точки над "i"... Знай наших...

– А ты? – в свою очередь интересуется она. – Не вянешь тут от скуки со своими буржуями? Обратно не тянет?

– В Ленинград? Нет, не тянет. Иногда сон такой жуткий снится – теперь уже реже, правда. Будто приезжаю в Ленинград, хочу подружек своих разыскать, однокурсниц, кого-то из

знакомых – и никого, пусто, исчезли и следов не оставили. Совсем чужой город, до того переменился, невозможно узнать. Улицы другие, дома – не то, чтобы новые, но совершенно не те. Приезжаю наконец в аэропорт – обратно лететь – и вижу: ничего нет – ни билета, ни денег, ни визы, ни паспорта. Чувствую, все – погибла. Ужасное такое состояние, будто в преисподнюю провалилась.

– Ну уж, ты скажешь – в преисподнюю! – обижается она. – Ленинград – красавец. Ты даже представить себе не можешь, как он расцвел за эти годы.

– Может быть... Для тебя это все иначе. Ты после войны приехала. А для меня Ленинград – вечный погост. Не просто погост – логово смерти... В нашей квартире больше половины людей не стало. И даже могилки не удостоились. И на это сил не хватало. В Неву под лед скидывали. Доставляли на саночках – и в прорубь. Лесосплав.

– Ну тебя, Нинка! – отмахивается она. – Вот уж нашла об чем вспоминать!

– О чем же и вспоминать, если не об этом? Это основа нашей жизни. Фундамент. С чего пошла земля русская...

– Не знала, что ты сделалась такая кликуша. Лучше про себя расскажи, – советует она. – Как живешь, чем занимаешься?

– А я про себя и рассказываю. Я тебе самое главное рассказываю, такое, чего, может, никогда и никому не расскажу. Другие не поймут, а ты должна понять: ты из нашей квартиры. Бывали, знаешь, такие минуты, еще в школе, стою иногда на набережной, смотрю на Неву и вижу – скелеты под водой плавают. Красиво вокруг, величественно, белая ночь, одна заря сменить другую, а в Неве скелеты, тихо так кружат, все дно вымощено костями... Знаешь, человек когда от голода умирает, он весь серый становится.

– Ну тебя к бесам! Свят, свят, свят! – крестится она, но как бы не всерьез, как бы шутейно. – Ты, Нинка, чокнутая. Я всегда замечала, что ты чокнутая.

– Возможно. Я разве отказываюсь? Действительно, нормальные люди с годами забывают, а я с годами все больше вспоминаю. Не обладаю таким ценным качеством – похоронить прошлое, отгородиться от него какой-нибудь берлинской

стеной. Полтора миллиона трупов. Много... А кто-то и не вошел в эту статистику. Опоздал. Мама моя, например, не вошла, она ведь после войны умерла. Сложно даже доказать, что из-за блокадного голода. Или от этого целебного напитка из пихтовых и еловых ветвей – слыхала? Людей уверяли, что это витамины, что это спасет и поддержит, а это был яд.

– Да перестань ты, хватит!

– Почему же перестань? Кто же их и вспомнит, если не я? Однажды вышла к Неве – настроение, правда, ужасное было, впору удавиться, ребенок разве что останавливал. Стою на набережной, смотрю на воду – просто так, без всяких мыслей, а тут какой-то тип сбоку подкатывает: "Девушка, отчего вы такая грустная?". А я ни с того ни с сего, сама не знаю, почему: "Вы считаете, что после Освенцима и блокады можно веселиться?" Ты бы видела его рожу! Отскочил как ошпаренный.

– Да, представляю себе! – смеется моя соседка. – Удачное начало для знакомства!

– А потом вы приехали – на их место. В самом буквальном смысле. Не просто в их комнаты – на их же кровати, на те же простыни, на те же подушки... Люди вымерли, а вещи остались. Я не упрекаю – Боже сохрани! – не выбрасывать же добро. Тем более, что тогда каждая тряпка на вес золота ценилась. Понятно – живые должны жить... Но страшно, Томка, страшно это – я будто сквозь стены видела: вы на этих постелях по двое лежите, возле каждого живого мертвец...

– Да уж!.. С тобой не соскучишься... – Она откидывается на стуле, трясет кудряшками, отгоняет неаппетитную картину и размышляет, стоит ли продолжать налаживание контакта в свете подобных настроений. Неожиданная реакция. Не предусмотренная планом. – По-моему, ты нарочно меня дразнишь, – произносит она наконец. – Ты этого и помнить-то не можешь. Ты моя ровесница, тебе в блокаду года еще не исполнилось.

– Чего не помню, то по маминым рассказам знаю. И потом, ты не думай – они сами приходят, напоминают... В последнее время все настойчивей. Не обрели успокоения. Целыми семьями вымирали, не то что похоронить, и оплакать-то было некому. А во мне, похоже, нашли терпеливого слушателя. Я их не гоню.

– Ну а что – что можно было сделать?! – восклицает она. – Что ты хотела – чтобы мы сдались немцам?

– Между прочим, знаешь, что в этой истории самое страшное? Что немцы ведь обыкновенные, нормальные, хорошие люди. Сами теперь не могут понять, как это все получилось. Бес попутал!

– Хорошие? – морщится она. – По-моему, довольно мерзкие рожи. Расчетливые сволочи. И бесстыжие. За копейку маму родную продадут. Чего смеешься?

– Да так, вспомнила кое-что...

"Представь себе, какие подлые эти немцы: он купил у меня часы с цепочкой (стоили мне 125 руб. по крайней цене) и дал мне за них всего 65 гульденов, то есть 43 талера, то есть почти в 2 с половиной раза меньше".

– По крайней мере, покаялись. Репарации выплачивают.

– Выплачивают! Не верь. Значит, и тут выгоду какую-нибудь учуяли.

– Для дипломата ты неправильно рассуждаешь. Политически некорректно.

– А я тут с тобой не дипломат. Как чувствую, так и говорю. Если хочешь знать, мне тоже есть чего вспомнить. Мы, может, не так, как вы, голодали, а тоже, будь здоров, натерпелись. У матери два брата на фронте погибли, у отца четверо. Младшему еще семнадцати не исполнилось. Ну так что – всю жизнь теперь рыдать и душу травить? Какая от этого польза? Их все равно не воротишь...

– Да нет, ты не думай, я тоже не всегда была чокнутая. Не постоянно, во всяком случае. Тоже и на каток бегала, и в кино. Мама умирала: не от чего-нибудь – от этого самого отвара вместо витаминов. Он, как потом выяснилось, разрушительно действовал на почки. Мама умирала, а я в кино бегала.

– Ну и что – казниться теперь из-за этого?

– А бабушка и дедушка в Белоруссии погибли. От руки фашистских оккупантов и их пособников. Четкие формулировки, никаких неясностей. На каждый случай соответствующее клише: "Фашистские оккупанты и их пособники". Сгнили мои бабушка и дедушка в какой-то вонючей яме. Вся мамина семья: отец, мать, сестры, племянники. А я, представь себе, совершенно

про них не думала. Вообще ни про что такое не думала. Потом иногда как будто натыкалась на что-то странное: братики-то мои двоюродные, надо же – они ведь там, в этих рвах... Но так, мельком, между работой и концертом: как будто это сто лет назад случилось и ко мне вообще не имеет никакого отношения. В молодости мы все оптимисты – верим в светлое будущее.

– А я и теперь оптимист, – сообщает она. – Вот еще! Пока живы – надо жить. Они умерли, нету их. Умерли, Нинка, все! Из-за бабушек и из-за дядюшек и нам теперь себя уморить? Зачахнуть в слезах?

– А ведь какая большая семья была бы – в гости, наверно, друг к другу ездили бы, может, учились бы вместе, жили по соседству. Между прочим, моя мама была не старше твоей, могла бы и по сей день жить-поживать да добра наживать...

– Да... – потягивается она, – нелегко тебе с таким характером. Вот уж не ожидала. Тебе только в церкви покойников отпевать. Большие деньги, говорят, можно на этом заработать. Как муж-то тебя терпит? Кстати, что ж ты про Евгения своего не спрашиваешь?

– Своего? Мы с ним двадцать лет как развелись.

– Восемнадцать, – уточняет она. – И не по твоему желанию.

Вот как далеко простирается их осведомленность!

– Не по моему, – подтверждаю я.

– Между прочим, со второй женой тоже развелся.

– Не может быть!

– Точно говорю. Ты, вообще-то, поела бы. Хватит уж прошлое ворошить.

– Спасибо, не голодная, вроде бы. Мы тут неплохо питаемся.

– Все равно. По таким ресторанам, небось, не каждый день ходите. Разошелся и женился на вдове с двумя детьми. И своего в придачу привел. И еще двоих родили.

– Что ж, приятно слышать.

– Приятно? Что ж тут для тебя такого особо приятного?

– Не совсем, выходит, дурной человек... Если стольких детей растит.

– Крестился потому что.

– Да ну?!

– Точно!

Да уж... Неисповедимы пути твои, Господи. Если только она не врет. Но тут, вроде бы, и смысла никакого нет врать. Разве что из любви к искусству... Рассказала бы лучше про Любу. Люба-то куда подевалась? Может, ждет, что я сама спрошу? Так я ведь не спрошу. У нее – ни за что не спрошу. Что же это такое получается – вместо портрета товарища Сталина – иконы? Бедный товарищ Сталин – последнее прибежище...

– Ты про всех так подробно знаешь или только про меня? – интересуюсь я, следуя все же ее совету и подхватывая на особого профиля вилку кусок нежнейшей осетрины. Действительно: не пропадать же добру. Выкинут ведь. Подхватываю на вилку и аккуратно отправляю в свой рот. Даже если мы не вполне нормальны, не целиком удовлетворяем требованиям захлестнувшего планету оптимизма, не полностью укладываемся в рамки программы накопления положительных эмоций, будем все-таки по мере сил симулировать душевное здоровье. Время от времени чмокать от удовольствия.

– Такая наша обязанность – знать, – усмехается она не без гордости.

Что ж – у каждого своя стезя и свое призвание.

– Про Паулину тоже знаешь? – решаюсь я приступить к главной теме. Ведь не затем я сюда явилась, чтобы предаваться воспоминаниям детства и наслаждаться изысканной кухней.

– Паулина... Паулина – особый случай, – тянет она уклончиво и даже как-то досадливо поморщившись.

– Ваша работа? – спрашиваю я, заранее предвидя естественные возражения, – но пусть знает мое мнение об их организации. К чему нам лукавить и притворяться? Объяснимся на смелую ногу.

– Да ты что! Что нам, делать больше нечего? Связываться с чокнутыми неврастеничками!.. Небось, муженек ее драгоценный.

– Не думаю. Он задирист, но не агрессивен. Если и агрессивен, то только на словах.

– Да? Ты так полагаешь? А тебе известно, за что он в первый раз сел?

– А что – были и последующие?

– Будут! – отвечает она убежденно. – Между прочим, если не знаешь, так слушай: за попытку изнасилования и убийство своей одноклассницы. Вот так! Не агрессивен... Не волнуйся – сам во всем признался.

Брешет. Наверняка брешет.

– И ты меня вызвала, чтобы это сообщить?

– Да что ты, Нинка, в самом деле! – возмущается она. – Вот уж заноза! Ничему не доверяешь. Конечно, если бы не эта история, я бы на тебя вряд ли вышла. А тут стала просматривать – с кем встречалась, с кем водилась – оказывается, ты. Ну и, естественно, захотелось увидеть, поговорить. Сто лет не виделись... Согласись – не каждый день такое совпадение. Ты вот про маму свою упомянула, а я ведь прекрасно их помню: и дядю Сережу, и тетю Любу...

Это, видимо, главный и последний козырь. Призыв не отвергать родства и близости. В невинности своей приласкать, ободрить и завязать таким образом новую дружбу...

– Да, – говорю я, – в жизни бы не поверила, что встречу тебя, да еще в таком качестве. Что ж, вот и увиделись, и поговорили... – И дождавшись возникновения официанта, прошу: – Мне, пожалуйста, отдельный счет.

Увиделись и поговорили... Зачем?

– Перестань! – возмущается она. – Сказала ведь: сегодня я плачу.

– Нет, Эвелина, – отвечаю я, выкладывая на стол денежки. – За счет вашей организации мы не кушаем. Извини.

– И зря, между прочим! – голос ее мертвеет. – От нас – если по-хорошему – большая польза может выйти. А если по-плохому – то как раз наоборот.

Не Томка, точно не Томка. Томка, хоть и приняла участие в натягивании веревки, а все же была пришибленная и малосообразительная девочка. А эта деловитая, бойкая. Совсем не похожа. Кудряшки только совпадают. Наша директриса Марья Ивановна однажды поймала ее в раздевалке и принялась орать: "Страмница! Два вершка от горшка, а уже прически делаешь! Шестимесячную сделала, дрянь позорная!" – и поволокла в ближайший туалет под кран ликвидировать результаты возмутительной "шестимесячной". Как Томка ни вырыва-

лась, как ни пыталась доказать, что она такая родилась и уже целых шесть лет ходит в таком виде в эту самую школу, – ничего не помогло. Мы тоже пытались защищать несчастную и свидетельствовать в ее пользу, но столь же безрезультатно.

Нужно быть полной идиоткой – или садистской, чтобы заподозрить, что двенадцатилетняя девочка – в те-то пуританские годы! – осмелилась сделать шестимесячную завивку. Да откуда бы она и деньги взяла? Ничего не помогло. Марья Ивановна с яростью драла ее кудряшки, Тамарка визжала и выла под струёй холодной воды, и мне было очень ее жалко – несмотря на давешнюю злокозненную веревку... И даже если бы это действительно была "шестимесячная", она ни в коем случае не исчезла бы от подобной воспитательной ванны.

Эвелина – *эвель*, подумала я, уже садясь в машину. Надо же... Жива ли моя соседка Томка? А Пятиведерников ни в чем не виновен. Это ясно. То есть, может, какой-то очередной своей выходкой и подвигнул Паулину на безумный поступок, но не убивал – как пытается и явно, и исподволь убедить Эвелина Заславская. Да и в тот раз тоже, скорее всего, никого не убивал. Неважно, что "сам во всем признался". Одного отдельно взятого человека, молодого, неопытного, одинокого и растерянного, к тому же не вполне психически устойчивого, при желании можно убедить в чем угодно – даже в самом гибельном и неправдоподобном. Пожилого, между прочим, тоже... Главное, внушить чувство вины. А факты можно подтасовать и подогнать, слепить по ходу дела.

И вот что интересно: хоть она и сказала "может, полгода потом в вашу сторону не выберусь", но выбралась весьма скоро. Дней через десять я увидела ее в центре города выпрыгивающей из длинной шикарной машины с затемненными стеклами и скрывающейся в ближайшем подъезде. Номер на машине был не дипломатический – самый обыкновенный, но это несомненно была она. Меня она, скорее всего, не заметила. Здание, в которое она устремилась, оказалось жилым домом – во всяком случае, никаких табличек на дверях не имелось. Машина сразу же укатила, стало быть, в ней кто-то сидел: может, шофер, а может, и высокопоставленный муж – закопченные стекла не позволили увидеть.

Коротко об авторах

АКСЕЛЬРОД ЕЛЕНА

Жила в Москве. В Израиле с 1991 года. Автор семи книг лирики: "Окно на север" (М., 1976), "Лодка на снегу" (М., 1986), "Стихи" (Иерусалим – СПБ, 1992), "В другом окне" (Иерусалим, 1994), "Лирика" (Иерусалим, 1997), "Стена в пустыне" (Иерусалим, 2000), "Избранное" (Санкт-Петербург, 2002), многих стихотворных книг для детей, переводов поэзии и прозы с идиш и западноевропейских языков, книги-альбома об отце "Меир Аксельрод".

Печатается в журналах "Новый мир", "Дружба народов, "Юность", "Континент", "Огонек", "Время и мы", "Диалог", "Иерусалимский журнал", "Слово писателя" и др. Стихи переведены на иностранные языки, включены в российские и американские антологии русской поэзии.

Лауреат литературной премии Израиля за 1996 год, а также Международного конкурса поэтов в Нью-Йорке.

АЛЕКСАНДРОВ ВИЛЬЯМ

Родился в 1927 году в Одессе. Детство проходило в Харькове. Там в 1937 году был арестован и расстрелян его отец, инженер-автомобилист, через месяц была арестована мать. Жил у родственников. Во время войны попал в Узбекистан, работал на заводе электриком-монтажником. После войны окончил отделение журналистики филологического факультета Среднеазиатского госуниверситета в Ташкенте, работал в редакциях газет и журналов.

Писать и печататься начал в пятидесятых годах. Автор многих книг, вышедших в СССР и за его пределами. Среди них – романы "Чужие – близкие", "Коснуться молнии", повести "Дорога обратно", "Заповедник", "Спасатель", "Планета МИФ", "Странный гость", "Дом над рекой", сборники "Избранное", "Завещаю тебе".

С 1996 года живет в Израиле. Здесь в 1997-м году вышла отдельным изданием его повесть "Улица детства" о трагических событиях 37 года, увиденных глазами 10-летнего мальчика, вышел сборник остросюжетных повестей "Смерть Президента" (Иерусалим, 2000). В 2002 году впервые под одной обложкой опубликована вся трилогия – "Улица детства", "Чужие – близкие", "Время потерь – время надежд".

БАРДИН ГРИГОРИЙ

Родился в Москве в 1945 году. В Израиле с 1991 года. Поэт, переводчик, либреттист. Публиковался в периодических изданиях России и Израиля. Был постоянным автором израильской юмористической газеты "Бесэдер?", еженедельника "Пятница", сборников и альманахов – "Литературный Иерусалим", "Ориентация на местности" и др.

БАТКИН ВИЛЬЯМ

Родился в Полтаве в 1930 году. Окончил Харьковский горный институт. Работал по эксплуатации, проектированию и строительству угольных шахт. Автор сборников стихов "Пойте песни о верности" (1967), "Надежда" (1972). Переводил с украинского стихи Василя Мысыка, Арона Копштейна, Миколы Нагнибеды, Романа Лубкивского. Публиковался в журналах "Дружба народов", "Новый журнал", "Побережье".

В Израиле с 1996 года. В 1997-м в Иерусалиме вышла книга стихов "Неприкаянный мир". Публикуется в "Иерусалимском журнале", в "Галилее", "Розе ветров", в "Новостях недели". Живет в Бейтар-Илите.

БЕЛЕНЬКИЙ МАРЬЯН

Родился в 1950 году. Жил в Киеве.

В прошлой жизни писал для Хазанова ("Урок демократии"), Клары Новиковой ("Тетя Соня"), публиковался в "Правде", "Огоньке", "Литгазете" и др.

В Израиле с 1991 г. Публикуется в русскоязычной прессе США, Канады, Израиля, Австралии, Германии, а также в России и Украине, а в переводах – в Польше, Китае, Венгрии и т. д. Скетчи поставлены в театрах варьете Австрии, Польши, Венгрии.

Лауреат конкурса для репатриантов из стран СНГ, пишущих на иврите, проведенного газетой "Маарив" в 2001 году.

Лауреат международного литконкурса "Алеко" (Болгария, 2000).

Книги изданы на русском ("Гешарим", ЛИРА), английском (Harper's & Raw), немецком (Josef Muller Verlag), китайском, готовятся польское и венгерское издания.

Перевел с иврита на русский шесть книг, в том числе три книги лауреата госпремии Израиля Эфраима Кишона.

БЯЛЬСКИЙ ИГОРЬ

Родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и в Узбекистане. Окончил Пермский политехнический институт.

Один из организаторов ташкентского КСП "Апрель" (1975) и Чимганских фестивалей авторской песни (1977-1989).

Репатриировался в 1990 году.

Автор сборников "Города и горы" (1986), "Времена города" (1988) и "На свободную тему" (1996). Стихи и переводы из Джона Апдайка включены в антологии "Строфы века" (1, 2).

Живет в Иерусалиме. Главный редактор "Иерусалимского журнала".

ВЕКСЛЕР АСЯ

Родилась в г. Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила институт им. Репина по специальности "книжная графика". Поэт, художник.

В Израиле с 1992 года.

Автор книг стихов "Чистые краски" (1972), "Поле зрения" (1980), "Зеркальная галерея" (1989), "Под знаком Стрельца" (1997).

Живет в Иерусалиме.

ВЕНГЕР ХАИМ

Родился в Ленинграде. Мечтал о журналистике, а пришлось пойти в технический вуз. Но любовь к слову не ослабевала; стал активно сотрудничать с ленинградскими периодическими изданиями, много писал для детей. В 1980 году вместе с женой и дочерью репатриировался в Израиль, где литература и журналистика стали его профессией. Работал литературным редактором журнала "Родина", главным редактором газеты "Иерусалимский еженедельник". С 1991 года – постоянный автор газеты "Новости недели". За годы жизни в стране вышло восемь его книг: три – стихов и пять – прозы. Произведения Хаима Венгера публиковались в журналах, альманахах, сборниках Израиля, Америки, России, Белоруссии, Литвы.

ВЕРНИКОВА БЕЛЛА

Родилась и жила в Одессе. Репатриировалась в Израиль в 1992г. Живет в Иерусалиме.

Автор трех поэтических сборников: "Прямое родство" (Одесса, 1991); "The Poetry of Bella Vernikova", в переводе на англ. яз. Дэна Левина (США, Лонг-Айленд, 1990); "Звук и слово" (Иерусалим, 1999). Стихи печатались в литературных журналах: "Юность" (Москва), "Радуга" (Киев), "22", "Иерусалимский журнал" (Израиль), "Confrontation", "Metamorphoses" (США), в антологиях современной поэзии.

В 2002 г. Б. Верникова получила степень доктора философии Еврейского университета в Иерусалиме за диссертацию о русско-еврейских писателях Одессы 2-й половины XIX – начала XX века.

ВИНТЕРМАН ИЗЯСЛАВ

Родился в Киеве в 1961 году. В Израиле с 1992 г. Живет в Иерусалиме.

Автор книг: "Время ожидаемого" (Киев, 1989), "Южный ветер, белый огонь" (Иерусалим, 1998), "Оптимизм дневного света " (Санкт-Петербург, 2001) и др.

Публиковался в журналах и альманахах Украины, России и Израиля: "Стихи этого года" (Москва, 1989), "Ориентация на местности" (Иерусалим, 2001), "Иерусалимский журнал" (№ 8) и многих других печатных и интернет-изданиях. Личная страница в интернете: Home page: http://www. surf. to/slava.

Лауреат литературных премий и конкурсов.

ВОЛОВИК АЛЕКСАНДР

Родился в 1931 году в Горьком. Поэт, прозаик, автор более двадцати книг стихов и рассказов на русском и иврите, среди них "Завтра август" (1966), "Разбег" (1970), "Один ясный день" (1974), "Процессия" (1978), "Приди в мой дом" (на иврите, 1981), "Словно дым в небо" (1991), "Райский сад" (1993), "Сто стихотворений" (1993), "Судьба и воля" (1996), "Двести стихотворений" (2000), книга переводов стихов И. Амихая "Избранное" (1990, 1991), две антологии ивритской поэзии в переводе на русский и др.

Скончался в 2003 году.

ГАММЕР ЕФИМ

Родился в 1945 году в Оренбурге, жил в Риге. В Израиле с 1978 года. Писатель, журналист, художник. Многократный лауреат международных конкурсов художников в США, Австралии, Франции. Автор сборников стихов "Магремор", (1960), книг стихографии "Тон" (1986), "Кон" (1990), "Стена плача" (стихи, поэмы, рисунки), романов "Мы были такими, какими были" (1980), "Круговерть комаров над стоячим болотом" (1982), "Русский батальон" (1995), "Засланцы" (1995), повестей, рассказов, эссе – "Нам песня строить и жить помогает" (1986), "Уйти, чтобы вернуться" (1987), "Закон ринга" (1988) и др.

В 2003 году стал лауреатом Российской литературно-журналистской премии в номинации "Зарубежные СМИ".

Публикуется в различных журналах, сборниках, альманахах.

ГОРОДЕЦКИЙ ИГАЛЬ (ИГОРЬ)

Родился в 1945 г. в Чернигове, на Украине. Жил и учился в Москве. Окончил филфак МГПИ им. Ленина. Работал помощником оператора на киностудии, осветителем в театре, фотографом, корреспондентом в газете, редактором. В Израиле с 1979 года.

Автор сборника рассказов "Сказка для Вовки" (1991), путеводителя "Израиль на все времена" (1996). Публиковался в периодических изданиях и альманахах в Израиле, Германии, США, России.

Переводчик с иврита.

ГРИНБЕРГ (ДУБНОВА) ЛЕЯ

Родилась в Белоруссии. Окончила филологический факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. Юность и годы творческого становления связаны с Таллинном и Ригой. Здесь в периодической печати были опубликованы первые очерки. Работала журналистом в газете, на радио, телевидении. Автор серии документальных фильмов, подготовленных для телевидения. В 1979 году репатриировалась в Израиль. Более двадцати лет являлась постоянным сотрудником государственного радио "Коль Исраэль".

Автор книги "И возрадуется сердце ваше". Литературный псевдоним – Лея Алон.

В настоящее время работает над книгой очерков о земле Израиля.

ГРИНЬКО (ЭЙДИС) АЛИСА

Родилась в 1937 году в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Имеет полный трудовой стаж по специальности, совмещала эту работу с литературной деятельностью. В 1990 году в Москве, в издательстве "Советский писатель", под псевдонимом О. Любимова, вышла книга рассказов "Где кончается небо".

В Израиле с 1999 года. Рассказы публиковались в разных изданиях, в том числе в "Иерусалимском журнале".

В 2003 г. в издательстве ЛИРА вышла в свет книга "Помраченный разум".

ДУБИНА ТАМАРА

Родилась в 1928 году в Москве. Училась во 2-м Московском медицинском институте, затем в Вильнюсском университете. Работала участковым врачом, а после защиты диссертации занималась исследовательской работой. Жила с семьей в Минске. В Израиле с 1989 года.

Стихи начала писать поздно, и толчком к этому послужило изучение иврита (еще до репатриации) Несколько стихотворений на иврите были опубликованы в 1982-83 гг в израильских периодических изданиях. Стихи на русском языке впервые увидели свет также в Израиле. В 2002 г. в издательстве ЛИРА вышел в свет сборник стихов "Формула счастья".

ДЫМОВА ЛОРИНА

Родилась в Свердловске, большую часть жизни прожила в Москве. По образованию – инженер-металловед. Печататься начала в 1967 году. Публиковалась в журналах "Юность", "Смена", "Новый мир", в альманахе "Поэзия" и др.

Автор восьми книг прозы и поэзии, в том числе – иронической поэзии. Первые две книги вышли в Москве, остальные в Израиле.

Репатриировалась в Израиль в 1992 году, живет в Иерусалиме.

Известная переводчица болгарской поэзии. Награждена за переводы болгарским орденом Кирилла и Мефодия 1-й степени.

Лауреат премии "Золотого теленка" за 2000 год (Клуб "12 стульев" "Литературной газеты").

ЕЛИНА НИНА

Родилась в Москве. В 1940 г. окончила Институт философии, литературы, истории (литературный факультет). В 1944 г. защитила кандидатскую диссертацию об английских народных балладах, а в 1974 – докторскую диссертацию о поэтике малых произведений Данте. Была профессором Московского государственного института иностранных языков и Московского государственного университета. Преподавала историю итальянской литературы и перевод с итальянского языка на русский.

В Израиле с 1992 года. Живёт в Иерусалиме. Выпустила здесь две книги: "Василий Гроссман" и "О давнем и недавнем". Опубликовала ряд литературоведческих очерков в альманахах и газетах, а также очерки из истории западноевропейских евреев.

ЗАВЕЛЬСКАЯ ЕВГЕНИЯ

Родилась в г. Ярославле. По образованию – филолог. Работала на севере страны, в газетах.

В Израиле с 1993 года. Живет в Иерусалиме. Автор четырех книг стихов: "Праздник новорожденных" (1996 г.), "Тысяча путников" (1998 г.), "День Водолея" (1999 г.), "Времена речи" (2002 г.).

ЗАРЕЦКАЯ ЗЛАТА

Доктор искусствоведения, автор многочисленных статей об израильской культуре и книги "Феномен израильского театра". Председатель Иерусалимского театрального клуба. Режиссер-педагог курса "Драмотерапия" в Институте еврейской культуры. Создатель информационного центра для профессионалов и любителей театра в Иерусалимском общинном доме.

КНАСТЕР ЛИОРА

Родилась в 1957 году в Москве. В Израиле с 1990 года. Живет в Иерусалиме. Пишет по-русски и на иврите.

Автор книг стихов "Имена" и "Андрогин".

Лауреат первой премии журнала "Мабуа" за 1999 год.

ЛЕВИНЗОН ЛЕОНИД

Родился в 1958 году, в г. Новограде-Волынском. Закончил Ленинградский медицинский институт. Репатриировался в Израиль в 1991 году. Работает в иерусалимской больнице "Хадаса", в лаборатории.

Писать начал в 1993 году. В 1997-м издал книгу "Ленинград – Иерусалим". Сотрудник "Иерусалимского журнала".

ЛЕВИНЗОН РИНА

Родилась в Москве, жила в Свердловске. В Израиле – с 1976 года. Автор многих сборников стихов, написанных на русском языке и на иврите, а также ряда поэтических книг в переводе на иврит, английский, немецкий и арабский языки. Публикуется в периодической печати Израиля, России и русского зарубежья. Участница антологии Е. Евтушенко "Строфы века", многих альманахов и сборников.

Лауреат премии Союза писателей Израиля за 1988 год; литературной премии им. Рафаэли, а также первой премии на международном конгрессе поэтов (Хайфа, 1992) и литературной премии организации ВИЦО за стихи, написанные на иврите.

ЛОКШИНА НИНА

Родилась в Ленинграде, училась и работала в Москве. Закончила Московский автомеханический институт (1963) и Литературный институт им. Горького (1971). Была студенткой семинара Ильи Сельвинского.

Публиковалась в журналах "Юность", "Смена", в "Литературной газете", в различных литературных сборниках. Переводила стихи с языка идиш, с немецкого. Переводила также литовских, грузинских и молдавских поэтов. Лауреат литературной премии Литвы за 1989 г.

Автор книг "Родство времен" (Москва, 1990), "Моление о дожде" (Иерусалим, 1996).

В Израиле с 1992 года. Живет в Иерусалиме.

ЛЮБИНСКИЙ АЛЕКСАНДР

Родился в 1949 году. Жил в Москве. В Израиле с 1989 года. Литературный критик. Автор многочисленных статей и эссе о современной культуре и литературе. Автор сборника прозы и литературно-критических статей "Фабула" (Иерусалим, изд-во ЛИРА, 1997).

ЛЮКСЕМБУРГ ЭЛИ

Родился в 1940 году в Бухаресте. Жил в Ташкенте. В Израиле – с 1972 г. Автор книг прозы "Третий Храм" (1975), "Прогулка в Раму" (1983), "Десятый голод" (1985), "Созвездие Мордехая" (1988), "Волчонок Итро" (1998), "В полях Амалека" (Иерусалим – Москва, "Гешарим", 2000).

Книга "Третий Храм" переведена на иврит и английский, роман "Десятый голод" – на французский.

Публикуется в израильской периодике. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. премий СП Израиля за 1984 и 1996 гг.

МАРЬЯНОВСКИЙ ГРИГОРИЙ

Родился в 1927 году в Киеве. Во время войны попал в Узбекистан, работал на заводе. После войны учился в Киевском институте театрального искусства на театроведческом факультете. Окончил его в 1951 году. Вернулся в Узбекистан, в Ташкент. Работал в редакции журнала "Звезда Востока", в книжном издательстве, был собкором газеты "Советская культура".

С 50-х годов выступал в печати как прозаик, публицист, переводчик. Много работал в кино. Автор киносценариев (совместно с М. Елениным) "Во имя счастья", "Пятеро друзей", "Мощный пласт", "Двенадцать часов жизни". Автор сценария фильма "Непокорная", киноповестей "Фортепианный концерт", "Лучшие годы нашей жизни" и других. Автор "Книги судеб" (1978, семь изданий на русском языке, переводы на польский, узбекский).

Был членом Союза писателей и Союза кинематографистов СССР. Лауреат Госпремии Узбекской ССР.

В Израиль репатриировался в 1992 г.

Скончался в марте 2003 года.

МЕЛАМЕД МАРИНА

Родилась в Харькове. В Израиле с 1990 г.

Окончила Харьковское музучилище, а затем, уже в Иерусалиме, – театральную школу.

Писала прозу, публиковалась в израильской периодике, в "Иерусалимском журнале". В 2002 году вышла книга ее рассказов "Перекресток желаний". Сочиняла музыку, исполняла песни на чужие стихи, выпустила два диска: "Да-а-амские песни" на стихи Лорины Дымовой; "И кроме счастья нет ничего" на стихи Ю. Кима, Л. Дымовой, Ф. Кривина, Ал. Файнберга.

С недавних пор пишет стихи. Эта подборка – первая ее поэтическая публикация.

МИНИН ЕВГЕНИЙ

Родился в г. Невеле Псковской области. Окончил Ленинградский политехнический и Витебский педагогический институты. Работал преподавателем. Публиковался в российской и белорусской печати.

В Израиле с 1990 года. Продолжает преподавать.

Автор двух поэтических сборников: "Разве?!" и "Линия крыла".

МИХАЙЛИЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА

Родилась на Кавказе в семье врача-дефектолога. Окончила медицинский и литературный институты. Автор нескольких сборников стихов и прозы, вышедших в России и в Израиле.

Прозу пишет, как правило, совместно с Юрием Несисом. Занимается компьютерной графикой.

Все возможное время работает над совместным с Ю. Несисом романом "про мистическую иерусалимскую реальность". Пишет стихи.

ПАЛВАНОВА ЗИНАИДА

Родилась в Мордовии, в семье отсидевших в Темлаге "врагов народа", росла в Подмосковье, за сотым километром. Окончила Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, работала в Москве, сначала – социологом, потом – сторожем. В Израиль репатриировалась в 1990 году.

Автор поэтических сборников "Приход весны" (1980), "Второе детство" (1983), "Деревья не копят обид" ((1986), "Утонувшее море" (1996), "Иерусалимские картинки" (совместно с художником Вениамином Клецелем, 2000), "Счастье без прикрас" (2002).

Публиковалась в журналах "Новый мир", "Дружба народов", "Континент", "Алеф", "22", в "Иерусалимском журнале" и др., в различных альманахах и газетах России, США, Израиля.

ПОДОЛЬСКАЯ ГАЛИНА

Родилась в Астрахани. Преподавала в Астраханском педагогическом университете. Доктор филологических наук.

Автор семнадцати книг и многочисленных статей по разным направлениям литературной и театральной критики.

В Израиле с 1999 года. Живет в Иерусалиме.

Выступает как журналист по различным аспектам израильской литературы, культуры и искусства.

РАЗУМОВСКАЯ ТАТЬЯНА

Родилась в Ленинграде. В 1982 г. закончила филфак ЛГУ. В Израиле – с 1988 г.

Переменила немалое количество специальностей, среди которых – журналистика, работа в архиве комплекса Яд ва-Шем, сотрудничество сразу в трех русскоязычных телепрограммах («Сегодня», «Иерушалаим», «Калейдоскоп»), перевод титров для "Yes".

В настоящий момент занимает должность координатора по обращениям от русскоязычного населения в министерстве главы правительства.

Подборки стихов и проза печатались в журналах «22», «Акцент», «Портрет», в литературных приложениях газет «Вести», «Время», «Новости недели», а также в русскоязычной периодике США: «Бостонский курьер» и «Новое русское слово».

Сборник стихов «Через запятую» вышел в свет в Петербурге в 1998 г.

РАТНЕР ДИНА

Родилась в 1938 году в Одессе. После эвакуации жила в Москве.

В 1982 г. на философском факультете Тбилисского университета защитила кандидатскую диссертацию на тему "Индивидуальность художника и творческий процесс", где исследовалась роль бессознательных психических процессов в творческом мышлении.

С 1986 по 1995 гг. преподавала в Московском литературном институте им. Горького спецкурс "Психология творческого мышления", куда входили также лекции на тему: "Евреи в русской классической литературе", "Теология иудаизма и христианства".

Репатриировалась в Израиль в 1995 году. В настоящее время занимается в институте А. Штейнзальца.

Автор книг: "Индивидуальность и творческое мышление" (М., 1992), "Вдохновение и откровение" (М., 1995), "В поисках бочки Диогена" (М., 1995), "Борщ для тоскующего оле" (Иерусалим, 2000).

РИСС ИЛАН

Родился в 1950 году в г. Бишкеке (Кыргызстан). Репатриировался в Израиль в 1978 г.

Пишет на русском и иврите. Рассказы публиковались в журналах "22", "Иерусалимский журнал", "Итон-77".

Автор книги "Муди и Иисус" (Иерусалим, 1996).

РУВИНСКАЯ ИРИНА

Родилась в г. Кирсанове Тамбовской области в семье врача. По окончании английского отделения факультета романо-германской филологии Воронежского госуниверситета работала библиотекарем, переводчиком научно-технической литературы, сотрудником газеты в Харькове.

В Израиль репатриировалась в 1996 году. В 1997-1999 училась в докторантуре Иерусалимского университета.

Автор книг стихов и переводов "Коммуналка" (Харьков, 1995) и "Пока" (Москва, 1996). Печаталась в журналах "Радуга", "Простор", "Лицейский вестник", в коллективном сборнике "Отчий дом" (Харьков, 1998) и др. изданиях.

Лауреат конкурса Союза писателей и Госкомиздата Эстонии на лучший перевод эстонской поэзии. (1984).

ФРЕНКЕЛЬ ВЛАДИМИР

Родился в 1944 году в Горьком (Нижнем Новгороде). Вырос в Риге, жил там с 1946-го по 1987 год. Поэт, эссеист. По образованию – историк. Статьи публиковались на Западе и в России, в самиздате. В 70-х – 80-х годах был участником неофициального семинара по еврейской истории и культуре в Риге.

В 1985-86 годах – политзаключенный. Реабилитирован в 1990 году.

С 1987 года живет в Израиле. Автор книг стихов "Земное небо" (Рига, 1977), "Проходя вдоль канала" (Иерусалим, 1990), "Время пустыни" (Рига, 1997), "Размышления в пустом кафе" (Иерусалим, 2001).

Книга "Городской пейзаж" – готовится к печати.

ФРОМЕР ВЛАДИМИР

Журналист, писатель, историк. Родился в Самаре. В Израиле с 1965 года. Закончил исторический факультет Иерусалимского университета. Участвовал в войне Судного

дня, был ранен. Свыше тридцати лет проработал редактором и политическим обозревателем радиостанций "Коль Исраэль" и "Радио РЭКА". Публиковался в журналах "Континент", "22", "Иерусалимский журнал", "Алеф", "Взгляд на Израиль" и др.

Автор ставшего бестселлером двухтомника "Хроники Израиля".

Живет и работает в Иерусалиме.

ХАНАН ВЛАДИМИР (БАБИНСКИЙ ХАНАН)

Родился 9 мая 1945 года в Ереване. С младенчества вплоть до репатриации жил в Ленинграде и в Царском Селе. По образованию – историк, окончил Ленинградский госуниверситет.

Стихи пишет с юности, в советское время практически не печатался, если не считать редких публикаций в прибалтийских газетах. На Западе – публикации в журналах "Слово", "Время и мы", "Континент", в газетах "Новое русское слово", "Панорама", "Еврейский мир" – США и др. В постперестроечные времена были публикации в журналах "Знамя", "Звезда", "Нева".

В Израиле с 1996 года. Здесь вышли: книга стихов "Однодневный гость", две книги прозы. Как публицист активно сотрудничал с газетами концерна "Новости недели".

ЧЕРНОБРОВА СУСАННА

Родилась в Риге. Начинала как поэт, потом много лет занималась живописью, участвовала в московских выставках неофициального искусства. К стихам вернулась после переезда в Израиль в 1991 году.

Печаталась в российской и зарубежной периодике, в журналах "Звезда", "Даугава", "Студия" (Берлин), в "Торонтском славистическом альманахе", в "Иерусалимском журнале". Участница антологии "Русские поэты Латвии", антологии русско-израильской литературы 90-х годов "Ориентация на местности".

Подготовлена к печати вторая книга стихов "Смотри на обороте" и книга прозы "Электронная почта".

ШВАРЦБАНД САМУИЛ

Родился в Ленинграде в 1940 г. В Израиле с 1982 г. Живет и работает в Иерусалиме.

Здесь написаны четыре монографии и полсотни научных статей, и здесь же вышли три книги стихов – "Черепки" (1990), "Летаргия" (1995), "Схолии" (2002).

ШЕНБРУНН СВЕТЛАНА

Родилась в Москве. В Израиле с 1975 года. Прозаик, переводчик. Автор романа "Розы и хризантемы", повестей "Как на речке на Оке" (1977), "Пилюли счастья", сборников рассказов "Декабрьские сны" (1991), "Искусство слепого кино" (1997).

Переводы с иврита произведений Шмуэля Йосефа Агнона, Гнесина, Гершона Шофмана, Амоса Оза, Аарона Амира, Ицхака Орена, Йосефа Бар-Йосефа и др.

Содержание

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. «Снова с детьми прощаемся…». «Как пережить, что нельзя пережить…». Улица Иешаяху. Через двадцать лет. «Ветер не театральный…». «Взлетали в небеса балконы…». «Случайные встречи…». «Твой мир с лица не смыт…». *Стихи* 4

ВИЛЬЯМ АЛЕКСАНДРОВ. Время потерь – время надежд. *Глава из романа.* 10

ГРИГОРИЙ БАРДИН. «В своей среде…». «Там, где лошади и люди…». «Какой туман по вечерам…». «Мы устали от лета…». «Меж дымом и дымом…». «Искусный мастер гобелена…». *Стихи* 20

ВИЛЬЯМ БАТКИН. Кадиш по Гейне. *Главы из повести.* 25

МАРЬЯН БЕЛЕНЬКИЙ. Письмо Богу. Вот такая страна! Тоска. Баллада о шашлыке из гусиной грудинки. 50

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Два стихотворения памяти деда Нухима. 62

АСЯ ВЕКСЛЕР. Корни. Подлетая к Израилю. Вальс Грибоедова. Эпилог без конца. *Стихи.* 67

ХАИМ ВЕНГЕР. Вечер в Вене. Вот и горы Иудеи. Свидетели чудес. Хамсин. Памяти мамы. Друзья мои… Судьба таланта. «Последний день, последний вечер…». *Стихи.* 73

БЕЛЛА ВЕРНИКОВА. По причине минимализма. *Маленькая поэма.* 80

ИЗЯСЛАВ ВИНТЕРМАН. «В странную воду глядя». *Цикл стихов.* 83

АЛЕКСАНДР ВОЛОВИК. Памяти Михоэлса. Листопад. Нежность. Маленькая баллада. Шереметьево. Стоило. Стена. Как ветер прохладен… Давай повидаемся… Сердце переполнено. «Разрешите». Освободи меня, Боже… *Стихи.* 89
Вильям Баткин. *Прощальное слово о друге.*

ЕФИМ ГАММЕР. Засланцы, или Тайна последнего «скада». *Главы сатирического романа.* 97

ИГАЛЬ ГОРОДЕЦКИЙ. Осенний диалог за чашкой чая. 109

ЛЕЯ ГРИНБЕРГ. И возрадуется несущий снопы свои… «Голос возвещает в пустыне». *Из «Иерусалимского блокнота».* 123

АЛИСА ГРИНЬКО. Было. Знакомый. Стекляшка. *Рассказы.* 134

ТАМАРА ДУБИНА. Фаршированная рыба. Платье для Золушки. *Рассказы.* 146

ЛОРИНА ДЫМОВА. Никодим и Фиолета. *Рассказ.* 166

НИНА ЕЛИНА. Яша Додзин – чекист. *Рассказ.* 180

ЕВГЕНИЯ ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Препоясанные тысячью верст…». «Окрест…». «Раскосая память смеется и плачет…». «Он отпустил простоволосую жизнь…». «Не в пустыне…». «Его жизнь подражание ветру…». «Хотевший целовать землю…». «За белыми туманами…». «Не единожды вошедший в реку…». *Стихи.* 195

ЗЛАТА ЗАРЕЦКАЯ. Чайка над Израилем. *Портрет актрисы.* 201

ЛИОРА КНАСТЕР. «Ведь все это было воспето…». Заново. «Неужели закончилось чудо…». «Я вернусь через тысячи лет». «Если тебя я встречу…». «Наступили волшебные дни…». Воплощение. «Я жду тебя…». Шестой псалом. «Какой ответ я дам тебе». *Стихи.* 212

ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Санитар. Провальное дело. Как звездочки во тьме. По старой дороге. И выпал снег. *Рассказы.* 218

РИНА ЛЕВИНЗОН. «Печальтесь о своем…». «Время собирать и собираться…». Улица Бен-Иегуда. «Как сложится – так сладится…». «Да вот и вся она – росой мелькнула…» «Останется навеки ремесло…». «И тянется вверх…». «Испания, холмы твои, сады…». «По другую сторону часов…». «Пройдет печаль, и грусть перегорит…». «Как за соломинку держусь…». «Уж как судьба ни гневалась…». «Какой январь – любви предтеча…». «Ночное молчанье тревожит…». «На серебряной лодочке нашей…». *Стихи.* 238

НИНА ЛОКШИНА. Вечер в Меа-Шеарим. «Там, где отмель пуста…». « В этой горной Галилее…». «Я вернусь туда, где в осенней темени…». *Стихи.* 246

АЛЕКСАНДР ЛЮБИНСКИЙ. Улица Невиим. *Эссе.* 249

ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Приношения сыновей Ктуры. *Глава из книги «В окрестностях Каббалы».* 254

ГРИГОРИЙ МАРЬЯНОВСКИЙ. Операция на сердце. *Либретто киносценария.* 271
Вильям Александров. *Неправда, друг не умирает.*

МАРИНА МЕЛАМЕД. «Раз-два-три…». Простая геометрия. «Комета пролетает…». «Сидим, молчим, а в горле ком…». «Горит, работает пекарня…». «А ты и не знаешь…». «Ушли пароходы в далекие годы…». «Смотри, волна подходит близко…». «Из дома утром выхожу…». *Стихи.* 288

ЕВГЕНИЙ МИНИН. Постучался день осенний. Снег в Иерусалиме. Танец на углях. Лошадь. Прошла весна. Почему?! Когда поэты… Прощание с Парижем. Городишко. *Стихи.* 294

ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛИЧЕНКО. Готика подыхания. *Цикл стихов.* 301

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. На улице Бен-Иегуда. Белый лист. День Иерусалима. Забастовка мусорщиков. Восход состоялся. Птица. Полет. Иностранки. «В конце прекрасных наших жизней…». *Стихи.* 307

ГАЛИНА ПОДОЛЬСКАЯ. «Иерусалима верная струна». *Фантазия в стихах и прозе.* 314

ТАТЬЯНА РАЗУМОВСКАЯ. «Остаться сухим в океане…». Песенка. «Храни все то, что обрел…». «И свет, и тень, и запах хвои…». «Уходя, уходи…». «Не верь стихам – они игра и ложь…». *Стихи.* 320

ДИНА РАТНЕР. Ученая дама. *Рассказ.* 325

ИЛАН РИСС. Наказание. *Рассказ.* 343

ИРИНА РУВИНСКАЯ. «В наших булочных продают лаваш…». «Потому что я полутьма…». «Хочу, чтобы где-то и ты проснулся…». «В канун еврейской пасхи…». «Нет, какая душа идиотка…». «И знаешь, ощущенье иногда…». «Листья серебристого тополя с изнанки…». Из иерусалимской тетради. *Стихи.* 348

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ. «Стихи о свободе и смерти». «Я живу в непонятно какой стране...». «Средневековых городов...». «Солнце уходит за круг...». «Волчье солнышко ночное...». «Миндаль цветет почти под снегом...». «Венеция медленно проплывает...». «Пока луна висит над городом...». «Гляди в окно – там городской пейзаж...». *Стихи.* 354

ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Тайм-аут. *Мемуарная новелла.* 360

ВЛАДИМИР ХАНАН. На смерть поэта. «Угомоните этот город...». «На цветном, на детском фото...». «Яблоко осени желто-зеленой...». *Стихи.* 383

СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Новогоднее. Тель-Авив. Язык. Гило, 2001. «В небесах облака из подснежников...». Снег. «Бил свет незнакомый...». Трамвай. *Стихи.* 387

САМУИЛ ШВАРЦБАНД. Авентинский холм. *Цикл стихов.* 394

СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Эвелина Заславская. *Из повести «Пилюли счастья».* 398

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 412

Литературный Иерусалим • 2004

Литературный Иерусалим

2004